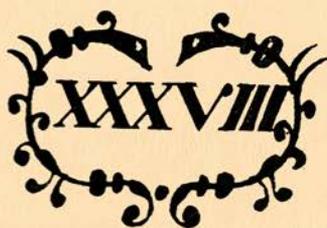


НОВЫЙ Журнал



Нью-Йорк

Новый Журнал

**THE
NEW REVIEW**


Основатель М. ЦЕТЛИН

Тринадцатый год издания

**Кн.
XXXVIII
1954**

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.



О Г Л А В Л Е Н И Е

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА:

<i>М. Алданов</i> — Бред	5
<i>Петр Ершов</i> — Нинель	72
<i>В. Набоков</i> — Другие берега	115

СТИХИ:

<i>Георгий Иванов</i> — Дневник	155
<i>А. Величковский</i> (71, 154), <i>Ирина Одоевцева</i> (181)	

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

<i>М. Л. Гофман</i> — Клевета о Достоевском	163
<i>Вл. Марков</i> — Мысли о русском футуризме	169

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>В. Неведомская</i> — Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой	182
<i>Е. Брешковская</i> — 1917-й год	191

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>А. Тыркова-Вильямс</i> — Ф. И. Родичев	207
<i>Ек. Кускова</i> — Трагедия Максима Горького	224
<i>Б. П. Вышеславцев</i> — Ответ моим критикам	246
<i>М. Карпович</i> — Комментарии	263

БИБЛИОГРАФИЯ:

<i>М. Карпович</i> — Our Secret Allies: The Peoples of Russia, by Eugene Lyons. <i>Н. Тимашев</i> — Soviet Law and Soviet Society, by George C. Guins. <i>Роман Гуль</i> — Н. Клюев. Полное собрание сочинений. <i>Мих. Коряков</i> — The Five Seasons, by Karl Eska. <i>Вера Коварская</i> — Russian Icons, Introduction by Philipp Schweinfurth. <i>Ю. Мак-Лэйн</i> — Soviet Russian Literature, by Gleb Struve. <i>Ю. Сазонова</i> М. Осоргин. Письма о незначительном	284
<i>А. Родичева</i> — Письмо в редакцию. <i>М. Вишняк</i> — Поправка.	302

БРЕД*

I

Дом был новенький, только что отстроенный в одном из западных кварталов Берлина при помощи разных обществ с малопонятными названиями вроде Де-Ге-Во или Бау-Ге-Ма, на деньги, полученные по плану Маршалла. Квартира Шелля была небольшая, всего из двух комнат. В кабинете, освещенном венецианской люстрой, было много книг, были две картины, — «как будто недурные, но без подписи не скажешь», — были старинные часы с фигурами — «что-то мифологическое?», — был резной шкафчик с фарфором. «Никак не похоже на кабинет знаменитого разведчика», — думал полковник. — «Зато сам он именно таков, каким должен быть... Играет хорошо, хотя ничего особенного в его игре нет. Я сам, пожалуй, играю не хуже».

— У меня триплет: три короля, — сказал Шелль, открывая карты.

— У меня четыре валета, — ответил полковник. — Вам не везет. Мне говорили, будто вы в последний месяц проиграли в игорных домах Берлина чуть ли не сорок тысяч марок?

— У вас осведомленные друзья, — сказал Шелль, делая вид, будто подавляет зевок. — Однако на сегодня действительно довольно.

* Замысел этой повести дало автору случайное, разделенное годами, знакомство с двумя разведчиками разных национальностей (один — весьма неясной; другой же написал о своем прошлом более или менее правдивые воспоминания). По всей вероятности, оба они никак не типичны. — Разумеется, автор взял у них лишь некоторые черты и существующих в действительности людей не изображал.

Он вынул бумажник и отсчитал ассигнации.

— Кажется, так, но, пожалуйста, пересчитайте, я мог ошибиться.

Полковник, не считая, сунул деньги в карман.

— Вас подвела эта последняя ставка.

— Та же самая игра раз случилась с Людовиком XIV. Великий король не любил проигрывать, нередко мошенничал в игре и при большом проигрыше часто отделялся шуткой. В ту пору играли в какую-то игру, напоминавшую наш покер. Ставка была огромная, король проигрывал, и ему не очень хотелось платить. Он сказал победителю: — «У меня три короля, но, включая меня самого, это составит четыре. Я выиграл». — «Ваше величество проиграли», — хладнокровно ответил придворный, — «у меня четыре валета, но включая меня самого, это составит пять».

— Кажется, в ту пору мошенничали чуть ли не все?

— Это случается и теперь. Дело нетрудное. Хотите, я вам покажу, как это просто? — сказал Шелль. Он собрал карты, долго их тасовал и сдал снова. На этот раз три короля оказались у полковника, а четыре валета у него.

— Не знал за вами этого таланта, — сказал полковник, смеясь, всё же несколько озадаченно. — Вы могли бы его использовать.

— Ни за что. В карты я всю жизнь играл вполне честно... Хотите закусить? У меня есть кое-что.

— Это отчасти зависит от того, что именно у вас есть. Много ли мне впрочем нужно? Дайте мне омар Термидор, фазана, креп Сюзетт, бутылку шампанского, и я буду удовлетворен.

— Этого, к сожалению, я вам предложить не могу, но у меня есть пиво, сыр и какая-то из бесчисленных немецких колбас: Weisswurst, Bockwurst, Knackwurst, Leberwurst, Rothwurst. Еще недавно у меня оставался старый Иоганнисбергер, на мой взгляд самое лучшее белое вино в мире. В 1946 году, в пору германской нищеты, я приобрел две дюжины бутылок за

десять пакетов папирос Честерфильд. Продавал не то князь Меттерних, владелец иоганнисбергеровских виноградников, не то какой-то субъект, укравший эти бутылки у князя: тогда трудно было разобрать. Не говорите: «как же вам было не стыдно покупать!» Я не слишком брезгливый человек, — скавал Шелль.

Он сидел, развалившись в кресле, заложив ногу на ногу. Лицо его выражало полное удовлетворение жизнью. «Как будто воплощение кайфа! Знаю я твой кайф! Может быть, ты проиграл последнее и теперь в отчаянии», — подумал полковник. Он никогда не занимался игрой в Шерлоки Хольмсы, но наблюдения делал всегда, особенно же в тех случаях, когда нанимал новых важных агентов; старался делать и выводы, впрочем, в отличие от Шерлока Хольмса, без малейшей уверенности в их правильности: слишком часто ошибался. — «Одевается прекрасно, хотя так следует одеваться человеку лет на десять его моложе. Ему, помнится, сорок два. Он, верно, один из тех людей, которые говорят, что одеваться нужно либо у двух-трех первых портных мира, либо у старьевщика. Покрой английский, но шит костюм не в Англии, там теперь больше нет таких превосходных материй. И не в Соединенных Штатах... Туфли на высоких каблуках, это странно при его огромной фигуре. Уж не хочет ли *гипнотизировать* людей ростом? Тогда, значит, позер. Не люблю».

Сам полковник был в штатском дорогом костюме, но носил его небрежно, брюки были не выглажены. Молодой племянник полковника Джим весело говорил, что небрежность дяди умышленная и очень персональная. — «Вы следуете примеру Черчилля, дядя: у него рассчитана не только политика, но и шляпа». — «Зачем же мне рассчитывать?» — «А зачем рассчитывает Уинни? И вы оба старомодны. Но вы не огорчайтесь», — говорил Джим, — «с вас, как со старого военного, и спрашивается тут мало. Президент Эйзенгауер думает, что умеет носить штатское платье. А Идену, должно быть, смешно на него смотреть, как Айку было бы смешно смотреть на Идена, если бы он увидел его в военном мундире. Один я одинаково элегантен

в мундире и в штатском». — «Ты глуп, Джимми», — говорил полковник. Так обычно кончались их разговоры.

— Давайте, что есть. Когда нет Иоганнисбергера, надо пить пиво; когда нет омара Термидор, надо есть колбасу. Такова моя жизненная философия.

— Она не блещет оригинальностью, однако совершенно справедлива, — сказал Шелль. Он тоже «наблюдал». «Много я их всех видел! Пора бы и перейти к делу. Некоторые из них делают вид, будто у них, как у Наполеона, нет ни одной свободной минуты, и говорят наполеоновским тоном, *отрывисто и кратко*, этот не таков». Ему нравился полковник: и тем, что был очень прост, вежлив, даже приветлив, и тем, что пришел к нему в гости, закусывал с ним и играл в карты, вел себя не как будущий начальник. «Наружность у него искусно обманчивая. Похож на старого провинциального доктора, лечащего бедных пациентов и еще приносящего им лекарства. Доброта, благодушие, непоколебимое спокойствие: в мире всё идет превосходно. «Take it easy, don't worry...» В этом огромная сила американцев, сделавшая их самым могущественным народом в мире... Седые волосы, лицо как будто еще молодое, но щеки уже чуть дряблые, с красными жилками. А глаза *настоящие*. Он, быть может, самый замечательный знаток шпионского дела из всех, кого я знал. Сколько трагедий через него прошло!».

— Я сейчас принесу что найду, — сказал он и встал. «Вышел как Эрроль Флинн», — подумал полковник.

В углу комнаты была виолончель. Полковник встал и подошел к книжным полкам. — «Так и есть, он *intelligentsia*». — Очень не любил это слово, неизвестно как возникшее в России и в чуть-чуть измененном смысле перешедшее в англосаксонские страны. «Фрейд... Юнг... Говорят, он был одно время нервно болен, это не проходит даром и в случае выздоровления. Еще стоит ли с ним связываться? Увидим по первому опыту». На полках были классики, но были и дешевые детективные романы. «Вот и суди о человеке по его книгам. Я видал и таких агентов, неважные были агенты»... «Фарфор хороший. Трехцветный Минг! Однако! Видно, были большие деньги или же

здесь купил тотчас после войны». В фарфоре полковник знал толк. Сам в молодости собирал коллекцию фарфора, преимущественно старого американского, в своем небольшом имении в Коннектикуте. Этот деревенский дом полковник купил на сбережения и почти никогда в нем не жил: собирался в нем поселиться после выхода в отставку. Хотя он любил деревенскую жизнь, всё же отставка за предельным возрастом была его кошмаром: не видел, что будет делать без службы и как заполнит двадцать четыре часа в сутки. Службу свою он любил чрезвычайно и не находил нужным ее «проклинать», как это часто делают люди.

Кроме фарфора, в комнате, на этажерках, на столиках, на письменном столе, было еще множество небольших, замысловатых, в большинстве экзотических, вещей, — коробочек, шкатулочек, башенок, табакерок, флакончиков, подсвечников. Некоторые были красивы и все были решительно ни для чего не нужны. «Такие вещи покупают нервные, не слишком богатые, но щедрые путешественники»... В другом углу кабинета, против виолончели, стояла горка с гирями. Полковник попробовал одну из них и еле поднял, хотя сам был крепкий человек и много занимался спортом в молодости. «По слухам, он был настоящий Геркулес, да это и теперь видно... Еще прибавится номер в моей человеческой коллекции. Запросит верно дорого. Впрочем, последнее его дело в Бельгии не удалось. Должен был бы после этого несколько понизить цену».

— У вас много книг на иностранных языках, — сказал он, когда Шелль вернулся с подносом.

— Я в свое время любил читать и теперь медленно разучиваюсь: больше не доставляет удовольствия.

— Вот как? Говорю: на иностранных языках, но собственно какие языки для вас иностранные? Вы ведь русский по происхождению?

— Нет.

— Нет? — протянул недоверчиво полковник. — Нет, так нет. По-английски вы говорите почти как американец.

— По-французски я говорю почти как француз, по-немец-

ки почти как немец. Но это «почти» — опасная вещь. Вероятно, некоторые из иностранных агентов в России погибли потому, что говорили по-русски «почти» как русские. У меня нашлась еще бутылка водки. Хотите?

— Отчего же нет? Хотя вы не русский, вкусы у вас русские.

— Водку пьют во всем мире. Нет лучше напитка, если не считать шампанского.

Шелль снял кольцо с каким-то редким зеленоватым камнем, сильно хлопнул рукой по доньшку, пробка вылетела. Полковник никогда этого не видел и улыбнулся. «Кольцо какой-нибудь «талисман», они почти все суеверны. А такие руки верно бывают у душевателей!.. И брови сросшиися»...

Они выпили и закусили. Шелль вынул из жилетного кармана трубочку, высыпал порошок в стакан с пивом и выпил.

— Простужены? Или страдаете желудком?

— Так. Легкая лихорадка.

— Давно ли? Я при простуде принимаю добрый старый аспирин.

— Нет, это экзотическое средство.

— Экзотическое?

— Мексиканское. В Мексике есть превосходные лекарства, оставшиеся еще от времени ацтеков.

— Я знаю, что вы недавно ездили в Мексику. Дела?

— Да, были и дела. Главная составная часть называется Ололиукви, в простонаречии «Ла Сеньорита», а по ученому, кажется, *Turbina cogumbosa*. Но входят еще разные другие вещества. Это и снотворное, или что-то в этом роде. Оно дает сон с виденьями. Даже не сон, а какой-то *реальный* бред. Его почти не отличишь от действительности. Я иногда в этом бреду вижу человека как живого: представляю себе его прошлое, его характер, привычки, тайные и явные помыслы. Это мне иногда оказывало услуги в работе. Я ведь разведчик-психолог. Да и что такое бред? В нашем мире всё бред.

— Весьма сомневаюсь. И не совсем себе представляю, что такое «реальный» бред? У меня всегда сны совершенно бес-

смысленны. На прошлой неделе мне снилось, что Дикий Билль обыграл пророка Иеремию в покер на два миллиона марок и внес деньги в «Дейтше Банк», где их немедленно конфисковали как имущество не-арийского происхождения.

— Это, конечно, не такой сон, какой я назвал бы реалистическим. А кто такой «Дикий Билль»?

— Разве вы не знаете? Таково было прозвище Виллиама Донована, который в пору второй войны руководил нашей контр-разведкой. Вы его никогда не встречали? Очень способный человек, хотя и дилетант. Он сделал бы еще гораздо больше, если б его дружно не ненавидели армия, флот, авиация и полиция... Так есть реальный бред?

— Я сам прежде этому не верил. Теперь не только верю, но знаю. Вернее, не реальный, а чередующийся. Реальное незаметно переходит в фантастическое, а фантастическое в совершенно реальное. Это особенность именно Ололиукви. Читал об этом в медицинских книгах, да мне известно и по опыту. Я все снадобья перепробовал.

— Зачем же вы это делаете? Это очень вредно, — сказал полковник озадаченно и даже почти с беспокойством. — Что в этом хорошего?

— Как что? У вас одна жизнь, а у меня, кроме настоящей, десять воображаемых. Ведь миром правит воображение.

— В нашем деле пользоваться такими веществами нельзя! — строго сказал полковник. — Быть может, это тот же опиум или гашиш... Так ваши услуги понадобились и в Мексике?.. Какой у вас кстати паспорт?

— Точно вы не знаете! Аргентинский.

— Вы очень удачно выбрали себе фамилию. Шеллем может называться кто угодно: немец, англичанин, француз, венгр, русский.

— Я фамилию не выбирал. Это моя настоящая фамилия. В нашем миреке вы знаменитый человек.

— Моя известность — человек на пятьдесят. А ваша на сто.

— Последняя ваша кличка была «граф Сен-Жермэн», по

имени знаменитого авантюриста 18-го столетия? — спросил полковник, смеясь. — Говорят, у вас было не меньше авантур, чем у него?

— Как, вероятно, у большинства старых разведчиков.

— Да, уж такое ремесло, — сказал полковник. «Может быть, он в душе и считает себя новым графом Сен-Жерменом». — Кажется, до сих пор точно не известно, кто он был такой?

— По наиболее правдоподобным предположениям, он был сыном португальского еврея из южной Франции и какой-то французской княгини.

— Вы, верно, о нем много читали?

— Разумеется, уж если мне дали такую кличку.

— Вы были летчиком, вы недурной парашютист. Правда ли, что по физической силе вы могли бы сравниться чуть ли не с Джо Льюисом?

— Нет, это сильное преувеличение. Всё же кое-что еще осталось.

Шелль подошел к пирамиде и проделал движения с самыми большими гириями. Проделал их как будто очень легко. «Хочет показать, что не слабеет. Плохой признак».

— Что же вам сообщали обо мне ваши агенты? — спросил Шелль, садясь в кресло. — Расскажите что можете. Я не думаю, чтобы в нашем деле надо было всё скрывать и во всем обманывать собеседника. Особенно такого, какого обмануть трудно.

— Я тоже этого не думаю. Так думают только *плохие* разведчики... Что они сообщали? Многое. Разное. В старых романах о вас было бы верно сказано, что вы «человек с опустошенной душой», — тоже весело ответил полковник. Он протянул Шеллю старомодную серебряную папиросочницу. Тот взял папиросу и демонстративно-крепко наложил пальцы на гладкую поверхность.

— Вам, может быть, нужны мои дактилоскопические отпечатки? Вот они.

— Вы верно начитались детективных романов. Кроме того, ваши снимки у меня есть.

— А велико мое досье?

— Немалое.

— Может быть, оно еще полнее у полковника № 2.

— У кого?

— Я так называю советского офицера, занимающего в Берлине ту же должность, что вы, по другую сторону Железного занавеса. Курьезно то, что у вас сходство не только в чине, но и в положении. Вы всего полковник, но мне прекрасно известно, что вы в вашем берлинском учреждении едва ли не главный. То же самое относится к нему. Впрочем, у них человек, носящий чин майора в Министерстве Внутренних Дел, переходит, кажется, в армию с чином генерал-майора. Пользы от тайны и тут немного. Вы отлично знаете, кто он, а он отлично знает, кто вы... Согласитесь, что нет сейчас в мире более интересного города, чем Берлин. Это действительно *das Schaufenster der Welt*. Тут центр международного шпионажа. Я как-то в свободное время пробовал сосчитать, сколько в Берлине иностранных разведок. Дошел до тридцати и бросил считать. Иначе и быть не может: Берлин, да еще Вена, единственные города в мире, где можно в несколько минут с удобствами переехать, хотя бы по подземной железной дороге, из одного мира в другой... Что, безвыходное положение в мире?

— Трудное, но не безвыходное. Безвыходных положений не бывает.

— Бывают, бывают. Хотите послушать радио? Сейчас будут передавать новости.

— Что-ж, слушаем.

— Узнаем верно много приятного.

II

— Вы, разумеется, понимаете, — сказал полковник, взглянув мельком на Шелля, — что, при разговоре с каждым кандидатом на службу к нам, должны ставить себе вопрос: быть может, он двойной агент? Но, по моему опыту, двойных агентов в настоящем смысле слова почти не бывает: каждый из них

всегда предпочитает одну из двух сторон и по настоящему служит только ей. Против таких я лично ничего не имею.

— Быть может, вы таким даже платите больше жалованья, и это естественно.

— Я, например, в принципе ничего не имел бы против того, чтобы наши агенты иногда, в случае крайней необходимости, поддерживали отношения хотя бы с «полковником № 2». Разумеется, при условии, чтобы *по настоящему* они работали для нас. Мы и платим лучше.

— Не говорите: они, кажется, иногда платят очень хорошо.

— О деньгах мы с вами сговоримся... Вы совершенно свободно переходите в восточную зону?

— Дело нехитрое.

— Как для кого. У вас есть там связи?

— Нет.

— Вы работаете только ради денег?

— Вы говорите так, точно другие у вас работают по убеждению.

— Многие. По убеждению и из патриотизма.

— Бесплатно?

— Разумеется, нет. Людям надо есть и пить.

— Я думаю, в вашем ведомстве, за исключением его верхов, преобладают иностранцы. Может быть, они тоже патриоты, но какого отечества?

— Некоторые работают из мести и из ненависти к правительству своей страны.

— За эти чувства они получают очень хорошие жалованья. Но от меня, надеюсь, вы *вашего* патриотизма не ждете. Не ждите от меня и твердых принципов. Я, можно сказать, профессионал никак не принципиальных дел. У меня аллергия к принципам, а может быть, и вообще к добру («Типичный фразер!» — подумал, морщась, полковник). Но уж если мы, против обычая, заговорили о таких предметах, то скажу вам, каков мой вывод из многих лет довольно разнообразной работы в разведке. Среди настоящих разведчиков есть выдающиеся люди. Они

обычно сочетают в себе хорошие свойства офицеров с хорошими свойствами... Ну, кого бы назвать? С хорошими свойствами, например, писателей: с пронизательностью, наблюдательностью, знанием людей, фантазией, с умением перевоплощаться в другого человека. Те из них, что служат *своему* отечеству, даже порядочные люди. Судя по тому, что я о вас слышал, да и по моим наблюдениям, вы вполне порядочный человек.

— Очень вас благодарю, — сказал полковник. «Быть может, ты в этом вопросе не слишком авторитетный судья», — подумал он. — Вы говорите о *нашем* ремесле. Мое ремесло с вашим не тождественно. Я работаю за письменным столом, у меня главное: систематизация, сопоставление, критика тех сведений, которые я получаю. Здесь всё в добросовестности, во внимании, в терпении. Чистая проза.

— Так думала ваша старая школа. Вы собственно к ней и принадлежите, хотя ее обновили, вместе с генералом Боллингом, и сделали большую карьеру в последние годы. Но это другой вопрос, и он меня не касается.

— Именно.

— Удивит ли вас, если я скажу, что полковник № 2 тоже честный человек, правда, со всячинкой, как они все, и окруженный негодяями. Его положение трудное. Сталину вообще надо докладывать то, что он желает слышать. Неприятных сведений он не выносит, — большой недостаток для главы правительства.

— Это общее место.

— Я не обязался высказывать откровения.

— Но это едва ли верное общее место. Во всяком случае главари московской разведки, как и всех вообще разведок, требуют, чтобы им сообщали правду. Докладывают ли они ее Сталину неподкрашенной, этого я, разумеется, не знаю.

— Подкрашивают. Но и по другим причинам полковник на своем месте не удержится. У них ведь как в переполненном автобусе: стоящие в проходе с ненавистью смотрят на тех, кто сидит.

— Он недурной специалист и старый боевой офицер. В конце войны он командовал полком и был ранен в ногу. Поэтому его и перевели в разведку. Кажется, его так и называют «Крамой», — сказал полковник, как будто старательно и по иностранному выговорив русское слово. Недурно владел русским языком и скрывал это. — Он член партии?

— Вероятно. Иначе его на такую должность не назначили бы. Но знаете, у офицеров партийные эксельбанты ровно ничего не значат. Тухачевский тоже был коммунистом. Так вы знаете по-русски?

— К сожалению, только несколько слов. «Тшорт», — выговорил полковник, смеясь. Несмотря на существование звука «ч» в английском языке, он произносил «тш». — «Сукин син»...

— Приятно слышать... Полковник № 2 не сукин сын. Говорят, он тяготеет своей нынешней службой. Я допускаю, что порядочные люди могут быть везде, но...

— Не везде. В Гестапо порядочных людей не было. И в ГПУ нет.

— Но приблизительная химическая формула разведчика такова: 50 процентов любви к деньгам, 20 процентов спортивных инстинктов, 10 процентов глупости, 10 процентов идейных соображений, 10 процентов скуки от пустой или неудавшейся жизни.

— Добавьте известный процент душевной неуравновешенности.

— Да, конечно, морфиноманы, кокаинисты.

— Есть и такие. Точнее, многие становятся морфиноманами, работа трудная. А когда они становятся морфиноманами, то им обычно грош цена. Меня всегда забавляло, что Конан-Дойль сделал Шерлока Хольмса кокаинистом. Это доказывает, что талантливый английский писатель ничего не понимал в полицейском деле. «Дедукции» Шерлока и вообще не очень убедительны, но если б он был кокаинистом, то скоро превратился бы в развалину и через год стал бы бездарнее самого доктора Ватсона... Так вы работаете только для денег, — сказал полковник с легким разочарованием. — А я думал, что именно у

вас огромный процент «спортивных инстинктов». Граф Сен-Жермен, вероятно, был преимущественно искателем сильных ощущений. Правда?

— Наверное и в это входили деньги. Были любовь, ненависть, зависть, ревность, вино, политика, спорт, возвышенные и невозвышенные идеи, а где-то во всем этом торчало и золото. Как у большинства людей. Зачем только они это скрывают или отрицают?

«Довольно плоский взгляд», — подумал полковник. У него у самого деньги не занимали большого места в жизни. Дорогое увлечение у него было лишь одно: лошади. В ранней молодости он служил в кавалерийском полку и даже принимал участие в одном из последних кавалерийских дел в истории. Ему было больно, что роль конницы навсегда кончилась. Армия без конницы была для него уже не совсем настоящая армия.

— Не спрашиваю вас, сколько вам предложили англичане. Мы вам дадим больше. Значит, вам всё равно, *кому* служить?

— Не совсем всё равно. Есть разные обстоятельства. Например, опаснее служить западному миру, чем восточному. В случае провала у вас судят, а у них просто расстреливают и, что гораздо хуже, до того пытаются.

— Ну, вот видите, некоторую разницу между западным и восточным миром вы признаете: у нас судят и не пытаются. В нашем деле иногда приходится делать кое-что такое, что плохо согласуется с заповедями Моисея. Иначе мы поступать не можем: ведь мы только защищаемся! Надеюсь, и вообще есть разница между строем, основанным на свободе, и строем, основанным на рабстве? Вы этого не видите?

— Разницы не видят только снобы.

— Я слышал, что вы ненавидите советское правительство и имеете для этого и личные основания. В конце концов, это для нас и не столь важно. В нашем деле, как во французском Иностранном Легионе, человека о прошлом не спрашивают. Лишь бы он служил *нам* честно, — еще настойчивее повторил полковник.

— Вы, вероятно, хотите доставить меня на парашюте в СССР?

— Мы никого на парашютах в СССР не отправляем, — сказал очень холодно полковник. — И никакими драматическими и страшными делами мы не занимаемся.

— Напрасно не занимаетесь. Если б ваши агенты пятнадцать лет тому назад убили Гитлера, спаслись бы десятки миллионов людей.

— Такими делами мы тем более никогда не занимались, — сказал полковник еще холоднее. — Да и вас я не хочу непременно отправлять в Россию. Вы могли бы действовать как вам было бы угодно. Мы просто хотели бы вывезти из Москвы одного беспомощного человека. Он ученый и никакой политикой не занимается. Нам нужно одно его открытие.

— Дело нелегкое.

— Для *легкого* дела я к вам и не обратился бы.

— Но это особенно трудное. Из России не возвращаются.

— Это сильное преувеличение.

— Вы наверное окружены советскими агентами.

— Возможно, но я этого не думаю. У меня провалы бывали чрезвычайно редко. Кроме того, я никому из своих подчиненных о вас не скажу.

— А из ваших начальников?

— Они умеют хранить и не такие секреты.

— «И не такие»? Согласитесь, что для меня этот секрет имеет некоторое значение.

— Мы заплатим очень хорошо. Так как же?

— Я вам дам ответ через две-три недели. Мне надо съездить в Италию. Не «по делам», а так, чтобы отдохнуть.

— Ждать не очень удобно... Конечно, если у вас лихорадка... Она ведь не затяжная?

— Нет, ничего серьезного нет. Я здоров. Просто отдохну в Италии. Люблю греться на солнце.

— Как змеи, — пошутил полковник. — Вы куда поедете?

— Еще не знаю, верно во Флоренцию, — небрежно ответил Шелль. Он собирался на Капри. — Я там приму решение.

— Что же вас собственно удерживает?

— Мне просто надоело наше ремесло.

— Вот как? Так вы мне дадите ответ не позднее, чем через две недели?

— Если я откажусь, то пришлю вам телеграмму уже через несколько дней. Во всяком случае, я повидею вас еще до моего отъезда. По другому делу.

— Не о вас? — спросил полковник, насторожившись.

— Нет, об одной даме. Сейчас об этом говорить не стоит... А этот советский изобретатель *хочет* уехать из СССР?

— Он ненавидит советскую власть.

— А не донесет ли он на меня первый?

— Вы примете меры. Я знаю, что дело трудное. Иначе я не ассигновал бы на это больших денег, — многозначительно подчеркнул полковник. — Вы убедите его уехать.

— Конечно, это соблазнительно. Как зовут этого ученого?

Полковник закурил новую папиросу. «Нет гарантии, что он не будет *их* двойным агентом», — сказал себе он. — «Но гарантии не будет, к кому бы я ни обратился. Всё же можно *почти* с уверенностью сказать, что этот не донесет. Ему и невыгодно, тогда он был бы конченным человеком! И по всему, что о нем известно, не донесет».

— Как же я могу рисковать чужой жизнью, когда вы еще и не дали мне ответа?

— Вы прекрасно знаете, что такой риск неизбежен. К кому бы вы ни обратились, вы ведь должны будете сообщить имя и вы не можете быть уверены, что этот человек не донесет. А вот я не донесу. Каков бы я ни был, у меня есть свой кодекс чести. Так сказать «Бушидо» японских самураев, — хмуро сказал Шелль. В глазах у него что-то мелькнуло. «При случае может быть страшен, *самурай*», — отметил полковник. — Или, чтобы говорить менее пышно, знаете, есть такие горничные, которые бросают службу в доме, если видят, что от них прячут деньги. Так и я не служу, если мне не верят. Да мне и необходимо знать всё о нем. Я всегда начинаю с того, что долго, часто

думаю о предстоящей задаче, о людях, с которыми придется иметь дело. Мне необходимо знать всё об этом ученом.

— Да я сам почти ничего о нем не знаю... Его зовут Николай Майков, — сказал, еще помолчав, полковник. — Я произношу правильно? Добавлю, что его открытие ни малейшего военного значения не имеет. Оно относится к продлению человеческой жизни, или к чему-то в этом роде.

Зачем же *вы* его вывозите?

— Разве вам не хочется продлить свою жизнь? — спросил, смеясь, полковник. — Нам тоже хочется. Если вы его вывозите и если его открытие серьезно, то оно во всех подробностях будет опубликовано в научных журналах. Таким образом русским от него будет не меньше пользы, чем нам и чем всем другим. А вреда не может быть решительно никому.

— Почему же советское правительство само не публикует открытия своего ученого?

Полковник пожал плечами.

— Как мне сообщили, по разным причинам. Во-первых, этот ученый там на очень плохом счету, он несколько раз сидел у них в тюрьме. Во-вторых, его взгляды вообще как будто как-то противоречат их философии, не то Марксу, не то Мичуруну, не то научным концепциям самого дяди Джо. В-третьих, они считают его идиотом или сумасшедшим и денег ему не дадут, он к ним и не обращается. Впрочем, я знаю об его открытии еще меньше, чем о нем самом, да если б и знал, то верно ничего не понял бы. Но один наш очень известный и влиятельный биолог сообщил в Вашингтоне, что, по его сведениям, открытие этого русского имеет огромное значение и в надлежащих условиях могло бы дать головокружительные результаты. Мне поручили попробовать помочь ему. Это действительно не входит в мои обычные занятия.

— Всякое бывало. У западных стран было с Россией долгое соревнование в деле вывоза немецких ученых: кто больше вывезет и каких по важности. Тут, вероятно, тоже без разведки не обходилось. А может быть, у вас и вообще были бы рады

конфузному для советов происшествию? Я прекрасно понимаю.

— Вам нечего понимать. («Тут нечего понимать или вообще?» — спросил себя Шелль). И я уже сказал вам, что мы только защищаемся. Первыми неприятностей никогда не делаем... По получении вашего ответа я сообщу вам всё что знаю. А там будет видно, после первого опыта совместной работы. Я отлично знаю, что вы на этого Майкова не донесете. Вы и не способны на это, это было бы очень низким делом, и для вас никак не выгодным: мы об этом тотчас сообщили бы всем возможным работодателям. Говорю так, просто к слову. Прекрасно знаю, что на вас можно положиться... А что же вы будете делать, если бросите разведку? — спросил он, хотя это ему было не интересно.

— Я начинаю приходить к мысли, что мог бы зарабатывать столько же и даже больше гораздо менее опасной работой.

— Что же, вы станете маклером или лавочником?

— Маклером или лавочником едва ли. В молодости я хотел стать писателем.

— Это видно. Вы говорите очень литературно.

— Литературно говорят не писатели, а адвокаты. А теперь этого стали требовать и от разведчиков. По мнению новой школы, хороший разведчик должен быть блестящим causeur-ом, говорить обо всем чем угодно и ни единым словом не проговариваться. Стараюсь принаравливаться. Писателем же я не стал из-за отсутствия таланта.

— Отчего же вам не закончить карьеру разведчика блестящим делом? Тогда у вас будут и деньги... Я слышал, что у вас недавно была неудача, — полувопросительно сказал полковник.

— Если и была, то не по моей вине, — сердито ответил Шелль. — Да неудачи и не было.

— А хотя бы и была. У кого не было? Не надо оглядываться назад, вспомните о жене Лота, — особенно ласковым тоном сказал полковник. — Будущее другое дело. Вот, та сумма, которую мы вам заплатили бы в случае успеха, и помогла

бы вам начать более безопасную жизнь. Только я не очень в это верю. Из разведки не уходят... Впрочем, вы можете написать воспоминания или роман. Все разведчики хотят написать воспоминания или роман.

— Я знал даже таких, которые именно для этого шли в разведку.

— Я тоже знал. И сколько плохих книг они написали! Хорошие разведчики книг не пишут. Вы можете стать первым.

— А вы знакомы с полковником № 2?

— Нет, это было бы неудобно и мне, и особенно ему.

— Собственно, почему? Генералы армий, воюющих одна с другой, обмениваются же любезностями. В пору первой Крымской войны английские и французские адмиралы посылали русским в подарок сыр, дичь, и те отвечали им подарками.

— Эти времена навсегда кончились. Кейтеля и Иодля в Нюрнберге повесили.

— Штатские. Генералы-победители были очень этим недовольны. Такой финал действительно портит ремесло, — сказал Шелль. — Так вы согласны подождать две-три недели?

— Что же мне делать? «Тшорт», — сказал полковник.

III

В клубе Шелль играл не в покер, а в бридж, и ему опять не везло. Особенно неудачен был последний роббер с неоправдавшимся контрированием партнера. Этот игрок расстроился и, хотя было всего десять часов вечера, объявил, что больше играть не хочет; даже не выдумал приличного предлога. По клубной этике, такое действие считалось недопустимым, но никто не спорил: новую партию устроить было нетрудно, она тотчас и устроилась.

Шелль в нее не вошел. Из вежливости его звали, однако не очень и с некоторой опаской. Он считался большим мастером, а в клубе одинаково избегали очень сильных и очень слабых игроков. Играл он всегда спокойно, не горячился и даже не принимал участия в обсуждении сенсационных по послед-

ствиям заявок и розыгрышей. Этого в клубе тоже не любили. Иногда перед началом игры какой-либо миролюбивый человек предлагал: «Давайте, господа, сегодня играть без всяких ссор и споров, как играют англичане». Все тотчас радостно соглашались, хотя бывалые люди знали, что так не играют ни англичане, ни верно никто в мире, и слава Богу. За игрой не следовало скандалить и выражать, — по крайней мере, открыто — сомнение в умственных способностях партнера, но не следовало и молчать как рыба: некоторая доля брани и крика входила в удовольствие, доставляемое клубом.

Кроме того, у нервных людей вызывал неприятное чувство этот гигантского роста человек, с неподвижным каменным лицом, с неторопливыми и, как у очень хороших актеров, *значительными* движениями. Никто не знал его профессии. Одни говорили, что он имеет наследственное состояние и никакими делами не занимается; другие сообщали, что он занимается самыми темными делами; сообщали и без доказательств, и без возмущения, — отчего же не сказать? В клубе, особенно в первые годы после окончания войны, можно было купить и продать всё что угодно, от золота и долларов до груза чилийской селитры и виллы в Италии. В промежутке между робберами люди уводили друг друга в сторону, о чем-то взволнованно и яростно шептались. Шелль не шептался ни с кем, это было подозрительно. Никто с ним и не шутил; в редких случаях, когда он проигрывал, никто не отпускал веселых, имевших прочный успех, замечаний на тему: не везет в игре, — значит, везет в любви.

Встав из за стола, он мысленно подсчитал, что всё его состояние теперь составляет тысячу восемьсот долларов. Еще недавно было раз в шесть больше. «Что-ж, оставлю Эдде долларов шестьсот. Она не так жадна, надо отдать ей справедливость. Если и поторгуется, то больше по чувству долга. Если же удастся сплавить ее полковнику № 2, то можно будет дать и четыреста: за месяц вперед, джентльменский расчет».

И только он, взглянув на часы, устроился за маленьким столиком, как лакей почтительно доложил ему, что его в ве-

стибюле спрашивает дама. «Смерть мухам!» — с досадой подумал Шелль. В клуб дамы, по старинному, не допускались.

— Я сейчас спущусь.

Он неторопливо осмотрел себя в огромном стенном зеркале, — галстук был повязан безукоризненно, ни один волосок не передвинулся в проборе, искусно устроенном так, что начинавшаяся лысина была почти не заметна. Седина в волосах его не огорчала, — гораздо лучше, чем плешь. Шелль прошел через две другие залы. Дому, в котором помещался клуб, повезло. Каким-то чудом он уцелел в пору бомбардировок; находился не в районе Унтер-ден-Линден, не на Йегерштрассе или Кениггретцерштрассе, как другие клубы, а по близости от Курфюрстендамма, в западной зоне. Его построили в начале двадцатого века, в лучшее Вильгельмовское время, когда не было нигде ни виз, ни безработицы, ни продовольственных карточек; когда слов «валюта» или «инфляция» никто, кроме экономистов, не слышал и, вероятно, не понял бы; когда за мысль о воздушной бомбардировке Берлина человека немедленно признали бы душевно больным; когда на каждом углу у Ашингера с бело-голубым фасадом можно было за пятнадцать пфеннигов получить сосиски с горой политого уксусом картофеля и огромный бокал пива; когда в «Рейнгольде» одновременно обедало в колоссальной средневековой зале две тысячи человек под угрюмым взглядом Барбароссы; когда в разных Amorsäle лакеи в зеленых ливреях с раззолоченными пуговицами каждый вечер упорно старались усадить гостей за столы с надписью: “Reserviert für Champagne”.

В доме была огромная мраморная лестница, покрытая мягким ковром, были раззолоченные балкончики с цветами, была даже летняя терраса для отдыха и для солнечных ванн. Здесь и до первой войны помещался клуб; в нем бывали штаатсраты, коммерциенраты, герихтсраты, баураты, шульраты, медицинальраты, ратгеберы, гофлиферанты, видные журналисты и адвокаты. Украшали его когда-то именами и пять-шесть либеральных генералов и баронов, и был даже членом один граф.

От бомбардировок дом не пострадал, только побилась леп-

ная работа на фасаде и были разнесены вдребезги горшечки с геранью. После войны клуб возобновил работу; но прежние клиенты вымерли и теперь тут бывали самые разные люди, иностранцы всех национальностей, должностные лица, новые богачи, разведчики, бывали даже прежние служащие Гестапо, давно переменившие наружность, имена, бумаги, державшиеся очень передовых взглядов, но осматривавшиеся по сторонам: нет ли по близости какого-либо чудом уцелевшего заключенного с выжженным на руке клеймом концентрационного лагеря, — еще мог бы их узнать; впрочем, и в этом случае ничего страшного, верно, не произошло бы, так как всё покрыли давность, амнистии и «чорт с ними!...» В клубе и теперь был очень недурной ресторан, подделывавшийся не под Париж, как в прежние времена, а под Нью Йорк: в меню названия блюд давались с английским переводом, и всегда можно было найти, рядом с гусем с яблоками, какой-нибудь Pot Roast Lamb Sandwich with Brown Gravy, Spiced Peach and Fresh Spinach, а в карте вин Mt Vernon 10 yr. Bonded Rye и Old Grand-Dad 8-yr. Bourbon. Полиция не очень интересовалась крупной игрой в клубе, так как среди гостей иногда бывали и важные лица.

Эдда сидела в пустом огромном холле в углу, в готическом кресле, у раззолоченной статуи Брунгильды с копьем. «И сама воинственна, как Брунгильда», — подумал Шелль. — «Конечно, будет «ужас и фантастика». О чем сегодня?...» Она была в норковой *саре*, ярком фиолетовом платье, была *вызывающе* накрашена: выкрашено было всё, волосы в ярко-золотой цвет, лицо, веки, ресницы, ногти. «Наташа и не знает, где покупаются дамские краски!.. Ох, надо эту сплавить, как ни безобразен способ... От золотых копи ее лицо кажется вдвое шире. Даже этого не умеет. Выкрасила бы и усики, они очень ее портят. Под глазами уже веер. Слишком много пьет. Скоро потеряет и красоту».

Он изобразил на лице достаточную, хотя и не слишком большую, степень восторга.

— Как я рад тебя видеть! — сказал он, целуя ей руку.

— Не знаю, так ли ты рад? Ты, кажется, хотел сказать:

«чего тебе еще нужно?» — начала она. «Ну, валяй, валяй, с места в карьер», — подумал он и, радостно улыбаясь, точно ждал самого веселого разговора, придвинул готический стул к копьё Брунгильды и сел. Швейцар издали неодобрительно на это взглянул, хотя Шелль у него пользовался милостью.

— Никак не хотел ничего сказать, ты этого, к счастью, и не думаешь. Как ты поживаешь? — спросил Шелль. Прошедший по вестибюлю элегантный гость ласково посмотрел на Эдду. «В самом деле она пока хороша собой. Но Наташа в сто раз лучше».

— Как я поживаю? Отлично. Превосходно. Как может поживать женщина, которую хочет бросить ее любовник. Но я пришла не для того, чтобы устраивать тебе здесь сцену.

— Это очень приятно слышать. Устраивать мне сцену действительно не за что.

— Мне это надоело, а тебе мои сцены только доставляют удовольствие.

— Ни малейшего. Я не мазохист. Но чему же в самом деле я обязан честью и радостью твоего посещения? — спросил он. В последнее время они обычно говорили в этом тоне, который обоим очень нравился.

— Ты обязан честью и радостью моего посещения тому, что мне надо, наконец, знать, видел ли ты его, — сказала Эдда, очень понизив голос и беспокойно оглядываясь.

— Кого, кохана?

— Во-первых, не называй меня «кохана»! Ты не поляк, и я не полька.

— Чем же я виноват, что ты называешь себя Эдда? Кроме дочери Муссолини, никто так не называется. Почему тебя не зовут Риммой?

— Глупый вопрос. Потому, что меня зовут Эддой.

— Ну что Эдда, какая Эдда! Пожалуйста, называйся Риммой... А во-вторых?

— А во-вторых, ты отлично знаешь, «кого». Советского полковника.

— Я собираюсь к нему сегодня.

— Так поздно?

— Он мне назначил свидание в половине двенадцатого...

Но ты твердо решилась?

— Разве сегодня же надо дать окончательный ответ? — спросила она. Лицо у нее несколько изменилось. Ему стало ее жалко. «Всё-таки, не следует так с ней поступать», — подумал он.

— Как хочешь... Помни во всяком случае, что я тебя не уговариваю.

— Ты врешь, ты меня уговаривал.

— И не думал. Говорю тебе еще раз: поступай как знаешь. Дело трудное, опасное и нисколько не романтичное. У тебя комплекс Мата-Хари, и кроме того, комплекс Нерона. Но ты с ними проживешь восемьдесят лет и на старости будешь отдавать деньги под вторую закладную, из двенадцати процентов.

— Ты помешался на этих комплексах! У тебя комплекс Черчилля.

— Зачем тебе это? Пиши стихи, ты талантливая поэтесса.

— Поэзией жить нельзя. Особенно русской.

— Я тебе и говорил, что ты должна писать по-французски. И пиши прозу. Впрочем, нет, прозы не пиши. Есть писатели, навсегда погубленные Достоевским, и есть писатели, навсегда погубленные Кафкой, хотя у Кафки талант был очень маленький. А тебя погубили оба.

— Что ты понимаешь! И, как тебе известно, я пишу и прозу, — обиженно сказала Эдда. Она действительно писала что угодно, от непонятных романов до юмористических рассказов, где евреи говорили «Пхе» и «что значит?», а кавказцы «Дюша мой». Журналы и газеты упорно ее не печатали.

— Пиши французские стихи.

— Никакой поэзии теперь не читают. В буржуазном мире **небывалое** понижение культурного уровня! А против меня образовался заговор молчания, потому что я не какая-нибудь **русская эмигрантка**.

— Да, это верно. Тогда не пиши, — сказал он. Знал, что

Эдда злится, когда с ней соглашаются сразу: согласие должно приходиться после спора и крика. — Впрочем, ты не русская, ни по крови, ни даже по воспитанию.

Он собственно в точности не знал, кто она по национальности (как в клубе не знали, кто по национальности он). По-русски Эдда говорила с малозаметным неопределенным акцентом, а о своем прошлом рассказывала редко, неясно и всегда по-разному. Говорили они то по-русски, то по-французски, то по-немецки; у обоих были необыкновенные способности к языкам.

Их связь продолжалась менее полугода. Сошлись они случайно, без большой любви, без большого интереса друг к другу. Эдде скоро стало известно, что он разведчик. Шелль сам ей это сообщил за шампанским, больше из любопытства: какой произведет эффект? Она вдобавок умела не болтать о том, о чем болтать не следовало, — «да ей никто ни в чем и не верит». После своего nervous breakdown — и до Наташи — вообще стал менее осторожен. Эффект был большой. Эдда была поражена и скорее поражена приятно: разведчиков в ее биографии еще не было. Долго несла чушь, в которой что-то было об ее идеях, об его сложной загадочной душе, о Достоевском и о Сартре. — «Если тебе это дело так нравится, то отчего же тебе самой им не заняться?» — сказал он еще почти без затаенной мысли. — «Ты думаешь, что я могла бы сделать карьеру на этом поприще?» — жадно глядя на него, спросила она. Слово «поприще» сразу его раздражило. — «Это самое подходящее для тебя поприще. И оно никак не хуже того, что ты делала в пору Гитлера». — «Что я делала?» — спросила она с возмущением. — «Так, разное говорят о твоих поприщах». — «Ты врешь, но если и говорят, то это гнусная клевета!» — «Может быть, и клевета. Очень много врут люди», — согласился он. В самом деле, не слишком верил темным слухам о ней. — «Не «может быть», а это так! Гнусная клевета! И к большевикам я тоже не пойду я их не люблю». — «Для этого любви и не требуется». — «Хотя я понимаю, что есть идейное оправдание». — «Можно найти и идейное оправдание. Это даже очень легко». — «Но

шпионкой я никогда не буду!» — «Не шпионкой и даже не разведчицей, а контр-разведчицей. У нас не произносят слова «шпион», это неблагозвучно». — «Какую книгу я об этом написала бы! Почему ты не пишешь книги о разведке?» — «Потому, что я слишком хорошо ее знаю». — «Вот тебе раз! Именно поэтому и надо написать!» — «Нет воображения. Достоевский не убивал старух процентщиц и совершенно не знал, как ведется следствие. А написал недурно. Если б знал лучше, написал бы хуже».

— Я не русская, но и ты не очень русский. Национальность это вообще vieux jeu.

— Да зачем это тебе нужно? Я тебе даю достаточно денег.

— Кажется, я никогда не жаловалась.

— Действительно не жаловалась, но и не могла жаловаться, — уточнил он. Любил сохранять за собой последнее слово и то, что он называл стратегической инициативой разговора. С Эддой это было обычно нелегко.

— Ты отлично знаешь, что, если я к ним и пойду, то не из-за денег, а потому...

— Потому, что у тебя демоническая душа. Я проникаю в ее глубины. У меня батискаф для женщин. Это прибор, в котором профессор Пикар погружается в морские глубины. А я в глубины женской души, — сказал он то, что говорил всем своим любовницам, наводя на более глупых панику.

— Если я к ним пойду, то из ненависти к буржуазному строю! То, что теперь делается в Америке, это ужас и фантастика.

— Да, да, знаю, мое рожоное.

— Ты всегда говоришь «да, да, знаю» и при этом, на зло мне, делаешь вид, будто тебе скучно. Со мной никому скучно не бывает!.. У меня есть сегодня синяки под глазами?

— Ни малейших. Напротив, ты становишься всё декоративнее. Прямо на обложку «Лайф».

— Я решила соблюдать строгий режим. Хочу весить на десять фунтов меньше.

— Это очень легко: отруби себе ногу.

— Твои шутки в последнее время стали чрезвычайно остроумны. Ты и вообще не остроумен, хотя и вечно остришь. Худеют от танцев. Будем сегодня ночью танцевать до рассвета?

— Нет, не будем сегодня ночью танцевать до рассвета.

— Я полнею от шампанского. Сегодня за обедом выпила целую бутылку, — сказала Эдда и остановилась, ожидая, что он ее спросит: «с кем?» Шелль нарочно не спросил. — Моя жизнь в шампанском и любви.

— В любви и в шампанском.

— А капиталистический строй я ненавижу, потому...

— Потому, что у тебя нет капиталов.

— Нет, не поэтому!

— Хорошо, хорошо, — сказал он. — Я знаю. Знаю, что ты ненавидишь всё vieux jeu и что в Америке ужас и фантастика. Знаю, что настоящая свобода только в России. Знаю, что ты супер-экзистенциалистка и что l'existence précède l'essence. Знаю, что ты обожаешь Сартра и музыку конкретистов. Всё знаю («знаю в особенности, что ты супер-дура», — хотел добавить он). Но тут не время и не место для философско-политических споров. Скажи мне толком: говорить с полковником или нет? Сегодня есть случай и день хороший: не понедельник, не пятница, не тринадцатое число.

— Куда он меня пошлет? — спросила она еще понизив голос. — За Железный занавес я не поеду.

— Едва ли они пошлют тебя шпионить за ними самими.

— Так куда же?

— Почему я могу знать? Может быть, в Париж?

— Если с тобой, я поеду куда угодно, — робко сказала она. — Я хочу быть в том же деле, что ты.

— Ты, очевидно, представляешь себе это как банк или большой магазин: ты будешь за одним столом, а я рядом с другим?

— Одна я, пожалуй, поехала бы в Париж. Разумеется, если они будут хорошо платить. Мне надо жить.

— Я тебе даю четыреста долларов в месяц.

— Ты мне их давал, но я знаю, что ты проиграл всё что у тебя было. И, как ты догадываешься, мне не очень приятно жить на твои деньги, — сказала она искренно. — Я признаю, ты не скуп. Но прежде ты любил меня.

— Я и теперь люблю тебя. Даже больше прежнего.

— Ты врешь! — сказала она, впрочем довольная его словами. — Ты никогда не говоришь правды.

— Нет, иногда говорю. Я тебя люблю уже пять месяцев. Вероятно, никто не любил тебя так долго.

— Меня никто до тебя не бросал, но я действительно скоро всех бросала. А чем же ты показываешь, что любишь меня?

— Ответ был бы непристойен... Не петь же мне с тобой любовные дуэты, да и это доказательством не было бы. Кажется, в опере Шостаковича он и она поют любовный дуэт, но оказывается, что они общаются в любви к Сталину.

— Ты хам!.. Когда ты уезжаешь?

— Послезавтра.

— В Мадрид?

— Да, в Мадрид. Я тебе десять раз говорил что в Мадрид. Не на Гонолулу, а в Мадрид.

— Ты действительно говорил это десять раз и именно поэтому я тебе не верю. Отчего ты не берешь меня с собой?

— Я там буду занят целый день. Да это и дорого. И не так легко получить визу в Испанию.

— Если не так легко, то ты и потрудись... Что я буду здесь делать одна?

— У тебя много знакомых.

— Ты хам, — сказала Эдда. Она постоянно говорила «ты хам», «он хам», «они хамье», и это у нее почти ничего не значило. Значило разве, что человек ей не нравится. Да и то не всегда.

— Если будет скучно, повторяю, пиши стихи.

— Я всё равно пишу каждый день. Сегодня написала одно по-русски, в старинном стиле, немного в духе Дениса Давыдова: «О пощади! Зачем волшебство ласк и слов»...

— Что то есть за человек? Не гневайся, знаю, знаю, был

такой поэт. Спрашиваю во второй раз, говорить ли с полковником. Помни твердо, я тебе не советовал и не советую.

— Ты думаешь, это очень опасно?

— Не знаю, очень ли. Это зависит от поручения. Но, конечно, служить в разведке дело рискованное. Я знаю, ты любишь играть жизнью, это самая основная твоя черта. «Клюнуло», — подумал он. — Всё же я не советую. У тебя для этой профессии слишком беспокойный взгляд... Вероятно, они пошлют тебя именно в Париж.

— Может быть, я соглашусь, чтобы пройти и через это. Надо пройти через всё!

— Я оценил афоризм.

— А когда мне надоест, я брошу. Но если я поеду к ним и они меня назад не выпустят? Что ты тогда сделаешь?

— Сброшу на них водородную бомбу.

— Дурак. Я ишу к чему приложиться и не нахожу! Это моя трагедия. Хочешь, я прочту тебе французские стихи?

— Не хочу, но, так и быть, читай.

— Они короткие. Слушай:

*Nous avons perdu la route et la trace des hommes
Parmi les méandres du ténébreux vallon,
Et oublié le nom de la ville d'où nous sommes
Sans savoir celui de la ville où nous allons.*

— Хорошо?

— Очень недурно, — сказал Шелль. «А в ней в самом деле что-то есть. И лицо у нее сейчас вдохновенное. Глупое, но вдохновенное. Да может быть, стихи и не ее». — Очень недурно.

— То-то. Если я приму их предложение, они меня отправят тотчас?

— Не принимай их предложения. Сиди дома и пей шампанское... Нет, они отправят тебя не тотчас. Сначала о тебе наведет справки комендант. У него есть своя тайная агентура. Затем это будет передано в управление М.В.Д. Тебя допросит порученец, у них такие называются порученцами. Он направит тебя в Главразведупр, т. е. в военную разведку. Если ты по-

рученцу покажешься подходящей, то направит туда быть может; если же ты покажешься ему неподходящей, то направит почти наверное: как во всем мире, но больше, чем в других странах, у них полиция и армия ненавидят друг друга, и вероятно, ничто не может доставить больше радости управлению М.В.Д., чем серьезная неприятность у Главразведупра. Не менее верно и обратное. Таким образом у тебя есть время, если я и поговорю сегодня с полковником. Помни, я не советую.

— Ты что-то уж очень упорно повторяешь, что не советуешь. У тебя темная душа. Поэтому я тебя люблю. Ты вернешься через две недели? Даешь слово?

— Зачем, дрога пане кохана, когда ты ни одному моему слову не веришь?

— Если у тебя в Мадриде есть другая женщина, я оболью ее царской водкой!

Бедная донна. Это может повредить ее зрению.

— А потом покончу с собой!

— Комплекс «Анны Карениной»? Нельзя совместить с комплексом Мата-Хари.

— Ах, как надоело! Хочешь, я скажу тебе замечательный каламбур, который я сегодня придумала?

— Не хочу, — сказал он. Ее каламбуры казались ему чрезвычайно глупыми даже в те две недели, когда он был в нее влюблен. — Сейчас поздно.

— Так завтра утром, напомни мне... А чем я буду пока жить? У меня осталось сто марок.

— У меня есть тысяча долларов, я оставлю тебе половину.

— Я знаю, ты щедр. Ты мне подарил эту норковую *sare*. Правда, я хотела норковое манто, но за самое плохое здесь требуют девять тысяч марок, а ты всё проиграл. На деньги что ты проиграл, можно было бы купить два чудных норковых манто. Тут есть одно за двадцать две тысячи. Ах, какое манто, просто умереть!

— Пока достаточно с тебя и *sare*. Это у вас как чины: *sare* — чин поручика, манто — чин майора. Погоди, будешь и майором.

— Теперь у всех есть норковое манто. На мою черную лисицу больше и не смотрят.

По лестнице спустилось трое молодых людей. Они оглянулись на нее. Один игриво улыбнулся и тотчас отвернулся, увидев Шелля. Швейцар подал им пальто и шляпы.

— Сколько у вас здесь мужчин! И каждый непохож на всех других. И каждый любит по своему. И каждый мог бы быть моим любовником! — сказала она.

— И каждый богаче меня, — ответил он. — Впрочем, не каждый. У того, что сейчас выходит, боковой карман пиджака справа. То есть костюм перелицован.

— Ах, дело всё-таки не в деньгах!

— Конечно, но они очень приятны. Разумеется, как дополнение к другому.

— Дело в том, чтобы был настоящий человек. Главное — характер. Надо, чтобы характер был из Шекспира. Терпеть не могу людей с мелкими страстями с самоанализом, с «ах, я хочу того, но, может быть, я в действительности хочу этого». Человек должен быть *tout d'une pièce*. Ты верно *был* такой. Теперь ты стар:

— Спасибо, — сердито сказал он. — Не настолько уж старше тебя. Не лопни от негодования! Беру свои слова назад, тебе еще нет двадцати, при Гитлере тебе, очевидно, было десять. Итак, в третий и в последний раз спрашиваю, говорить ли о тебе с полковником или не говорить?

— Я сама долго колебалась...

— Так перестань, к чорту, колебаться!

— Я много размышляла. Ты знаешь, в чем другом, а уж в глупости меня упрекнуть трудно, — сказала она. «Забавно: думает, что она очень умна и очень зла, а на самом деле она очень глупа и скорее добра: всё сделает для человека, лишь бы ей это ни копейки не стоило, как впрочем многие добрые люди», — подумал Шелль. — Но у меня другого выхода нет. Во-первых, мне осточертел Берлин. Почему другие живут в Париже, в Нью Йорке, и как живут! Во-вторых, ты всё проиграл и скоро мне не на что будет жить. В-третьих, я именно хочу

играть жизнью, волноваться, торжествовать над людьми. Весь смысл жизни в том, чтобы побеждать, разве ты этого не чувствуешь?

— Конечно, чувствую. Ты в самом деле давно никого не побеждала.

— Кроме тебя!.. Но меня останавливает одно. Я всё-таки думаю, что разведка это дело не очень благородное!

— Да что ты!

— Я совершенно не сочувствую коммунистам! Может быть, я сделаю вид, будто служу им, а когда они достанут мне визу и пошлют меня во Францию или в Соединенные Штаты, я там возьму и перейду к союзникам, а?

— Так делают многие. Собственно это тоже не очень благородно. Но если ты там соблазнишь какого-нибудь американского офицера, то будет уже благороднее. Это вполне возможно: у тебя странный сек арреал.

— Ты думаешь, они поручат мне именно это? Я обожаю американцев, и это я умею. Недаром меня называли «королевой пикантности».

— Кто назвал? Тот плюгавый спекулянт с порывами? От одного этого слова может сделаться нервный припадок. Не сердись... Я уверен, что ты поднимешь и облагородишь наше дело. Ты напишешь о нем поэму. «Чуткая душа поэта тоскливо сознает свое падение».

— Пожалуйста, остри поменьше, умоляю! Поговорить с этим проклятым полковником надо, но я еще подумаю.

— По моему, лучше сначала подумать, а потом поговорить с этим проклятым полковником.

— Это будет зависеть от очень многого... От жалованья, от того, что он мне предложит, какую работу. Если очень опасную, то надо еще посмотреть.

— В крайнем случае, тебя посадят на двадцать лет в тюрьму. Там ты соблазнишь зрителя, бежишь с ним и напишешь еще поэму: «Чуткая душа поэта наслаждается свободой после темницы».

— Ты хам!.. Можно прийти к тебе сегодня ночью?

— Можно, — сказал Шелль неожиданно для себя самого. Она просияла. Он посмотрел на часы. — Пора. Я знаю, ты обожаешь уходить, хлопнув дверью. Здесь нельзя: у них вращаящаяся дверь.

— Дурак.

— Кохаймо сен, — сказал он. Сам находил глупой эту шутку, он польского языка и не знал.

Швейцар подозвал автомобиль. Шелль хотел было сунуть шофферу деньги и не сунул: «Пусть платит сама, она этого не любит».

Он поднялся в бар и заказал там полбутылки шампанского.

— Моего, оно у вас есть и в полбутылках. И я тороплюсь.

Да, «ужас и фантастика», — думал он. — «Но что же мне делать? Впрочем, может быть, полковник ее не возьмет, сразу ее раскусит. А может, и возьмет, чтобы заполучить меня... Ну, что-ж, ее просто вышлют из Франции. Риск для нее невелик... Однако нехорошо»...

На столике лежали карты. Одна колода в углу была собрана. Он загадал: «Если выпадет красная масть, пойду на это; если черная, не пойду». Машинально стасовал колоду, машинально заметил туза червей, снял карты, этот туз и вышел, — он потом сам не мог вспомнить, подбросил ли туза. «Решено»... Он прошел в телефонную будку.

— ...Наташа? — спросил он. Голос и лицо у него стали другие. — Здравствуй, милая. Ничего, что я звоню так поздно? Ты еще не спала?.. Нет, ничего не случилось, всё в порядке, не волнуйся. Значит, завтра я приду к тебе в 12 часов. Я всё разузнал, проедешь без всяких неувязок, как у вас говорят. На Капри ты будешь в четверг утром. А я приеду в воскресенье... Да, три дня не будем видеть друг друга. Но зато там будем вместе всё время... Я так рад! Не кашляла сегодня? Ну, слава Богу!.. На обратном пути я покажу тебе Италию, ты ведь нигде не была. Бедная... Я так тебя люблю! А ты любишь меня?.. Ну, спасибо, хоть я не стою твоей любви... Спасибо... Целую тебя. Так до завтра. Спокойной ночи, дитя мое.

Он вернулся к своему столику. «Две женщины, а тут еще две агентуры, ни за что! Двойным агентом никогда не был и не буду, противно!» Шелль допил вино, опять взглянул на часы и покинул клуб.

IV

«По наружности, по манерам он на того не похож. У каждого из них свой «стиль», и всё-таки кое-что общее есть. Этот тоже к делу сразу не переходит, тоже выясняет «степень моей интеллигентности». Но что-то он уж очень много болтает сам: говорит общие места недурно, разве слишком много «конъюнктур». И как-то странно, неестественно говорит. Есть в нем что-то беспокойное, напряженное и немного вызывающее. Он ко мне в гости не зашел бы, не стал бы играть со мной в карты и закусывать. Должно быть, он назначает свидания только в своем служебном кабинете или уж разве, в особых случаях, где-нибудь в безлюдном месте. Вероятно, очень любит «конспирацию» и шифры. Кабинет у него как будто самая обыкновенная контора, но с примесью чего-то военного. На том столике кофейный прибор. Если не пьет вина, то, значит, возбуждается кофе. В нашем деле иначе нельзя. Есть ли тут микрофон? Кто же его подслушивает? Чекисты? Да, скучно говорит, смерть мухам».

Шелль думал о своем — и не пропускал ни одного слова из того, что говорил полковник № 2. Он в свое время проделал всё что полагалось; умел слушать два или даже три разговора одновременно, из сотни фотографий узнавал человека, которого видел раз в жизни, переходил на мгновение из темной комнаты в ярко освещенную и за это мгновение точно запоминал всё, что в ней было. Перед ним за большим столом сидел худой, среднего роста, человек с длинным, болезненным, несколько несимметричным лицом, с маленькими, желтоватыми воспаленными глазами. На левой щеке у него, чуть ниже темного ободка под глазом, была бородавка, и от нее его сухое лицо казалось еще более несимметричным. Полковник не встал при по-

явлении Шелля (только не очень похоже сделал вид, будто приподнимается в кресле), как будто неохотно протянул ему через стол руку и усталым, чуть надменным, если не пренебрежительным, жестом указал ему на стул по другую сторону стола. «Тот гораздо любезнее»... При сидячем положении не было видно, что полковник хромой, но сидел он не совсем так, как сидят здоровые люди. Когда он наклонялся над столом, по его лицу пробегала легкая гримаса боли. «Говорят, он работает пятнадцать часов в сутки. Врут, конечно: никто пятнадцать часов в сутки не работает. Но возможно, что и переутомлен... Глаза умные. По трафарету полагалось бы: жестокие. Нет, разве только злые. Руки чуть трясутся, лицо землистое. Да, странно говорит: какая-то смесь ученого с простонародным или с областным? Ломается или самоучка? И, конечно, «бросает сверлящий, пронизывающий взгляд». Ну, бросай, бросай: что «пронижешь», будет твое. Верно, и он считает себя знатоком человеческой души. Это наша профессиональная черта, иногда и довольно смешная. Однако мы-то ведь действительно профессионалы, а он скорее новый человек».

Ироническое настроение и самоуверенность Шелля впрочем очень уменьшались в восточной части Берлина. Всегда слишком быстр бывал этот переход. Порою он испытывал такое чувство, какое, быть может, испытывает опытный летчик, внезапно вступая в «суперсоническую зону». «Нет, я не вынес бы такого бесправия, просто задохнулся бы. Не мог бы у них жить, как рыба не может жить в Мертвом море», — говорил он себе. Тем не менее бывал в восточной части города нередко. Он знал, что в кругах разведки его считают бесстрашным человеком, и действительно много раз, не теряясь, подвергался очень большой опасности; но знал также, что людей, совершенно не знающих страха, нет.

... — Исчезнет Черчилль и асеи выйдут в тираж, кончена будет совсем Англия, как великая держава, — говорил полковник. Он произносил имя Черчилля с ударением на втором слоге. «Никто и в России уже лет сто не называет англичан «асеями», там и не знают слов «I say». — Умная голова, что и говорить».

Счастью не верит, беды не пугается, так и надо. Крупная историческая фигура! («Нет микрофона», — подумал Шелль). Самый умный из наших врагов! («Есть микрофон»). Ему бы править Америкой, с ее гигантскими возможностями. А то, хоть и умненок, да что-ж, коль нет денег? Была великая держава, да сплыла. Просто смех: Англия признала Китай, но Китай не признал Англии! Кости предков Черчилля верно в могилах ворочаются. Я так думаю, что вторая война была последним историческим усилием британской державы, как первая война последним историческим усилием французской. Франция ведь и тем паче вышла из конфигураций великих держав. Если населения каких-нибудь сорок или пятьдесят миллионов, то по одежке протягивай ножки.

— Но тогда в мире две величайшие державы это Китай и Индия, — сказал Шелль, чтобы не поддакивать. У него было в работе правилом: всегда оберегать свою независимость и не проявлять чрезмерной почтительности; разумеется, иногда правило допускало отступления. «Должно быть, мог бы устроиться лучше, но ему, вероятно, чем неуютнее, тем приятнее». Комната действительно была неуютна, несмотря на яркое освещение сверху. «Хорошо хоть, что нет их обычного трюка: «я, мол, останусь в тени, а ты будешь ярко освещен». На столе не было ничего, кроме телефонного аппарата («один аппарат, а не три, как полагается») и негоревшей лампы с абажуром молочного цвета, — не было ни бумаг, ни чернильницы, ни пепельницы. По стенам без обоев тянулись горки металлических ящиков. «Эти все, конечно, с секретом». Только один стеной шкапчик был деревянный и без замка. Под ним находился кожаный диван с горбом и провалом в середине.

— Так верно и будет, когда Китай и Индия создадут настоящую промышленность. Тогда в мире сложится новая конъюнктура. А в настоящее время есть только два военно-политических колосса: Соединенные Штаты и Россия. К сожалению, во всех статистических таблицах Америка на первом месте, — сказал полковник с досадой. — Мы пока только на втором. Но скоро на первом будем мы.

— Вы пока только на втором, — подтвердил Шелль. «Женщинами он, по слухам, увлекается мало. Верно, ему нравятся рыжие? Страшно, что Эдда не рыжая от природы, ей так полагалось бы. Вдруг она его очарует?»

— Вы говорите «вы». Разве вы не русский?

— Я аргентинец. Хотите взглянуть на мой паспорт?

— Зачем? Что доказывает паспорт? Я мог бы выдать вам паспорт любого государства. Впрочем, отчего же не взглянуть? Покажите.

Шелль вынул из кармана книжечку и протянул полковнику. Тот перелистал ее — как будто небрежно — и вернул. «Заметил, конечно, и номер, и дату».

— Хорошая бумажка, — сказал полковник с усмешкой. — Открывает доступ в любую страну и нигде подозрений не вызывает. Аргентина нейтральна по природе, по профессии, по конъюнктуре, по тысяче причин. Вижу, вы на авоську с небоськой не ориентируетесь. Итак, вы не русский, хотя и родились в Ленинграде. Там, кстати, всегда было очень мало аргентинцев.

Он откинулся на спинку кресла, поморщившись от боли в ноге. В молодости, в провинции, он очень увлекался театром, и у него была привычка обозначать людей старинными актерскими названиями. «Кто? «Герой» или «первый любовник»? То и другое, но с преобладанием героя. А пора бы переходить в «благородные отцы».

— Да, хорошая бумажка, — подтвердил Шелль.

— Разумеется, я всё о вас знаю, — сказал полковник, подчеркивая слово «всё». — Много слышал, граф Сен-Жермен. Слышал о ваших делах и восхищался. — Шелль молча наклонил голову. — Правда, вы много работали для малых государств... Я, кстати, никогда не мог понять, зачем малым странам контр-разведка. Они ведь вообще воевать не могут и не будут. Нешто каких-нибудь две недели, а потом на американские денежки образуют «правительство в изгнании». Много, много свободных денег у американцев. Они, должно быть, вообще всех своих союзников в душе презирают, так как те жи-

вут на их деньги. А разведка малым странам нужна верно для того, чтобы «быть как большие». У России есть, так пусть будет и у нас, а?.. Ну, так как же? Приняли ли вы решение?

— Я вам дам ответ через три недели.

— Не понимаю, зачем медлить? Что именно вас удерживает?

— Да так, пора бросать дело.

— Неужто нервы начали слабеть? — спросил полковник не без скрытого сочувствия.

— Нет, нервы не ослабели, — поспешно ответил Шелль.

— Надоела работа.

Полковник взглянул на него удивленно.

— Надоела?

— Стала противна.

— Вы, кажется, особенным идеалистом никогда не были?

— Не был... Кажется, это русский писатель Писемский говорил, что и в своей, и в чужой душе всегда видел только грязь?

Удивление на лице полковника еще усилилось. Он не понимал, зачем это говорит человек, повидимому желающий поступить к нему на службу. Шелль и сам плохо понимал, зачем это сказал. «В самом деле, стал говорить лишнее. Прежде никогда лишнего не говорил».

— Писемскому, значит, очень не повезло... Так-таки ничего, кроме грязи, не видел? А может быть, у него, как и у вас, нервы всё-таки пришли в беспорядок? Вам бы всё-таки еще рано, хотя вы немолоды. Это там боксер или танцор может работать только до тридцати лет, очень много, если до тридцати пяти. Люди умственного труда держатся гораздо дольше. Эммануил Ласкер сохранял звание чемпиона мира чуть ли не до шестидесяти... Вы играете в шахматы?

— Играю, но теории не изучал: не хватало терпения.

— Да, без теории какая же игра, — сказал с легким вздохом полковник. — Но жаль, что уж очень много теории. Так и в военном деле. Суворов был не теоретик, а где до него всем

их Рундштедтам и Гудерианам?.. У нас в России и шахматисты лучшие в мире.

— Ласкер и Капабланка были не русские. Алехин был русский, но белогвардеец.

— По моему, величайшим из всех был Чигорин. Это Суворов шахматной игры. Вы знаете его партию против Стейница?

— Не знаю. Всё же он чемпионом мира не стал. Правда, Ботвинник чемпион мира.

— Да, Ботвинник тоже замечательный шахматист, — подтвердил полковник с несколько меньшим жаром. — И наша музыка первая в мире. И наша литература.

— Насчет вашей литературы сомневаюсь. У меня к литературе одно обязательное требование: чтобы она не была скучна. У вас в каждом романе какой-нибудь Федюха высказывает глубокие философско-политические мысли, притом обычно «за бутылкой вина» с товарищем. Эти мысли и освещают смысл романа, их подхватывает и комментирует критика. Следовательно, незачем читать роман, вполне достаточно прочесть рецензию, да и то смерть мухам. Вы напрасно экспортируете эту литературу. В Персию или в Индию, пожалуй, можно, а в западные страны нельзя.

— Потому, что, небось, там знают толк?

— Там по этой литературе вас судят. Вы читали книгу Джорджа Орвелля «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый год»?

— Не читал и читать не собираюсь.

— Это пародия на СССР. Вопреки общему мнению, я нахожу ее тоже скучноватой и нисколько не блестящей. Кое-что шаржировано, кое-что нелепо и совершенно не похоже ни на большевистские идеи, ни на большевистскую практику. Но ваша литература была для Орвелля ценным материалом. «Вот, показал интеллигентность, достаточно и для новой школы».

Полковник, впрочем, даже и не попытался сделать вид, будто замечание его собеседника показалось ему занимательным или заслуживающим внимания. Литература не очень его

интересовала. Он и читал мало, преимущественно русских классиков, из которых предпочитал Лескова.

— Так, так. Перейдем к делу.

— Вы выразили желание поговорить со мной сегодня ночью.

— Не помню, чтобы я выражал такое желание, — сказал полковник, подчеркнув слово «я». — Вас в работе интересует только денежная сторона?

— Я считаюсь с разными обстоятельствами: кто больше платит, где меньше риска, где приятнее служить, где вежливее начальство.

— Если б я принял вас на службу, то не иначе, как надолго и лишь для очень опасных дел. Я отправил бы вас в Америку.

— В мирное время нигде уж таких опасных дел нет.

— Вы думаете? Вы привыкли работать с демократическими слюнтями. У нас же не церемонятся.

— В мирное время и вы не решитесь взрывать американские заводы, а войны наверное не будет, — сказал Шелль неудачу. «Вдруг так опьянел от кофе, что начнет болтать. Это случилось с людьми покрупнее его, проговаривались и Наполеоны, и Бисмарки!.. Нет, стал тотчас воплощением «popcommittal»... Кажется, хотел мне предложить быть двойным агентом», — подумал Шелль. Его, впрочем, не очень интересовало то, что мог бы ему предложить полковник: твердо решил *к ним* на службу не идти.

— Мы никакой войны не хотим. По учению Маркса, капитализм всё равно обречен. *Нам* воевать незачем.

«Ишь ты. И «учение Маркса». Но об этом ты, кажется, говоришь неуверенно, вроде как Чичиков о своих херсонских имениях».

— Я совершенно с вами согласен. Какие уж теперь отчаянные дела!

— При *найме* же агентов, — сказал раздраженно полковник, — мы, кроме опыта и техники, считаемся тоже с разными обстоятельствами. Вы очень дорогой агент, вы не русский,

принципов у вас нет (он хотел сказать: «чести у вас нет»), вы картежник, вы слишком известны в шпионском мире, ваш рост и наружность слишком обращают на себя внимание... Если вы ответа мне пока дать не можете, то очевидно вы пожелали меня видеть по недоразумению?

— Я хотел поговорить не о себе, а об одной даме.

— Не о той ли, с которой вы вчера обедали в ресторане на Курфюрстендамме? — спросил полковник. — Очень красивая женщина.

— Именно о ней. Разве вы ее видели?

— Мы обязаны всё знать, — сказал полковник, не отвечая. Он Эдды не видел. — Кажется, ее зовут Эддой? Ну, что-ж, в принципе «сие мне не вопреки», как говорит кто-то у Лескова. Только я с ней запусто говорить не буду. Нам ни драматических инженю, ни гранд-кокетт не требуется. Слышал, что она поэтесса? Поэтессы нам ненужны. Дуры тоже ненужны...

— Она не дура. И как вы правильно заметили, она очень красива.

— Это, конечно, важно.

— Кроме того, она превосходно говорит по-французски, по-немецки, по-английски.

— Это тоже очень важно. Но вы сами понимаете, одно дело вы, а другое дело, эта дама, которая, кажется, никакого опыта не имеет?

— Нет, не имеет.

— Она ваша любовница?

— Моя личная жизнь касается только меня.

— *Пока* она нас не касается. Но, как вы понимаете, если вы или она поступите к нам на службу, то нас будет касаться всё, что касается вас, или, по крайней мере, всё то, что может быть нам интересным. Много платить мы *ей* не будем. В Берлине она нам не нужна.

— Она может поехать куда угодно. Например, в Нью Йорк или лучше в Париж.

— Все наши агенты хотят поехать в Париж.

— У вас под Парижем наверное найдется работа. Там верховное командование запада.

— Спасибо за это ценнейшее сообщение.

— Военные секреты теперь в сущности есть только в двух местах: в Вашингтоне и в Роканкуре, т. е. в Пентагоне и в Share. По моему, их легче узнавать во втором. Ведь там люди четырнадцати национальностей.

Спасибо и за этот ценный совет. Говорят, этот Сакер...

— Сакюр. Американцы произносят Сакюр.

— Не люблю, чтобы меня перебивали! И я их сокращений не знаю. Говорят, этот Сакюр превосходный генерал. Не наш Жуков, но превосходный, один из лучших в мире, а?

— Я тоже так слышал. Превосходный, но без армии... Разумеется, у вас есть агенты везде. Всё же, красивая женщина, превосходно владеющая иностранными языками, может пригодиться.

«Как будто готов и любовницу предать», — подумал полковник. — «Хорош гусь!»

— А вы не будете уж слишком огорчены, если она падется?

— Это наш профессиональный риск.

— Конечно, если ее поймают, то французы, чтобы не начинать с нами истории, верно только вышлют ее из Франции. Может быть, именно поэтому «лучше в Париж», а?.. Но вы знаете, у нас правило: або мы, або они. Какова гарантия, что она не двойная агентка?

— Гарантий не бывает. Тут *вам* профессиональный риск, — сухо ответил Шелль.

— Вам, надеюсь, известно, что мы с двойными агентами не церемонимся.

— Действительно, это всем известно, — сказал Шелль. Он что-то загадал (часто делал это в рискованном положении). Вышло: можно. — Следовательно, незачем и повторять. Незачем людей запугивать. Это ведь метод политической полиции.

Полковник нахмурился.

— Политическая *полиция* тут совершенно ни при чем! Я русский офицер, служу России и русской армии!

«Так и есть. У него *эта* навязчивая идея. Теперь ясно, что микрофона нет».

— Я именно это и хотел сказать. *Вы* методом запугиванья наверное не пользуетесь. Я знаю, что вы старый боевой офицер. — Шелль показал взглядом на колодку, висевшую слева на мундире полковника. — Я не хотел сказать что-либо обидное.

Они несколько секунд молча смотрели друг на друга.

— Говорить мне «обидное» я вам и не посоветовал бы!

— Конечно, я тут на вашей территории. Но я аргентинский гражданин. Даже полиция не пошла бы на дипломатический инцидент без причины и цели.

Полковник саркастически засмеялся.

— Это, разумеется, очень страшная штука: дипломатический инцидент с Аргентиной! Того и гляди, она двинула бы свои войска на Москву!.. Мне, впрочем, нравится, что вы не из пугливых. Добавлю, что и я не хотел сказать ничего обидного. И говорил я не о вас, а об этой Эдде.

— Она начинающая. Куда уж ей быть двойной агенткой!

— То есть, годилась бы хоть в агентки-просто? Пожалуй, на пробу можно ее принять... А в дополнение к вам, я ее приму даже очень охотно. Вы меня об условиях не спрашиваете?

— Это преждевременно. Ведь я еще не дал вам и принципиального ответа.

«Принципиального»! Хороши верно твои принципы!» — подумал полковник.

Порою он спрашивал себя, какие личные цели ставит себе тот или другой из окружавших его людей. И ответ почти всегда был один и тот же: первое, зарабатывать возможно больше, второе, угождать начальству возможно успешнее; дальше могли быть варианты, но незначительные. В отличие от большинства людей и почти от всех своих сослуживцев, полковник обладал способностью оглядываться на самого себя и иногда молчаливо признавал, что хвастать в последние годы нечем. Бывал

сам себе почти противен в тех случаях, когда надо было почти-тельно и покорно выслушивать полицейских главарей. Их он почти всех считал подонками человечества. Не лучше их были и многие агенты. При первом знакомстве с агентом, полковник *хотел* быть как бы дегустатором: попробовал вино, определил характер, качество, и выплюнул. Но это ему не удавалось, и он обычно ограничивался тем, что был холодно-корректен, старался говорить отрывисто, именно «Наполеоновским тоном».

Очень раздражил его и Шелль. Вдобавок у полковника в последние годы вызывали недоброжелательство все крепкие, здоровые люди, особенно же люди очень высокого роста. Невзрачная наружность с молодых лет была крестом его жизни. Он хотел бы быть по внешности именно таким человеком, как Шелль; почитал физическую силу и силу вообще. Теперь он вдобавок был полуинвалидом. «Этот субъект, конечно, «принципиальный» изменник». Полковник *хотел бы* чувствовать к нему *гадливость*, но не чувствовал. *Хотел бы*, чтобы у него был, например, тонкий, писклявый голос, как у некоторых других людей огромного роста, как у Бисмарка, у Тургенева; но голос у Шелля был самый обыкновенный, впрочем, скорее неприятный.

— За деньгами мы не постоим. Платим не меньше *других*, а то и больше, было бы за что платить. До свиданья. Я буду ждать три недели. Ровно три недели, — сказал полковник и опять сделал вид, будто приподнимается в кресле.

У него была частная квартира из двух комнат, хорошо обставленная реквизированной мебелью. Над Umbau немецкого чиновника последовательно висели портреты Вильгельма II, Гинденбурга, Гитлера и, с 1945-го года, Гете. У полковника был выбор тоже между четырьмя фотографиями. Вешать у себя портреты немцев ему не хотелось. Его отношение к Карлу Марксу было неопределенное, смутное и сложное. Знал, что надо восхищаться, и когда нужно было — правда, только в случае крайней необходимости — называл себя марксистом. Но этот заросший бородой старик всегда вызывал у него анти-

патию и приводил его в дурное настроение духа. Повесил портрет Ленина, — тот был единственный русский из четырех. К нему полковник вдобавок испытывал чувство личной благодарности. Он вышел из низов, был сыном мужика, пошел добровольцем в гражданскую войну, выдвинулся, после этого изучал в академии военные науки и теперь попал, если не на верхи, то в следующий за верхами общественный слой. Этим он считал себя обязанным Ленину. На противоположной же стене кабинета у него висел никак не принадлежавший к четырем Суворов. Полковнику иногда казалось, что эти два чело- века друг с другом удивленно переглядываются: как это ока- зались вместе? А люди, изредка заходившие к полковнику в его частную квартиру, поглядывали на фельдмаршала с тре- вожным недоумением: совсем не ему тут висеть.

Обычно полковник уходил ночевать домой. Но в этот день засиделся поздно, на следующее утро было назначено раннее деловое свидание, и он решил переночевать здесь. Полковник не терпел в своем служебном помещении того, что называл «домашней атмосферой»: чем деловитее и строже, тем лучше. Всё же в стенном шкапчике у него были одеяло, подушка, бу- терброды с ветчиной, а на столике был кофейник. Он взял бу- терброд и налил себе кофе в стакан; не любил пить из чашки, как в Европе. Спать ему еще не хотелось.

Он был холост, близких людей не имел ни в Берлине, ни даже в России. Приемов и выпивок он почти никогда у себя не устраивал: надо было бы звать и людей из политической поли- ции. Со времени его тяжелой раны женщины больше почти не занимали места в его жизни: «Какая могла бы полюбить хро- мого, искалеченного, да еще некрасивого человека?..» В свое время он немало пил, в начале своей новой службы пил даже много. Стал чувствовать себя нехорошо и посоветовался с луч- шим врачом оккупационной армии. Врач качал головой, нашел **очень** высокое давление крови, строго запретил спиртные на- питки, советовал побольше ходить и не есть мяса. Полковник считал русскую медицину первой в мире, но, хотя это было не очень удобно и хотя он не свободно говорил по-немецки, по-

бывал и у известного берлинского врача. Этот тоже качал головой, тоже нашел очень высокое (впрочем, другое) давление крови, сказал, что пить иногда вино не мешает, — полезно для расширения сосудов, — велел поменьше ходить, чтобы не утомляться, и избегать мучного и сладкого: «Мяса можете есть сколько угодно, если средства вам позволяют». Один врач придавал большое значение верхней точке кровяного давления, а другой — нижней точке. Оба сходились на том, что надо есть много овощей без масла. — «Да я их терпеть не могу!» — сердито сказал полковник военному врачу. — «Напротив, они очень вкусны», — ответил военный врач, впрочем, овощей не евший. — «От овощей, говорят, люди глупеют», — еще угрюмее сказал полковник штатскому врачу. — «Это наукой не доказано», — ответил немец, быть может и ничего не имевший против того, чтобы советский офицер поглупел. Полковник продолжал есть бифштексы, так как их не запретил второй врач; ел также бутерброды и пирожные, так как их не запретил первый. По случайности оба врача забыли запретить кофе, — он нарочно их о нем и не спросил. Пил крепкое кофе в очень большом количестве и думал, что только оно и поддерживает его в работе.

В теории он, как столь многие советские люди, твердо признавал, что жизнь создана для радостей (полагалось говорить: «для радостей в труде» или как-то так). На самом деле, радостной его жизнь не была никогда, даже в молодости: тогда из-за бедности и переобремененности работой. Он и не женился преимущественно потому, что не было времени, квартиры, денег. Теперь полковник жил *аскетически* (это слово ему нравилось) и утешал себя тем, что живет для родины. Но так говорили многие; между тем он знал, что большинство из них себя обманывает или просто лжет: никакой пользы для родины от них не было. Сам он в последние годы думал, что расстраивает козни врагов России, однако понимал, что неизмеримо больше козней другим устраивает советское правительство. В принципе ничего недопустимого в этом не видел; разве так не было всегда в мире? Всё же многое ему не нравилось; особен-

но же не нравились люди, этим занимавшиеся. Членов правительства он почти не знал и чувства его к ним были очень смешанные. В Сталине он ценил и уважал силу, энергию, презрение к слюнтяям, но Сталин всё-таки не был бы его героем, даже если б был русским по национальности. В свое время он чрезвычайно почитал Тухачевского. Ему, в случае успеха заговора, служил бы верой и правдой. Другие же маршалы оказались слюнтяями, как ни тяжело было это думать.

Он был, особенно прежде, честолюбив: чины, награды, в частности боевые, доставляли ему много радости. Теперь и награда, и радости от них было мало. На новой его службе карьера могла бы быть хорошей, если б он подличал как другие. Полковник видел, что скоро ему придется подать в отставку, — «сошлются на ранения, усталость или вовсе ни на что не сошлются, — пенсию даем, ну, и ступай, — и посадят какого-нибудь прохвоста. Не достиг ни славы, ни высоких чинов, ничего из того, о чем мечтал. Суворов достиг, хотя тоже богатырской наружности не был... Теперь и распряжка недалеко... Кто это называл смерть «распряжкой»? Религиозного чувства у него никакого не было. Священного Писания он не читал, разве только очень редко заглядывал, — верно и в советской России мало людей, которые в него не заглядывали бы никогда. В загробную жизнь он не верил и даже не понимал, как в нее можно серьезно верить. О том, зачем он живет, думал чрезвычайно редко, — для этого и времени не было. Когда же думал, то отвечал себе в утешение, что этого не знает и большинство людей в мире.

На его новой службе почти всё было грязно или, в лучшем случае, соприкасалось с грязью, но иногда попадались интересные проблемы (так он называл более сложные разведочные дела). Из этих проблем иные, именно те, которые удавалось разрешить, кончались казнями. Это его уже не касалось, и об этом он не думал.

Из удовольствий же оставалось одно: шахматы. Ими он с молодых лет увлекался страстно. У него не было времени для настоящего изучения шахматной теории: он даже дебюты знал

не все, а «литературу» знал совсем плохо, — только самые знаменитые исторические партии.

Он достал из ящика маленькую шахматную доску (вторая, побольше, была дома), зажег настольную лампу и стал проверять недавно сочиненную им задачу. Задачи сочинял недурно, две из них даже были напечатаны. Эта задача была особенно интересна и своеобразна. И у белых, и у черных была сильная игра, обе стороны были на краю гибели. Белые могли дать мат в три хода, черные тоже в три, и всё зависело от того, кто начнет. Полковника вдруг поразил символический смысл положения на доске.

Слова «мы никакой войны не хотим» были общепринятыми. Он, как все, говорил так постоянно. У двухсот миллионов людей они выражали чистую правду. Как думают члены Политбюро, полковник не знал, имел только смутные предположения: кто их разберет? Ему же самому то хотелось войны, то нет. Одна из причин, по которой не хотелось, заключалась в том, что он всё равно не мог бы принимать участие в военных действиях: всё пришлось бы на долю молодых и здоровых. Думать об этом было тяжело и страшно; говорить же было совершенно невозможно, даже если б у него были близкие друзья, заслуживающие почти полного доверия. Совершенно надежных людей не было, или, по крайней мере, он таких не знал; слишком многого насмотрелся на своей новой службе.

Полковник отпил большой глоток кофе и стал думать, нет ли варианта. Не находил.

V

Несмотря на опасения Наташи, ее поездка сошла благополучно. Она мало путешествовала, не знала итальянского языка и даже по-французски говорила плохо. Но Шелль ей составил точный маршрут, всё подробно объяснил, проводил ее на вокзал, привез букет, совершенно не соответствовавший третьему классу. Они поцеловались. «Значит, в воскресенье

на Капри», — сказал он, — «не заводи больше часов. Так во французском парламенте в ночь на Новый Год обычно останавливают часы, чтобы во время был проголосован бюджет». Это замечание чуть ее кольнуло. Наташа вошла в вагон, еле удерживаясь от слез. Поезд уже выходил из под стеклянной крыши, а он всё смотрел ей вслед, держа в левой руке шляпу высоко над головой и посылая ей воздушные поцелуи.

В ее отделении все места были заняты. Ей не хотелось расставаться с букетом, но было неловко держать его всю дорогу на коленях; положила его на полку, поверх своего небольшого, потертого чемодана. «Теперь, кажется, мы жених и невеста!» — повторяла она себе, — «уж если и на вокзал приехал, и целовались опять... А предложения всё-таки не сделал»...

В вагон-ресторан она не пошла, это ей казалось пределом роскоши, — никогда такого вагона изнутри и не видела, — «да может быть, из третьего класса не пускают, или я там что-нибудь еще напутала бы!..» Читать ей не хотелось, и книги лежали в чемодане. «Как теперь при всех доставать? И еще увидят, что книга русская! Сижу, ну, и слава Богу»... Но сидеть без дела она не любила. «Вязать верно у них в вагонах запрещено». Противоположную скамью занимала немецкая семья с очень милой маленькой девочкой. Наташа обожала детей и с девочкой заговорила бы, если б тут же не находился отец: она боялась людей, особенно мужчин, особенно немцев. — «У тебя настоящий inferiority complex!» — не раз с нежностью и возмущением говорил ей Шелль. — «Что-ж делать, это после немецкого подземного завода», — со вздохом отвечала Наташа, — «там были специалисты по вбиванию этого комплекса. С плетью». — «Ты смущаешься даже оттого, что ты остроумна! Да, да, старательно это прячешь». — «Не знала за собой. Так, верно, хорошо прячу, что никто и не замечает».

Она сняла перчатки *suedé*, вызывавшие у нее неприятное чувство, как всё поддельное. Нитяные совсем порвались на пальцах, так что и штопать не стоило, а настоящие замшевые были непосильным расходом: в последние месяцы берегла каж-

дую марку, откладывая для поездки в Италию. Ее стипендия была очень невелика; она изготовляла еще какие-то шарфы для берлинского магазина, умела изготовлять и шляпки, для себя сама шила и платья. Руки у нее были золотые. «Рисовать акварелью, выжигать по дереву я не умею, это для прежних барышень», — со смехом говорила она Шеллю, — «а вот чинить всё могу, и белье стираю отлично, и голову сама мою, и эту — как ее? permanente — никогда не делаю, на парикмахера не трачусь, прическа у меня, как видишь, самая простенькая, с пробором посредине». Шелль слушал со смешанными чувствами. Он любил элегантных женщин и не мог понять, как влюбился в Наташу. «Тяжелая страсть!» — объяснял он себе. Ему нравились такие слова, и он почти сожалел, что они тут совершенно не подходили: ничего «тяжелого» в его новой страсти не было.

На итальянской границе таможенный чиновник, бегом взглянув на нее и на ее чемодан, не осматривал вещей. Другой чиновник с любопытством просмотрел ее советский паспорт и показал его своему товарищу. Наташа приготовила было объяснение на немецком языке (которым владела свободно): в России не была с 1941 года, должна получить эмигрантский паспорт очень скоро, ей уже обещали. Но никакого объяснения не потребовалось. Спросили еще о деньгах, она вынула из сумки свои двадцать пять тысяч лир, сказала, что едет в Италию всего на две недели, едет просто как туристка. Чиновник с улыбкой кивнул головой. И граница прошла благополучно, ни малейшей неприятности! Ею вдруг овладела необычайная радость, то, что она называла «припадками беспричинного веселья». В последнее время, после знакомства с Шеллем, эти припадки стали довольно часты, хотя ее жизнь всегда была очень тяжела (или именно поэтому). «Ничего хуже прошлого случиться не может. Бог меня не забудет и всё мне зачтет!»

Соседи на нее поглядывали с интересом. Глаза у нее блестящие всё сильнее; она это почувствовала и закрыла их, точно ей стало совестно. «Очень хороша, очень!» — подумал моло-

дой литератор, отправлявшийся в Италию с тем, чтобы написать тысячу первую книгу об искусстве эпохи Возрождения. Он поглядывал на Наташу еще с Берлина, до того, как зажгли лампы, и не мог решить, какой у нее румянец: здоровый, нормальный или болезненный, чахоточный. И то, и другое имело свою поэтическую прелесть. Глаза он определил; «темносерого лионского бархата», — но был недоволен этим определением; упорно развивал в себе изобразительную силу. «Ресницы просто неправдоподобно длинные. Какие?.. Похожа на женщин Лоренцо Лотто», — решил он с удовлетворением, хотя сомневался, поймут ли его читатели: они, может быть, о Лоренцо Лотто и не слышали.

Точно в театре после антракта, занавес поднялся над новой, гораздо более яркой декорацией. Всё стало другое, и люди были другие. Новые пассажиры развернули свертки с едой, и Наташа, немного поколебавшись, сделала то же самое. С ней любезно заговорили, она отвечала на ломанном французском языке. Все были очень ласковы. Очень скромно одетая итальянка предложила ей апельсин; старик, повидимому простой рабочий, спросил, не хочет ли она вина. «Ах, какие милые! И вообще люди хороши. Были, конечно, скверные», — думала она, вспомнив о подземном заводе, — «но они исключение. И больше всего этого не будет. Не будет и чахотки, ведь только начало процесса в одном легком... И предложение он сделает!.. Глупое слово: «предложение», глупое, но какое милое! Не может не сделать!» В ее глазах всё бегали огоньки. «Разве он сам себя понимает? Послушаешь, уж такой пессимист и мизантроп, а на самом деле, когда он смеется, на него смотреть любо. Да на него и всегда смотрят люди, вот и на вокзале смотрели, он головой, кажется, выше всех», — думала она. «Он доволен тем, будто что-то во мне *открыл!* Остроумие? Зачем он так любит остроумие? И я люблю, но если не слишком много и не очень злое. Тогда, в понедельник, я ему напомнила поговорку: «Не все шутки сегодня шути, покинь на завтра». Ему не понравилось, сказал, что есть и другие поговорки: «Шутка к шутке, а вот Машка в шубке». Хочешь, Наташка,

быть в шубке?» И мне не понравилось. — «*Наташке* никакой шубки не надо». — «А Наташе? А Наташеньке?» — «Это лучше, но тоже не надо». — «А по моему совершенно необходимо. И помни, милая: если человек ничего в жизни не боится, ничего не ждет и ни во что не верит, то он *должен* шутить». — «Ах, как страшно! Просто демон!»...

О начале процесса в легком ей сказал берлинский врач, — к нему ее почти насильно заставил пойти Шелль. Она врачом боялась: «Хорошего они никогда не говорят, а не ходить к ним — ничего плохого и знать не будешь». Слова «начало процесса в левом легком» звучали гораздо лучше, чем страшное, противное слово «чахотка». Всё же они ее встревожили. Но Шелль, спросивший о ней врача по телефону, объявил ей, что это совершенный пустяк, и она тотчас успокоилась. Правда, позднее, тогда в тот четверг в Груневальде, он сказал, что ей всё-таки хорошо было бы поехать в Италию, лучше в горы: там и «начало процесса» тотчас исчезнет.

— Что вы говорите? Вы может быть, думаете, что я агентка Уолл-Стрит, живущая здесь инкогнито? Разве моей стипендии хватит?

— О деньгах, дорогая агентка, не беспокойтесь, я вам достану сколько угодно, — ответил он. Они тогда — до шампанского — еще были на вы, это было в начале их знакомства. Наташа оценила деликатность: «я вам достану», — то есть, он даст свои. Правда, он богат, у него большие комиссионные дела. — «Что такое комиссионные дела, Евгений Карлович?» — спросила она. Ей в Шелле не нравилось вино, его вечная шутливость, да еще имя-отчество. «Немецкого в нем ничего нет, и Карлы бывают разные. Может быть, отец был Чарльз?» Она примеряла: «Женя»? Нет, совсем к нему не подходит. «Геня»? Еще гораздо хуже. По имени-отчеству теперь называть уже глупо». Старалась никак его больше не называть, а когда скороговоркой говорила «Евгений», то мучительно краснела.

На ее вопрос, тогда в Груневальде, он ответил неясно. Лгать в разговоре с ней, к его собственному изумлению, ока-

залось не очень легко, хотя и вполне возможно. На поездке в горы он больше не настаивал: врач действительно сказал ему, что ничего опасного у русской барышни пока нет.

— ...Да я и сам не очень им верю, — сказал он ей. — Прежде они посылали легочных больных в Ментону; позднее было признано, что этим они губили людей, но вид у них остался такой же горделивый. Теперь горы, Давос, а завтра, может быть, они признают, что надо отправлять на северный полюс. Да ничего у вас и нет, не надо только простужаться.

— Ну, вот видите! — ответила, обрадовавшись, Наташа. — А в Италию мне придется съездить, но ненадолго и только на Капри. Я коплю деньги. Это мне нужно для второй диссертации.

Узнав, что она для университета в Юго-Славии пишет диссертацию «Ленин в период отзовизма и ликвидаторства», Шелль расхохотался:

— Как, как? Повторите! «В период отзовизма и ликвидаторства»? Да ведь в Юго-Славии терпеть не могут Москву?

— Нет, совсем не Москву, а Сталина! А Ленина они всегда почитали.

— Пусть почитают и дальше. При чем же тут Капри?

— У большевиков при Ленине была на Капри школа.

— Да что вы! Какое, верно, было полезное высшеучебное заведение!.. Капри чудесный остров, я там бывал. Хотите, поедем туда вместе?

Она вспыхнула от радости. Именно в тот декабрьский вечер они перешли на ты и поцеловались. «Вы не бои... Ты не боишься? Вдруг моя болезнь заразительна?» — растерянно спросила она и подумала, что говорит глупо. Как нарочно, — в этот день! — кашляла. «Нет, нет, *так* я не могу, не могу», — говорила она и выходило еще глупее. Он ничего не отвечал. Потом она стала печальна. Слишком быстрые перемены в ее настроении его пугали. Он связывал это с ее болезнью.

В Италию они отправились отдельно друг от друга. Шелль сослался на неотложные дела и обещал приехать на Капри, самое позднее, через три дня. Наташа грустно объясняла это

себе тем, что он не хочет путешествовать в третьем классе: «Привык верно к мягким вагонам» (хотя она покинула Россию давно, еще обозначала вагоны советскими названиями).

— ...Я себе найду какой-нибудь дешевенький пансион, а ты живи где хочешь, но не со мной. А то там люди еще могут Бог знает что о нас подумать!

Он с улыбкой согласился. Наташа и дальше, после поцелуев, отказывалась от его денег. Только в ресторанах соглашалась, чтобы платил он. Слышала, что в ресторанах всегда мужчины платят за дам, даже и за богатых.

До Неаполя Наташа почти ничего в Италии не видела, кроме вокзалов. В Риме поезда надо было ждать полтора часа, но она не решилась выйти хотя бы только на площадь. «Вдруг заблужусь, или опоздаю, или не в тот поезд попаду!»

Очень мало она увидела и в Неаполе. Пришлось потратиться на автомобиль. Объяснила как умела шофферу, что едет на Капри, что ей надо на пристань. Шоффер закивал головой, по дороге что-то ей объяснял и показывал. Одно место он назвал «Санта Лучиа», и тут радостно закивала головой Наташа: сама пела песенку с этим названием еще в детские годы в России и помнила, что эта песенка связана с чем-то в Неаполе. Показал шоффер ей и Везувий, но он Наташу разочаровал: ни огня, ни даже дыма. Шоффер сказал, что Везувий с такого-то года больше не курится, — сам был немного этим сконфужен, как все неаполитанцы.

У пристани она щедро дала ему на чай, — впрочем, не знала, сколько именно; в итальянских деньгах еще плохо разбиралась, хотя в Берлине изучала скомканные, огромного размера, ассигнации, которые купил для нее Шелль (вернула ему всё немецкими деньгами с точностью до марки). Шоффер видимо остался доволен, хотел было позвать носильщика, но, когда Наташа испуганно замотала головой — лишний расход, — сам донес ее чемодан до кассы. Она взяла билет и подняла чемодан (была довольно сильна физически, несмотря на начало процесса в легком). Его тотчас, взглянув на нее с ласковой улыбкой, подхватил матрос. Наташа, немного поколебавшись, дала и ему

начай, он было отказывался, но принял. Таким образом экономии сделано не было, но Наташу радовали милые, доброжелательные человеческие отношения. «Ах, какой прекрасный народ!»

Вздохнула она спокойно только тогда, когда села на скамейку пароходика. Ахнула, впервые по настоящему увидев море: никогда в жизни на море не была. «Какая красота! И, кажется, спокойное!» В немецком путеводителе сообщалось, что море между Неаполем и Капри иногда бывает бурным, — давались разные практические советы. Поэтому Наташа не спросила кофе и бутербродов, хотя ей хотелось есть, и цены у буфета были обозначены дешевые (она уже научилась довольно быстро переводить в уме лиры на марки). Однако пароход не качало. «Ничего не чувствую, просто морской волк!»

Два часа прошли отлично. Каstellамаре, Сорренто, — названия были так звучны, что просто нельзя было не восторгаться. Вспомнила: «Увидеть Неаполь и умереть!» «И кто только мог сказать такую глупость? Напротив, увидеть — и жить! Здесь жить, или в другом месте, всё на свете прекрасно, и жизнь прекрасна, и чем дольше жить, тем лучше... Он мне говорил: «Ты всё одна, а я целый день занят. («Чем это он занят?»). У тебя мало знакомых, неправдоподобное советское дитя?» — «И не дитя вовсе, двадцать пять лет дылде. А почему неправдоподобное?» — «Потому, что на всю Россию ты верно такая одна. Там у всех, при социалистическом строительстве, такой чудовищный эгоизм, такие стальные карьерные локти, каких нигде в мире не было, не только при буржуазном строе, но и при папуасском. А у тебя их нет и в помине. Ты мне не ответила, много ли у тебя знакомых?» — «Почти никого». — «Барышни или мужчины?» — «Да я тебе говорю, что никого. А барышни я ни одной отроду не знала. Какие у нас барышни?» — «Я буду приходить чаще, восьмое чудо света». — «Приходи каждый день!» — вырвалось у нее... «Tu sei l'emblema — Di l'harmonia, — Santa Lucia, — Santa Lucia!» — «Какая смерть! Где там смерть... И он *сделает* предложение!»...

Любоваться морем ей скоро надоело. Она достала вязанье из чемодана, теперь стоявшего под рукой, и занялась делом.

Остановилась она в очень недорогом пансионе. По дороге от станции «финикулэра» побывала в двух других, — везде кое-как понимали по-французски, — и выбрала третий, самый дешевый. Ей отвели маленькую светлую комнату с выбеленными стенами, с майоликовым полом в белых квадратиках, обведенных черным бордюром, всегда казавшихся мокрыми, с чистенькой кроватью, с креслом у выходившего в сад окна. Был даже и небольшой, письменный стол. Первым делом Наташа вставила в воду поблекший букет. По дороге видела ванную, — на этот расход пошла бы, но хозяйка, немолодая, красивая женщина, сказала, что как на беду ванна испортилась, ее очень скоро починят.

Наташа умылась, вынула из чемодана одно платье из трех, не лучшее, — «лучшие буду носить при нем». Внизу хозяйка опять приветливо ей улыбнулась и объяснила, в какие часы завтрак и обед; спросила, сколько синьорина намерена остаться на Капри. Узнав, что не меньше десяти дней, а скорее две недели, улыбнулась еще ласковей и сказала, что не будет беды, если синьорина иногда и опоздает к обеду, ей всё оставят. А в дни экскурсий на Анакапри, на гору Тиберия или в Сорренто, ей вместо завтрака будут давать бутерброды. Сказала также что-то любезное об ее платье и пальто. Наташа всё поняла и почувствовала себя как дома, — «хотя где же у меня дом?».

В столовой (гостиной в пансионе не было) стояло маленькое пианино. Это очень обрадовало Наташу. Играла она плохо, — разучилась за годы на подземном заводе, — но ее пенье Шеллю нравилось. «Вдруг, если никого не будет, как-нибудь спою ему и здесь?»... Пела она разное, от «Бубличков» до романсов Глинки и Чайковского. Ему особенно нравились «Бублички». «Что это он говорил? «В этой глупенькой песенке есть нечто символическое и страшное»... Почему «символическое»? И почему она «глупенькая»? Напротив, мы там все это так чувствовали, так было больно, и это успокаивало». Впро-

чем, пела она Шеллю в Берлине редко. Он приходил к ней обычно по вечерам, а с девяти часов хозяйка пансиона, большая толстая старуха, — как она всем говорила, вдова чиновника императорского времени, — со строгим лицом раза два входила в небольшой чистенький салон, чуть не половину которого занимал Бехштейн; в десять же решительно объявляла, что больше играть нельзя (ей вдобавок не нравились ни «бублички», ни посещения высокого господина).

На улице у Наташи опять начался «припадок». На всё лился теплый, уже почти жаркий свет, всё было восхитительно. По пути от станции в пансион она почти ничего не рассмотрела, так всё волновалась: не утащит ли мальчишка ее чемодан, найдется ли комната по карману, поймут ли то, что она скажет? Теперь всё было устроено. Ждать Шелля оставалось три дня. Погода была райская, хотя весна только начиналась, — в Берлине еще была настоящая — и очень скверная — зима, мало походившая на русскую, зима без прелестей зимы. Ее поразили кривые, узенькие, несимметрические улицы, невиданная, почти тропическая, растительность, белые, кремовые, красные дома, один живописнее другого, и всего больше горы, часто совершенно голые, со страшными вертикальными обрывами, — на них и смотреть снизу было жутковато.

Гуляла она до вечера. Иногда останавливалась и перед витринами магазинов. Магазины были, конечно, меньше и беднее берлинских, но в Берлине и времени никогда не было смотреть на витрины. В одном магазине недалеко от площади шла распродажа дамских платьев. Наташа взглянула на платья, на цены, перевела на марки, — дешево! Одно платье, лиловое, ей чрезвычайно понравилось: как будто зимнее, — ведь зимние-то теперь распродают, — но совсем как бы весеннее, да собственно можно носить и летом, и осенью. «Лиловый цвет его любимый, он тогда это в Груневальде сказал»... Мысленно прикинула: если экономить решительно на всем, то хватит ли, чтобы купить это платье и вернуться в Берлин? Грустно ответила себе, что не хватит, — дай Бог, чтобы хватило и без платья. «Особенно, если останемся больше десяти дней. А чтобы

остаться только девять, я никаких платьев не взяла бы!» Отошла от магазина и тотчас успокоилась. «Отлично обойдусь без платья! Да мне и не так уж нужно: есть три».

Засветились звезды, — «тоже другие». Всё с теми же лукавыми огоньками в глазах, думала о Шелле, о том, какой он странный и даже чуть смешной своей таинственностью, о том, что его глаза, вначале показавшиеся ей холодными и страшными, были на самом деле добры и даже нежны, — по крайней мере, иногда — «и нисколько не «стальные», а голубые». Как жаль, как жаль, что нельзя будет остаться тут больше! Но если он в самом деле сделает мне здесь предложение?» — замирая, думала она. «Тогда можно было бы остаться, и деньги у него можно, пожалуй, взять займы. Хотя я и после свадьбы не сяду ему на шею: буду зарабатывать, даром, что он богат. Я уговорю его пробыть дольше, это будет наша свадебная поездка... Он сказал, что никогда женат не был. Как забавно, что тогда в Груневальде он еще мне казался страшным! Я ему сказала, что его наружность вызывает во мне безотчетную тревогу. Он ответил, смеясь: «не говори так литературно». Я правду говорила... А теперь никакой тревоги, ни отчетной, ни безотчетной!»... Наташа постоянно говорила и себе, и ему: «тогда в Груневальде», как Наполеон мог бы говорить: «тогда в Тулоне». Шелль не всегда сразу и соображал, что она хочет сказать.

В уютно освещенной столовой людей было немного: большая семья у главного стола, еще старик и старушка, все нисколько не страшные, хоть чужие. Миловидная горничная, очень похожая на хозяйку, усадила Наташу за отдельный столик, переменяла бумажную скатерть, ласково улыбалась. Когда она пробегала с вазой мимо старого буфета, в нем звенела посуда, и в этом звоне было что-то уютное. Горничная подавала макароны, рыбу, мясо, всё было необыкновенно вкусно. Спрашивала, что синьорина успела повидать, и узнав, что всё «très beau», «bellissimo», и что синьорина никогда ничего прекраснее Капри не видела, предложила вторую порцию макарон. На столе стоял графинчик с вином. Это немного обеспокоило Наташу: не слишком ли дорого обойдется? В России она

никогда вина не пила; на подземном заводе была рада когда доставала и не слишком грязную воду. За последние месяцы Шелль ее немного приучил к шампанскому, к дорогим рейнским винам. Сначала показалось невкусным, — что только в этом находят люди? — но скоро понравилось; понравился не вкус, а легкое приятное кружение в голове. За их последним завтраком в Берлине Шелль сказал ей, что *настоящее* каприйское вино принадлежит к лучшим в мире и что его в ресторанах достать почти невозможно, а надо искать у старожилов, лучше не у виноделов. Наташа попробовала вино из графинчика: «Кажется, хорошо? Ведь они старожилы? Может быть *настоящее*? Я его буду угощать, он мог бы приходить завтракать?» —

Старик и старуха поднялись. «Кажется, надо им поклониться?» — подумала Наташа. Они ласково кивнули ей первые. «Значит, теперь можно и пора уйти, нельзя же злоупотреблять», — подумала Наташа. — «Они не платили, верно тут ставят в счет, тогда поставят и мне?» Она встала и прошла к выходу. В буфете опять что-то зазвенело. «Просто прелесть!»

В ее комнате было холодно. В столовой была печь, другие же комнаты пансиона отапливались солнцем. Наташа хотела было разобрать и разложить вещи, но почувствовала большую усталость: «Это не от начала процесса, а оттого, что много ходила здесь, и от дороги». Лечь спать в девять часов было и совестно, и соблазнительно. Наташа всё же подняла крышку чемодана. Кроме ученых книг для работы, она взяла с собой из Берлина «Избранные сочинения Н. Г. Гарина-Михайловского» в одном томе. Тетралогия этого писателя была одной из ее любимых книг. «Вот с ней и лягу! Ах, как хорошо!»

Она проделала над собой то, что называла «турецкими зверствами»: умылась с ног до головы холодной водой. «Есть же такие счастливы, у которых всегда везде комнаты со своими ваннами, с проточным кипятком», — сказала она как-то Шеллю. — «Есть, Наташа, есть», — ответил он, — «и у тебя будут («он сказал: будут. Не намек ли, что женится?»). Но почему ты это самоистязание называешь турецкими зверствами? Турки очень добродушный народ. Естественнее говорить:

«нацистские зверства». На это Наташа ничего не ответила: могла шутить о зверствах турок в далекие времена, но зверства национал-социалистов видела вблизи сама, и о них упоминать в шутках было невозможно. «Кажется будет лужа! Я не виновата», — думала она, ежась от холода. «Но этот пол верно воды не пропускает? Не пожалуются ли внизу!» — Однако теперь ни в какие неприятности не верила, не верила и что на нее пожалуются.

Затем она легла и закуталась по своей системе: не без труда вытащила концы розового одеяла, плотно засунутые между матрацом и деревом кровати, подвернула их под себя со всех сторон, так что образовалось какое-то подобие мешка; понемногу согрелась и простыня. «Вот уж сейчас на четверть хорошо... На половину... Совсем хорошо... Теперь можно и почитать». Книга была большая, довольно тяжелая, держать ее в руках было неудобно, да и не хотелось вынимать из теплого мешка руки. Наташа поставила книгу углом, на постель рядом с мешком.

Тема Карташев целовал Одарку и делал ей предложение: «Одарка, хочешь быть моей женой?» — «Пустыть, панычику»... — «Можно тебя еще раз поцеловать?» — «Ой, боюсь, панычику». Непутевый Тема был любимцем Наташи: когда она в первый раз читала тетралогия, плакала оттого, что он студентом заболел страшной болезнью. «Как же он мог после этого жениться!»... Но теперь Тема еще был чист и здоров. Читать книгу было неудобно, и, чтобы перелистывать страницы, всё равно пришлось бы вытаскивать хоть одну руку из под одеяла. «*Наташа*, хочешь быть моей женой?... — Приезжает послезавтра»...

Глаза у нее слипались, но она по опыту знала, что и при этом можно не заснуть. «Бывает, что вдруг точно электрический разряд, и ничего от сна не остается. Надо улучшить момент, когда *можно* заснуть, а упустишь — сорвешь сон. Так и в жизни: только один момент, пропустишь — кончено... Где же и сделать предложение, как не на этом волшебном Капри? В Берлине у него просто и времени не было: не за обедом же между

двумя блюдами?.. Зачем он так много пьет?.. А еще любят ли мужчины, когда у кого этот... инфирорити?» — тревожно спросила себя она, задумалась и чуть не сорвала сон. Была совершенно — почти совершенно — убеждена, что ее любить не за что.

VI

Спала она как убитая и проснулась в восьмом часу. Комната была залита светом. Наташа тотчас освободилась из мешка; упала книга, так и простоявшая на кровати всю ночь. С вечера не опустила штор, теперь отворила окно. «Ах, этот воздух! Тут и в одной рубашке не простудишься... Насморк был бы совсем некстати, если бы не прошел до его приезда!..» В саду неизвестные ей цветы и деревья были очаровательны. «Вон там будем с ним сидеть, когда он будет приходить ко мне». Тишина была необыкновенная, такой нигде не было. Не сразу решилась позвонить: слишком рано. Решила подождать до восьми. Но со стороны кухни послышался веселый женский голос, кто-то так же весело откликнулся, стало еще веселее и Наташе. Она позвонила, — робко, еле надавила на пуговку.

Та же миловидная горничная пожелала доброго утра, спросила, как спала синьорина и что ей подать к завтраку; затем, очень скоро, принесла кофе, масло, две булочки, стакан холодной воды. Шелль говорил Наташе, что на Капри питьевая вода редкость: ее привозят из Неаполя. «Значит, довольны мною! Верно, она дочь хозяйки или племянница, что ли?» Охотно поговорила бы и с горничной, — особенно любила разговоры с простыми людьми, — но нельзя было по незнанию языка, да и кофе остыло бы, ей очень хотелось есть. Всё было опять прекрасно подано и необыкновенно вкусно. Кофе дали немного меньше, чем молока. Наташа любила крепкий и сладкий, сразу налила в чашку почти всё из кофейника, выпила с наслаждением, затем вылила в чашку и весь остаток молока, только капнув остатками кофе. Не оставила ничего и от масла, и от хрустящих булочек. «Просто совестно!» В Берлине в ресторанах ей

всегда тоже бывало за что-либо совестно перед прислугой, это очень смешило Шелля. Он увозил ее в далекие от центра рестораны, а то и в загородные, хотя там зимой было мало публики, — это была, повидимому, одна из его многочисленных причуд; и не любил ходить пешком, тотчас садился в автомобиль.

Она опять подошла к окну и жадно стала вдыхать воздух: «Какая прелесть! Может быть, и за десять дней здесь совсем, совсем поправлюсь!...» У забора на веревке висело белье. Это тоже показалось ей необыкновенно живописным. Затем она с сожалением затворила окно и взялась за работу. В комодке было три ящика. Платья и белье поместились. Но шляпы (взяла с собой обе) поместить было негде. Все ее вещи были дешевенькие. Только французские духи были очень дорогие: подарок Шелля. Наташа своей бедности несколько не стыдилась, но и не *юрдилась* ею, — это бывает не так часто.

Постели она не убирала, — надо же что-нибудь оставить и для горничной, а то еще обидится. Но комнату убрала так хорошо, как, вероятно, эта комната никогда не убиралась. Вынула даже ящик из стола и вытряхнула пыль в корзину. Книги аккуратно разложила на столе. Сочетание книг у нее было самое странное. Были истории русской церкви митрополита Макария и Голубинского, — с великой радостью нашла в Белграде эти редкие издания и даже заплатила недорого: антиквар не знал цены русским книгам. Было «Сказание о новоставшей ереси», — Иосифа Волоцкого она не любила, но это тоже был полезнейший труд для первой диссертации. Были и советские книги, брошюры, исторические журналы: антиквар смотрел на нее с некоторым удивлением, когда она всё это отбирала. Она даже сочла нужным объяснить ему, в чем дело. Основная ее диссертация была «О первых проявлениях русского социализма в писаниях нестяжателей». Эту тему она выбрала сама; профессор согласился, хотя и не очень охотно. Вторую же, дополнительную и обязательную, работу о Ленине ей предложил факультет. Эту тему приняла не очень охотно она. Как почти всё в Югославии, университет был странным образом и ком-

мунистическим, и антикоммунистическим. Люди объясняли это не очень понятно, как будто скороговоркой.

В десять часов в дверь постучали и вошел сам хозяин пансиона. Наташа встала, — привыкла к этому на подземном заводе и всё не могла отделаться от страха перед мужчинами, имевшими какое-то звание. Оказалось, хозяин пришел справиться, всем ли синьорина довольна и будет ли она у них и завтракать, и обедать. Так дешевле, и он ей это очень советует, но у них существует и полупансион; его жена не совсем поняла синьорину, и он желал бы знать окончательное решение синьорины. Наташа с жаром ответила, что, конечно, будет и обедать, и завтракать:

— У вас всё так вкусно! И какое чудное вино! Верно, настоящее каприйское? Но мне не надо так много, я почти не пью.

Хозяин объяснил, что вино самое настоящее Тимберлио и что графин его входит в цену пансиона. Это было тоже приятно. Набравшись мужества, Наташа сказала о другом. Она опасалась, что в ее чемодане или на столике после ее ухода найдут советские книги, признают ее большевичкой и еще сообщат полиции, — тогда не оберешься неприятностей. На немецком языке, кое-как дополняя французским, объяснила, что занимается русской историей, пишет книгу, и ей для ее научного, чисто-научного, исследования очень нужно было бы узнать, где на Капри жил много лет тому назад Ленин и где в то время находилась большевистская школа. Хозяин слушал ее с ласковой улыбкой, хотя немного как будто был удивлен. Но, повидимому, не нашел в вопросе ничего страшного. Сказал, что великий русский писатель Массимо Горки жил недалеко, в большом красном доме над морем, там теперь гостиница, он даст синьорине адрес; о Ленине же и о школе он ничего не знает.

— Это наверное может вам сказать наш известный каприйский лодочник, старик Антонио. Он лично знал Ленина и возил и его, и Горького в Лазурный грот. Вы можете его найти в три часа у входа в финикюлэр. Он там ждет туристов.

Здесь же на острове жил и синьор Аксель Мунте, другой великий писатель. Все писатели и ученые приезжали на Капри.

Наташа рассыпалась в выражениях благодарности на немецком, французском и даже на итальянском языках.

— ...Мила необыкновенно! Она профессор! Занимается историей, — сказал хозяин жене, спустившись вниз.

— Недолго будет заниматься историей, — ответила хозяйка неодобрительно. Но ей и самой очень понравилась эта русская барышня.

За работу Наташа тотчас не села. Всё утро по путеводителю осматривала сады Круппа, замок Кастильоне, церковь Сан-Стефано, скалы Маральони, куда пираты заманивали огнями моряков и тут же их убивали и грабили. Но Анакапри, дворец Тиберия и Лазурный грот Наташа оставила для Шелля: пусть он туда ее повезет. После завтрака в пансионе — завтрак был еще лучше, чем обед накануне, — не отдыхала — нечего лениться — и пошла на станцию. Там ей указали старика Антонио. Хотя Наташа лодки не заказывала, он охотно дал ей все сведения: да, он был другом великого писателя Горького, возил в Лазурный грот и его, и синьора Ленина; бывал и у них в школе, а помещалась она в вилле Пьерина, по дороге на Пиккола Марина, осталась точно такой, как была, и по случайности в ней теперь никто не живет. Другие лодочники и носильщики с любопытством слушали старика. Они слышали о Ленине, о школе и, видимо, гордились тем, что это было на Капри.

Опять повезло: легко узнала адрес. Наташа с волнением отправилась к Пиккола Марина, расспрашивая прохожих, — не туристов, а настоящих каприйцев. Все любезно ей отвечали, иногда даже отрываясь от дел и разговоров. Такого внимания она нигде не видела: любезностью не была избалована в жизни.

Вилла, стоявшая в стороне от большой дороги, была белая двухэтажная, с колоннами в первом этаже, и стояла она в глубине роскошного сада с пиниями, пальмами, розами. «Откуда же у них тогда были деньги, чтобы нанимать такую дачу?»

— недоумевала Наташа. — «Ну, убили кого-нибудь, дело житейское», — как сказал бы Майков. Николай Аркадьевич обо всякой гадости говорил: «дело житейское» и с удовольствием это говорил!»

Серьезные историки всегда всё тщательно проверяют, и, чтобы не полагаться на одного Антонио, она прошла дальше по дороге, купила в лавке плитку шоколада и справилась о вилле: правда ли, что здесь когда-то была русская коммунистическая школа? Старик лавочник и его жена, чудом понявшие ее, с гордостью подтвердили: «Да, в вилле Пьерина была коммунистическая школа, великий писатель Максим Горький по слабости своего здоровья приезжал туда по большой дороге на извозчике, а Ленин приходил пешком, и они сами его видели, своими глазами, и за ним всегда по пятам ходила царская полиция». Кое-как поняла и Наташа.

Она вернулась к вилле, долго стояла перед входом, затем, робко оглянувшись по сторонам, попробовала калитку. «Не заперто. Верно и в самом деле никого нет? Войду? Право войду!». Наташа вошла в сад и, опять набравшись храбрости, — не примут ли за воровку? — заглянула в окно: увидела большую пустую комнату, вроде студии. «Конечно, тут они и читали лекции! А то здесь на этой террасе обсуждался отзовизм». Наташа твердо знала, что историкам полагается всё обсуждать и описывать «объективно». Тем не менее вилла внушала ей недобрые чувства. «Отсюда всё пошло, с этой веселенькой белой виллы! У нас говорили, что от большевиков затрещал мир, и это действительно так. От этого и от гитлеровского трещанья затрещала и я. Папа был бы в России, совсем иначе сложилась бы жизнь, и войны, говорят, не было бы... Но ведь и его тогда не было бы!»

Вилла Пьерина была ее открытием, — в исторической литературе нигде ее названия не было. Правда, у Наташи были и некоторые сомнения: как будто Ленин пробыл на Капри очень недолго. Были у нее и хронологические затруднения с отзовистами и ликвидаторами. Но всё это именно могло быть предметом обсуждения во второй диссертации. «Заполнит не меньше

десяти страниц», — радостно думала она. — «Скорее бы написать... Я непременно приведу его сюда, ему будет интересно, он такой образованный». Сосчитала мысленно: до приезда Шелля оставалось еще сорок шесть часов, может быть, даже сорок пять.

Для второй диссертации за день было сделано достаточно. Присев на камень, она всё занесла в купленную для этого в Берлине записную книжку с карандашиком в ушке: описала виллу, сад, комнату, кратко занесла «показания старожилов». Всё это могло пригодиться. «Конечно, в историческом отношении это не так ценно, но в бытовом интересно». Досадно было, что карандашик твердый и пишет неясно. В ее самопишущем перо не оказалось чернил. «Можно спросить у хозяина, или же, чтобы не приставать, завтра куплю баночку, заодно и бумагу». Отсутствие чернил было законной причиной, чтобы вечером не думать об отзовистах. «При нем будет работать труднее, да он и смеется всё над моей работой... Ну, буду рано вставать, от семи буду писать, а встречаться верно будем не раньше одиннадцатого часа». Она поднялась к себе. Теперь было уже немного и скучно. «Смерть мухам», — весело вспомнила она его постоянное восклицание и засмеялась от радости. «Нет, не скучно, мухи останутся живы».

Вечером она, с карандашем в руке, не тем, а настоящим, хорошим, читала сводную книгу о стригольниках, жидовствующих, нестяжателях и иосифлянах. Еврей Схариа, приехавший в Новгород в свите приглашенного боярами нового князя Михаила Александровича, «был изучен всякому злодейства изобретению, чародейству же и чернокнижию, звездозаконию же и астрологию», совратил со своими учениками многих русских священников, протопопа Софийского собора и самого митрополита Зосиму и чуть было не совратил великого князя Московского Ивана Васильевича. Проповедывали же эти малоизученные еретики астрономическую книгу Шестикрыл и метафизику Моисея Египтянина или Маймонида, а всего больше учение Аристотеля, головы всем философам. Они говорили: «Нест, дси, царства небесного, умер, деи, ин по та места и был»...

О том, есть ли вечная жизнь, Наташа сама думала часто, особенно с тех пор, как стала кашлять. К тому, что историк называл рационализмом стригольников и жидовствующих, у нее симпатий не было. Не могла понять, *что* эти люди предлагали, какое утешение, и зачем же писать безутешные, безотрадные книги: «на что тогда их Аристотель, и их звездозаконие?»... Зато она нежно любила нестяжателей, особенно Нила, который ушел на реку Сору от злообразия мира. Нравилось ей также, что к восьми главным человеческим порокам Нил Сорский причислял печаль и уныние. Это она слышала до войны от Николая Майкова. «Он ведь из семьи Нила и всё это знает». Его слова она часто себе повторяла, когда работала на подземном заводе. Не всегда они помогали, — слишком страшно было то, что на заводе творилось. Однако помогали иногда.

Так и теперь Наташа прочла несколько страниц из книги, остановилась на цитатах из «Предания и устава», и ей стало еще радостней. «Послезавтрашнего дня и считать нельзя. Где он остановится?» Она видела в городке большую гостиницу «Квисисана». В путеводителе было сказано, что это самый лучший отель Капри, да это и без путеводителя было ясно само собой, по виду выходявших людей, по тому, что здесь толпились гиды и стояли ослики для туристов, — когда Наташа проходила мимо, к крыльцу на ослике подъехала говорившая по-немецки горделивая дама.

Сон был радостный, бессмысленный, немного беспокойный. И вдруг в другое нелепое ворвался император Тиберий. Он был теперь учителем в ее киевской школе. Читал об отзовистах и принимал в ней близкое участие. «Не выходи за него замуж!» — сказал император, — «разве ты не видишь, что он обманщик? Ты сама вначале так думала, напрасно ты это теперь скрываешь. Беги от него поскорее, подальше».

Наташа очнулась в ужасе и села, подобрав колени. Глаза у нее расширились, сердце сильно стучало. «Обманывает в чем? Но прежде, вначале, я в самом деле так думала! Откуда он это знает?.. Кто знает? Тиберий! Что за вздор!» Она проснулась совершенно. — «Вздор, дикий вздор!» — прикрикнула она на

себя и даже постаралась улыбнуться. — «Зачем он стал бы меня обманывать? Правда лишь то, что он никогда о себе не говорит. Я спрошу его. Просто так спрошу... Ах, какая чушь снится людям! Ни о чем не буду его спрашивать. Ни слова не скажу... И о сне не скажу», — думала она, понемногу успокаиваясь. Ей было мучительно за себя стыдно.

(Продолжение следует)

М. Алданов

**
*

Почти всю жизнь витаю в облаках
И наслаждаюсь звезд высоким светом.
Но чувствую, что только вечный страх
Меня заставил сделаться поэтом.
И я живу, живу поверх всего,
Поверх себя, поверх железной крыши,
Поверх отчаяния моего
Меня ведет отчаяние свыше.

**
*

Веленью дивному послушна
Весною пыльная метла,
Забытая в углу конюшни,
Зазеленела, расцвела.
Упорство этого цветенья,
Цветенья веток без корней
Похоже на стихотворенья
Лишенных родины своей.

А. Величковский

НИНЕЛЬ*

7

Осень этого года выдалась хлопотливая. То и дело устраивались партийные и комсомольские совещания, кого-то подтягивали, где-то искали прорывы, усилили разъездную лекторскую работу по международному обозрению. С разных мест получались сигналы о неполадках, а то и чорт знает о чем.

Вернувшийся из поездки секретарь Облпарткома привез, повидимому, какие-то тревожные вести. Во всех инстанциях чувствовалась взбудораженность.

Завкультпросветработой Горкома ЛКСМ, в секторе которого Нинель по кооптации помогала в делах культмассовок, бурлил, придирался, разносил и искал «щупальцы притаившихся гадов».

— Мы их, право-леваков, троцкистское охвостье, — возьмем под ноготь, как вшу раздушим, — угрожал он в пространство, плевал в угол, и лысина его становилась коричнево-багровой.

Поползли слухи, что в Москве опять готовится страшный поход против каких-то вновь обнаруженных оппозиционеров, что открылись ужасающие вещи, чуть ли не новая подпольная попытка расколоть партию, назывались имена Рыкова и Бухарина, казалось бы — уже поверженных. Будто бы контр-революционеры пойманы с поличным.

Нинель была вызвана к старшему товарищу по Бюро и впервые в жизни услышала по своему адресу грубый лай с пристукиванием по столу кулаком:

— Самоуспокоилась! Выдвинули тебя на большую работу, а ты цветочки на полях собираешь? Проспала, товарищ:

* См. кн. 37 «Нов. Журн.».

под носом у тебя гнуснейшие факты! На, смотри, — это не только бытовое разложение, здесь политическим душком тянет.

Нинель прочитала рапорт КСМ-бюро мукомольного Института о том, что будто бы на чердаке общежития какие-то студенты стреляли из игрушечного пистолета в портрет Ворошилова. Виновники не пойманы, пистолет же и горох обнаружены. Под портретом сделана печатными буквами надпись:

«Ворошиловские стрелки».

Нинель глазам своим не верила.

— Я подниму на ноги всю общественность!

— Да, еще от большого ума тиснешь в газете заметку? Кто ж это тебе напечатает? — окрысился завсектором. — Такие дела, уменькая, не так делаются. Языка уже нашли без тебя. Кого надо — изолируют; тебе же ухо остро держать: провести серию вылазок, прощупать общее настроение, усилить актив бюро, растяп и слюнтяев по шапке, произвести перевыборы; стенгазета у них — дерьмо, студенческая масса от культпросветработы морду воротит, надо найти новые формы, втянуть. На то и ты в Бюро, чтобы в ВУЗ'ах это дело заворачивать. Я что ли мотаться буду по местам? Я и так от инструктивной работы дня не вижу, а помощнички — вот вроде тебя. Словом, — доложишь в пятницу, как и что. Главное — проверка исполнения. Ну, пока.

Нинель искренно взволновалась. В самом деле, доверилась мукомольному бюро, месяц, пожалуй, туда не заглядывала, и вот что стряслось!

Но не успела она еще расхлебать всей этой истории, которую решили не предавать гласности, не успела с вновь организованным бюро выработать мероприятия, как в четверг ей сообщили, что по телефону ее вызывают немедленно в Горком.

На этот раз она, совместно с секретарем КСМ Мединститута, подверглась такой распалке, что не выдержала и, тоже крепко хлопнув по столу ладонью, прикрикнула: — Не хамить! Администрировать — не значит сквернословить. И если еще

раз услышу мат, — уйду и разговаривать буду уже не с тобой!

Завсектором на секунду осекся, а потом сморщил лицо в приторную улыбочку и засюсюкал: — Ах, извиняюсь, мамзель или мадам (не знаю как правильно), вы, конечно, не привычны к нашему боевому словцу, с вами надо деликатно, с конфеткой во рту: глазки то ваши опять не туда смотрели.

А дело было в следующем. Студентка второго курса Медицинского института выбросилась из окна четвертого этажа общежития и разбилась на смерть. Из собранных показаний подруг и сокурсников вытекало, что самоубийца довольно долгое время перемогалась, грустила, плакала втихомолку, говорила, что тоскует по своему селу. Дня за два до происшествия ее вызвали в институтский спецсектор, где она пробыла часа полтора и вышла оттуда смертельно бледная. На следующий день она была у директора и в парткоме, но на вопросы подруг ничего не отвечала. А на третий день, утром, после того, как все ушли на занятия, выбросилась из окна.

Непосредственную причину ее гибели, повидимому, знали и в спецсекторе и в дирекции, но оттуда не просачивались слухи. «Массы» же строили разнообразные предположения.

Из села приехала ее родственница, учительница начальной школы, увечная, с одной ногой. В глазах ее всё время дрожали испуганные слезы, губы кривились, она стучала костылем по каменным плитам вестибюля и лестниц, бродя из кабинета в кабинет со сползшей косынкой на прямых коротких волосах и на вопросы трясла головой: — Не знаю, ничего не знаю...

Нинель повидалась с ней, видела труп самоубийцы в анатомическом покое, снова возвратилась в Горком и заявила: — В данном случае не считаю, что всё это касается меня.

— А кого же? — Завсектором прищурил один глаз, — уж не меня ли? Раз ты поставлена на работу повышать идейный и культурный уровень студентов, то ты отвечаешь в общем и целом за всякие вывихи. Какой же это к чорту идейный уровень студентов, если у нас самоубийцы завелись?

Где твоя культура, чтобы делать студентов здоровыми и веселыми? Ясно, что ты не должна с каждым, кто в окно лезет, тары-бары разводить и за фалды держать, но ты, именно ты должна так организовать работу институтских бюро, чтобы состав членов их обеспечил здоровое настроение масс, наш советский оптимизм. Нечего играть в незнайку.

— Знаешь что, товарищ Скопов, — возмущенно заявила Нинель, — в порядке самокритики должна сказать, что просчиталась, понадеялась на свои силы, а теперь вижу, что не умею и не смогу быть на высоте. В низовом аппарате справлялась, а здесь — не умею, опыта еще нет, а поэтому будет лучше, если вместо меня кооптируете более подходящего товарища. Кроме того, у меня большая нагрузка по учебе, я начинаю по показателям сползать вниз, не успеваю, срываю личное соцсоревнование...

— Те-те те... — опять прищурил глаз Завсектором, — нагрузка! А ты от чего другого разгрузись. Ты ведь еще переводчиком в Интуристе действуешь?

— Уже три месяца как совсем ушла отсюда.

— Да? Ну, тогда... тогда поменьше воздухом дыши, личные прогулки брось. А освободить тебя — мы освободим тогда, когда мы сами найдем это нужным, а не тогда, когда тебе хочется... — И вдруг крикнул-стукнул: — Ты что же это, капитулируешь? Трудностей испугалась? Не по-большевистски это. Разговор кончен. Работай, а мы поддержим. Пока.

Нинель с горечью и досадой, разбитая, шла домой и раздумывала — права она или нет? Может она претендовать на освобождение от порученных ей дел или нет? И как это всё докатывается какими-то путями до людей? Вон уже прогулки ее известны; вероятно — судят-пересуживают ее знакомство с Зенфом... И можно ли, в самом деле, отвечать за каждый эксцесс среди студенчества? Какими стенгазетами, собраниями, митингами можно предохранить каждого из сотен тысяч от личной хандры, неудач, обид, разочарований? Или, может быть, личное должно быть подчинено общественному, растаять в нем? Но ведь я — я. И еще: чепухово взваливать

ответственность на нее, например, по делу этих дураков «ворошиловских стрелков». Где-то, в чем-то другом, более общем спрятана причина уродств жизни. Неужели папа... Да нет... Чепуха. Спросить у Зенфа?.. Ах, нет, она будет, конечно, хлопотать вместе со студенческими и комсомольскими организациями, чтобы эта цель заслонила собой горечи и неудачи сегодняшнего дня, но... сможет ли она, теперь уже через силу (и, пожалуй, через силу потому, что она *должна*), сможет ли она отдать всю себя — беготне, инструктажу, собраниям, уговорам, проверке исполнения?

Нинель вдруг резко остановилась, — ее ударила мысль, которую она, казалось, уже обсудила за несколько минут до этого, но мысль снова вернулась, острая, опасная: значит, я не могу быть свободной? А если я не *хочу* того, что я должна?! Противоречие тягостное и, пожалуй, безвыходное.

Нинель растерянно оглянулась по сторонам и увидела, что машинально пришла не к своему дому, а к квартире Зенфа. Снаружи за окном на доске стояли его кастрюльки. Нинель по ступенькам поднялась к парадной, взялась за ручку... подумала... и снова спустилась на тротуар, соображая точно в полусне, как идти к себе домой.

Вечером Горошин вышел вместе с Леонтием Андреевичем из поликлиники.

— День сегодня был — фу! Представь себе, — вызвали в анатомку на консультацию. Какая-то студентка выбросилась из окна. Почему — неясно. Сторож что-то молол, будто разоблачили ее соцпроисхождение, — она за батрачку себя выдавала, а на деле — будто из кулацких детей. Да, может, врет. Зачем меня вызывали? М-да, пикантно. Видишь ли, там после вскрытия и анализов диагноз поставили — люэс — от него она, мол, и каюк себе сделала.

— Ну, и что же?

— Да ничего. У нее такой же люэс, как у статуи Венеры Милосской. А подпись моя, так сказать, подкрепительная:

рядом с мединститутской будет и от специалиста центральной поликлиники.

— И ты подписал?

Горошин остановился и посмотрел с недоумением на Лысича:

— Леонтий Андреевич, ей жить не хотелось, а мне ведь хочется.

8

Институтская стенгазета вышла с опозданием. Задержали курскоры с английского сектора, очень долго возившиеся на этот раз со статьей «О неполадках». Газета печаталась на машинке со статьями на немецком, французском, английском и — наполовину — на русском языке. «Англичане» согласовывали эту статью в КСМ и парт-организации, получили санкцию у директора и перевели ее, кроме того, на русский, чтобы была понятна всему Институту. Вывесили, как всегда, на специальной доске и присоединили иллюстрации в красках.

Главная картинка изображала довольно длинную очередь из студентов перед дверями; надпись: «экзамены и зачеты зимнего семестра». Первым у дверей стоит Алеша Кузмичев, очень похоже изображенный, и от спины его, как и у других, тянется серо-зеленый, жирный шлейф, напоминающий хвост доисторического чудовища, с пояснением — «академзадолженность». Сбоку — энергичные молодчики исполинскими ножницами режут у двух-трех должников такие-же хвосты; ножницы называются «академ-буксир», т. е. бригады, помогающие ликвидировать «хвосты» — советом, своими конспектами, дополнительными занятиями. В статье «клеямились» самоуспокоенность, лодырство, срыв соцсоревнования, несознательность, пагубно ведущая к смычке с классово-враждебными элементами. Крупным шрифтом — список злостных должников; Кузмичеву же делалось последнее предупреждение с грозными кличками: разложившийся, чуждый элемент, подголосок недобитого мещанства.

Была и другая картинка, сделанная с большой экспрес-

сией: преподаватель-экзаминатор с ужасом и состраданием смотрит на студентку, из глаз которой фонтанами текут слезы, и она наплакала столько, что уже ноги экзаминатора по шиколотку в воде; она положила на стол зачетную книжку, и профессор ставит ей «уд». Французская статья поясняла, что профессорско-преподавательский персонал «из жалости или других соображений» допускает гнилой либерализм в оценках, покрывая таким образом незнаек. «Подобные явления нетерпимы и возбуждают сомнения, какова природа этой мягкотелости?»

Кто вглядывался повнимательнее в лицо нарисованного экзаминатора, тот замечал, что брови и глаза его напоминают преподавательницу французской литературы, отвислые, мясистые уши — доцента педагогика, а пиджак с торчащими из нагрудного наружного кармана толстыми роговыми очками — профессора всеобщей литературы.

Вывесили газету в субботу вечером с благословения Нинель, а в понедельник в перерывах между лекциями к доске нельзя было протиснуться. Читали молча, и каждый с тревогой смотрел, нет ли случайно по какому-нибудь поводу и его имени, не фигурирует ли он в картинках и виньетках. В лектории на переменах и во время получасового завтрака пребывала профессура, там было тихо. Только педагогика сказала французской литературе: — Опять начали, — на что преподавательница ничего не ответила, и только рука с бутербродом у рта дрожала непокорно.

Гвоздем же сезона был Кузмичев. Многие в душе сочувствовали, но помалкивали. Да если бы и хотели в уголке шепнуть дружеское словцо, не сделаешь этого: Алёши уже дня три не было видно в Институте. Каждое утро сотоварищи по комнате в общежитии видали его; он во-время вставал, энергично брызгался в умывалке, одевался и уходил вместе со всеми, а потом исчезал неведомо куда. Впрочем, он и раньше частенько манкировал и вместо Института просиживал в Публичной библиотеке.

Была прежде далекая, совсем за городом, Трехсвятительская улица, на ней в конце — старое кладбище. За какой-нибудь десяток лет — эти захолустные места и не узнать. Улица переименована в Комсомольскую. Кладбище закрыто. Собираются сравнять с землей и устроить там Парк Культуры и Отдыха. Ветхие мещанские домики почти все снесены, на их месте появилось шесть или семь длинных бело-серых цементированных четырех-этажных коробок. Внутри по коридорно-гостиничной системе сотни голеньких комнат — на три-шесть коек. Вмещалось там несколько тысяч студентов различных ВУЗ'ов и техникумов.

И название особое придумали — Студенческий Городок.

Обычно нижние этажи предоставлялись женскому полу, верхние — для парней. В зависимости от заботливости и от вкуса обитателей из городков, сел и деревень — в комнатах налаживался «уют». У студенток пококотливее — занавески, ажурные скатёрки, накидки на подушках и фотографии или цветные открытки по стенам над кроватями. У парней это бывало тоже, но чаще без прикрас: койки под бурыми одеялами, деревянный стол с фанерной доской, а на ней — чернилами, карандашем, а то ножиком вычерчивались инициалы, надписи, — да корзинки или чемоданы под койками. Бывало, зимой излучалось разнеживающее тепло от радиаторов, но во время частых перебоев с топливом обитатели сидели в пальто. Накуривали до сизости, от этого казалось теплее.

Алёша Кузмичев жил с двумя товарищами, и все трое были разные и нелегко сходились друг с другом. Старостой числился Егор Гуля, косолапый и громадный детина с красными руками. Из колхозников. Учился он немецкому языку с остервенением, зубрил слова со сквернословием, вешал над кроватью выписки из словаря и, одолев их, комкал и уничтожал с ненавистью. Попал он в Институт по разверстке, а интересы его были явно автомобильного уклона, но уж раз попал «на языки», — учи; вот он и учился добросовестно, с упорством и достигал успехов, за исключением произношения, что, по его мнению, было ерундой. Он орал на сожителей,

когда комната превращалась в свинушник, открывал форточки, подметал середину комнаты, загоняя сор под койки, лишь бы не видно было. По субботам и воскресеньям ходил в цирк или в кино, а то лежал на кровати босиком и, перебирая громадными пальцами ног, со вздохом говорил: — «Эх, до баб пойти, что ли?» — Когда решение это созревало окончательно, надевал одну и ту же клетчатую праздничную рубашу, синие брюки с отчаянным морским клёшем и отправлялся «до баб», обычно не из числа студентов.

Второй — был «француз» (даже звал себя — Жан) — щупленький, востроносенький, с тонкими почти невидными губами и безбровый. Он — из какого-то небольшого городка, сын мелкого служащего Финотдела. Учился порывами, ловко схватывал французские интонации, раздобыл «Трех мушкетеров» в подлиннике и упивался ими. Очень уважал чинопочитание и любую директиву считал аксиомой. Он-то и занимался рисованием тех картинок, которыми украшались стенгазеты в Институте. Был у него и своеобразный «частный» заработок: он раскрашивал фото-портреты для студенток, иногда рисковал даже писать акварелью с натуры.

Алёша перебрасывался со своими сожителями несколькими словами и то больше в ироническом тоне — не то из внутреннего чувства превосходства, не то по свойству характера: умел всегда зацепить смешную сторону.

Начал он учиться немецкому языку, но через год перешел на английский сектор и на первых порах удивил всех и памятью и работоспособностью, а потом заскучал, заленился, стал неакуратен и потянулся к бутылочке. Стипендия у всех — еле прожить. Тем, кто получал подсыпку из дому, было еще туда-сюда, а без подсыпки — того и гляди на последнюю декаду месяца ни шиша не останется. С Алёшей это и случалось, да не только на декаду, а и на пол-месяца. Выпивал он в одиночку, где — неизвестно; впрочем, Егор, махнув однажды щёткой под алёшину койку, зазвенел бутылкой, но когда именно Алёша «воспользовался» у себя в комнате — неведомо.

А было в Алёше что-то притягательное. Особенно, две черты: оригинальность мысли, смелость которой нет-нет да и посверкивала в его репликах и способности к стихотворству. Ловко клепал вирши. И злые. Вначале ему заказывали «сатиры» для стенгазеты, но потом он стал подводить: пообещает и не сделает (а вот, почему?), а когда появились у него академхвосты, когда он застрял на втором курсе чуть ли не на второй год, и ему дали в наказание половинную стипендию, его нарочито отставили от редколлегии: должен же он опомниться и человеком стать! Сын заводского мастера-слесаря, давно уже умершего, круглый сирота, он некоторое время воспитывался в детдоме, учился в семилетке, в педтехникуме и попал сюда. Чудак-парень, с сумасшедшинкой, а... симпатичен, ну что ты скажешь?! Чем он дышит? «Жан» — сожитель — угодливо сообщал в комсомоле, что ничего не вымотришь в алёшином сердце; а куда он частенько исчезает? Проследил Жан, но дальше Публичной Библиотеки ничего не заметил. Там Кузмичев днюет, а если бы библиотека ночью действовала, то, пожалуй, и ночевал бы.

Скучно было Алёше на лекциях. То ли дело — библиотека. Как только он входил туда по мраморным ступеням, крепко положенным еще в середине прошлого века, как только сдавал пальто в раздевалке старушке с черной кружевной наколкой, сохранившейся еще от старого режима, и попадал в просторный читальный зал, где вечером горели лампы под глубокими зелеными абажурами, и когда он получал желанную книгу да усаживался с нею на удобный стул, — сразу оказывался в очарованном мире.

Тихо. Шелестят перевертываемые страницы. Сдержанное покашливание. Осторожный шопот встретившихся всегда-таев...

Там он проглотил Достоевского, которого почти не было в институтской библиотеке, там подружился с дьяконом Ахиллой Лескова, там раскрывались перед ним почтенные тома незатейливой «Нивы», свидетельницы недавней истории, с портретами царя, Столыпина, Витте. Кто такой Столыпин? Кто

это Витте? Надо было узнать. И по справочникам, по старым энциклопедиям, даже по предреволюционным газетам узнавалось многое. Выразительно возникали живые облики, затертые сегодняшними казенными схемами. Вырисовывалось это необычайно интересно (куда там лекции!), неожиданно-остро, потому что — «наоборот». Наскочил на цитату из Ренана. Кто такой Ренан? Розыски. Так, вероятно, археолог обнаруживает при раскопках в иероглифической записи, при мумии какого-нибудь Рамзеса, живую картину минувшего и ходит мыслью рядом с людьми, страдавшими, любившими, желавшими, боровшимися... и, как полагается всем людям, даже и великим, стертymi жесткой ладонью времени, сброшенными если не в небытие, то в забвение. Дерзостно вызывать тени прошлого, грустно слышать их сетования, надежды, — и на минутку покажется, что они не «были», а «есть»...

Ренан повлек за собой Библию, Евангелие. Как их достать?

Алёша подал записку на Библию. Через четверть часа услышал ответ:

— Принесите отношение от кафедры Вуз'а. Вы для научной работы? Да, только таким путем. Вообще — не выдается.

Алёша с досадой повернулся к стоящему за ним в очереди и встретился глазами со стариком в потертой бархатной блузе. Фигура эта и прежде мелькала перед Алёшей и казалась очень «нафталиновой». Старик слышал разговор с библиотекарем.

— Библию так просто не получите, молодой человек, — сказал он, медленно произнося слова, — а вы в самом деле интересуетесь Библией? Знаете что, отойдем-ка немного в сторону, а то, видите, за нами очередь, мы мешаем.

Отошли.

— Видите-ли, молодой человек, можно упростить... ускорить досадную процедуру, и Библию вам дам я. Хотите?

Алёша хотел. Хотел искренно. Но еще больше хотел узнать, кто этот старик?

Через час он медленно шел с новым знакомым, подделыв-

ваясь под неровную и трудную его походку. Оказалось, что это «отставной» профессор Нозинский, живший сравнительно недалеко от библиотеки в полузабытом маленьком переулке со странным названием «Дикий». Не скоро дойдет очередь до этого переулка, пока он обретет новое название. Тупичек с четырьмя домами. В крайнем была квартира Нозинского. То-есть, собственно говоря, — комната в бывшей его квартире, уплотненной еще в двадцатых годах, да отвоевана была маленькая самостоятельная кухонька — неслыханная роскошь. Теперешняя жилплощадь — бывшая просторная столовая с венецианским окном. Там были остатки столовой мебели, несколько книжных шкафов из кабинета, за шкафами что-то вроде спальни, остатки будуара, тумбочки, этажерочки, три-четыре шатких стула, в углу — письменный стол. Отапливались круглой железной печкой с длинной трубой, выведенной в окошко. Всё поистрепалось, облупилось. Теснота. Между вещами узкие проходы-зигзаги, так что не всегда пройдешь прямо, а — бочком.

Алексей Васильевич Нозинский, незадолго до революции получив докторскую степень, получил и кафедру, читал «энциклопедию права», слыл либералом и пописывал в «Русских Ведомостях». В весенние дни 1917 года ходил с алым бантиком, говорил счастливые речи на собраниях. Проходя как-то в эти радостные дни по базарной площади, попал он в обычную в то время уличную перестрелку: милиция ловила не то бандитов, не то анархистов-индивидуалистов, террористически ездивших в грузовике по городу, с винтовками и с пулеметными лентами крест-на-крест на груди, — бандиты, кажется, все уцелели, а профессор получил ранение в голову.

Больше полугода пролежал после операции в больнице, медленно и трудно приходил в себя, и, в конце концов, оказалось, что стал инвалидом: походка неверная, без палки — никуда, странные провалы в памяти и частые припадки отчаянных головных болей, когда лежал пластом, стиснув зубы, чтобы не стонать.

Анна Сергеевна, жена его, оказалась выносливой и стой-

кой. В прошлом — бестужевка и немножко «синий чулок» в пенснэ, мало понимавшая в хозяйстве, она подружилась с кастрюльками, пенснэ сменила на очки, бегала за продуктами, продавала на рынке вещи, начиная от итальянских статуэток и страусовых перьев — до старых ботинок и белья, и выхлопотала мужу пенсию от Соцобеса, крошечную, но с голоду не померли, — отстаивала жилплощадь. Но всё равно, будь даже Нозинский здоров, — негде было бы ему читать свою энциклопедию права. Университета не было, и ни в каком Вуз'е их города юриспруденция не была нужна.

В те дни, когда лучше себя чувствовал, он усердно посещал Публичку и, извлекая там из архива документы столетней давности, трудился над ними, что-то выписывал, сопоставлял, обдумывал, и, бывало, казалось ему, что после библиотеки пойдет он читать лекции, что ничего не произошло, потом вечером сядет писать статью... О чем? О каких правовых проблемах, когда на его глазах, наивно-удивленных, все они провалились в тартарары и жданное обернулось нежданым?..

Желая помочь Анне Сергеевне, он делал кое-какие покупки, стоял в очередях, а когда голодуха совсем подтянула животы, отправлялся на базарную площадь — продавать то простыню, то кальсоны крестьянам, с высоты величия своих возов небрежно разглядывавшим просительных горожан и их товар. Как-то за приличную простыню он принес полтора стакана пшена, и Анна Сергеевна расплакалась, целовала его в висок со шрамом и приговаривала: — Алёша, не барышник ты, голубчик, не ходи менять, не надо...

Положение их в дальнейшем улучшилось неожиданным образом.

Как раз в самую революцию единственная дочка их, Ириночка, хорошенькая, нервная, скоропалительная, «чего моя нога хочет», — уехала в Петербург на драматические курсы. На полтора года они были совсем разлучены с нею. Ни от нее писем, ни от них. А профессор как раз в больницу попал. Где закурилась Ириночка тогда, так и осталось неясным.

Вынырнула она, когда в их городе окончательно засела советская власть.

Приехала Ириночка повзрослевшая, похудевшая, словно оципанная, но характером не изменившаяся. Не то кончила она школу, не то нет, но говорила о полу-фантастическом ангажементе на Урал и в Сибирь с каким-то конструктивно-биомеханическим театром «Красное Знамя». Готовили пьесы с декорациями-лестницами, играли в синей прозодежде и пароксизм страстей и эмоций выражали прыжками, сальто-мортале и бегая на руках, вверх ногами.

Приехала, посмотрела на оставшуюся у папы и мамы жилплощадь, увидела папу в шелковой тюбетеечке, чтобы глубокий шрам прикрывать, и всплеснула ручками. Всплеснула ручками и расплакалась. Через полчаса, впрочем, рассказывая с упоением о своих ролях, проделала между столом и шкафом замысловатый курбет, потом опять всхлипывала. И хоть любила маму и папу, но долго оставаться с ними не могла, продала на рынке мяснику золотую брошечку, половину денег оставила своим, на другую — уехала в Сибирь, откуда изредка присылала ласковые письма с поцелуями-приписками на полях и из всех знаков препинания признавала только восклицательные. Поскитавшись несколько сезонов, мотнулась в Москву, танцевала и пела на эстраде и... вдруг — словно выстрелило — с блеском сыграла роль в фильме, потом вторую...

И помимо писем мама и папа могли уже из газет знать, что дочка стала одной из звезд советского экрана.

Старики два раза видели ее в кино и, так как впивались именно в ее эпизоды, не пропуская ни одной секунды, остальное не очень ясно восприняли, дома спорили. Пришлось Анне Сергеевне для проверки идти повторно.

Лет через пять приехала Ириночка на две недели к своим, но как!

Подъехала на такси. Чудесные заграничные рыжие чемоданы. Беличья шубка. И из шатенки превратилась в соломенную блондинку, у которой всё было рассчитано: прядка-локон у виска и брови, румянец и губы и выхоленные ногти-минда-

линки на пальчиках, — всё было ириночкино, но в то же время не ириночкино, ненастоящее, сделанное, однако, без тени вульгарности.

Платья — смесь простоты и замысловатости, вопреки моде и рождающие моду. Издали — фарфоровая статуэтка, выдуманная прелестница.

В городе узнали об ее приезде, на улице шли хвостами, нарочно громко называли ее фамилию и жадно разглядывали с головы до ног.

Она съездила к «отцам города», трепала по плечу секретарей парткомов, пронзительно смотрела затяжным взглядом из-под наивно поднятых бровей и наладила дело так, что профессору дали академическую пенсию в 300 рублей в месяц, чего никак не могла добиться Анна Сергеевна.

Отец расспрашивал ее о жизни в Москве и о том, что она думает о нынешнем устройстве. Ириночка поднимала на него милые глаза и с удивительной искренностью отвечала: — А я, папочка, не думаю... вообще, не думаю, — не умею. Кажется, это даже хорошо, папочка.

Двух недель не провела она, уехала на десятый день в Гурзуф, откуда умолял телеграммой какой-то друг с четырьмя ромбами. Оставила родителей еще ненасмотревшимися, грустно-умиленными, и на письменном столе старика чуть не месяц лежал нетронутый забытый ею крошечный платочек — больше прошивок, чем батиста. От платочка долго тянул тонкий-тонкий запах, дразнящий и... греховный...

Отец чаще матери мечтал лирически об Ириночке, поглядывая на десяток фотографий на письменном столе. Нужно было известное напряжение памяти, чтобы в полу-чужом, в необычном ракурсе схваченном лице увидеть настоящую, свою дочку.

Анна Сергеевна смотрела на карточки мельком, когда вытирала пыль, а так как профессор по старой привычке не любил прикосновений к своему столу, то происходило это не так уж часто. Впрочем, как-то так вышло в жизни, что любила она Ириночку на втором плане. На первом был Алексей Василь-

евич, а уж после катастрофы — в нем был единственный смысл ее жизни. Это не сказывалось в избыточной ласковости или в нежных названиях, — к ним Анна Сергеевна не была склонна; в другом: в постоянной осознанной или подсознательной тревоге: где он, что с ним, и хоть он обычно тут вот, рядом, а ей надо всё-таки высунуться из-за шкафа да глянуть. Если ушел, — сколько осталось до того, как вернется, — уж не приключилось бы с ним что-нибудь в дороге. Ночью ее охватывало мучительное предчувствие, она садилась в кровати и прислушивалась, почему Алёша так слабо дышит, в особенности после припадков, да дышит ли он? Через штору светил уличный фонарь, и, как в сумерках, различались очертания лежащего. Если не слышно, то надо увидеть, не поднимается ли слегка на его груди и животе одеяло. Иногда казалось, что всё недвижимо. Анна Сергеевна вставала, босая, неслышно склонялась над его головой и, замирая, глядела и слушала... Господи, дышит ровно и спокойно спит! Ну, спи, спи...

Счастливая укладывалась в свою остывшую кровать, но от волнения теряла сон и призывала его перечислением дат из хронологической таблицы Меровингов и Каролингов, которую в юности вызубрила навсегда.

Самым огорчительным было то, что Алёша скучал. Паллиативом против скуки были не имеющие цели и конца разыскания в библиотеке да мелкие хлопоты по хозяйству, вырвавшие в его воображении в ответственные и важные задачи; он, например, с вечера озабоченно записывал на бумажке, что завтра утром надо вынести помойное ведро, а на утро, проснувшись, прежде всего шел к листку — вспомнить утреннюю «нагрузку». Это словечко да и кое-какие другие незаметно приклеились к его изысканной речи, перестали быть странными. Но всё, что было в жизни, неизменно казалось нереальным. С Анютой они говорили, конечно, негодовали, удивлялись. А с кем можно было побеседовать еще?

Старые коллеги или умерли, или уехали или забыли его. От безлюдья была скука.

Анна Сергеевна немало была удивлена, когда увидела вернувшегося из библиотеки Алёшу с каким-то молодым.

— Это, Анюточка, студент, и я хочу ему дать Библию.

Бегло взглянув на студента, Анна Сергеевна схватила самое общее, что бросается в глаза в первый момент, — в данном случае — бесшабашный взгляд и русые вихры.

Алексей Васильевич рукой предложил гостю войти в комнату и сесть на стул, сбоку письменного стола, а сам открыл шкаф, порылся среди туго набитых книг и вынул Библию. Специальной старинной мягкой щеточкой смахнул пыль и протянул студенту.

— Спасибо, папаша, — с чувством пробасил Кузмичев.

— Э-э, нет, — усмехнулся профессор, — это не годится, называйте меня — Алексей Васильевич, а вас как прикажете величать?

— Алексей Кузмичев.

— А отчество?

— Васильевич.

— Чудеса! — профессор даже развел руками: — редкое явление, мы с вами полные тезки.

Слово за слово, и Кузмичев в беседе становился профессору яснее, удивился только старик тому, что студент учится в Институте иностранных языков.

— Почему вас прельстил английский и для какой цели?

Оказалось, что цель была расплывчатой. Интересуется, мол, иноземной литературой... и, кто его знает, может быть, удастся побывать за границей.

— Иностранная словесность — объект заслуживающий внимания, а вот поездка за границу... (профессор задумчиво пожевал губами) — трудновато по нашим временам.

— А потому-то и интересно. .

Библию, портативного размера, но толстенную, завернули в газетную бумагу, и Алёша обещал вернуть ее через месяц.

Однако, когда он вышел на улицу, то сразу же оказался в недоумении: где же читать эту самую Библию? Ни Егору,

ни Жану нос в это совать нечего. Совершенно ясно, к чему это поведет. В Институте тоже не пристроишься. Читать что ли в каком-нибудь парке или сквере? Осень, дождливо, холодно. Поехать на вокзал и там в зале ожидания пристроиться? Нет, много не начитаешь, всё мешает.

Поэтому Алёша попробовал в первый вечер засесть в одном из отделений уборной общезития, но больше трех-четырех страниц не осилил.

Анна Сергеевна допытывала мужа, не сделал ли он faux pas, предложив неизвестному студенту Библию, но Алексей Васильевич рукой махнул: преувеличенные страхи. Это не убедило Анну Сергеевну, и она полночи размышляла на эту тему.

К обеду следующего дня вдруг появился Кузмичев с Библией и откровенно рассказал, что читать ее негде.

Профессор вник в обстоятельства, долго и с увлечением беседовал со студентом на разные темы, вспомнил, между прочим, как в молодости он ездил в научные командировки в Берлин и в Париж, показал альбомчики с видами, воодушевился (Анна Сергеевна, накрывая на стол, заметила у него особый блеск глаз) и, в конце концов, предложил Алёше в свободное время приходить к ним и читать Библию, ему и местечко сбоку письменного стола уготовано. Радужно пригласил Алёшу остаться у них пообедать. Алёша застеснялся, отнекивался, но всё-таки остался... и с той поры стал частым посетителем у Нозинских.

Библия была прочтена и вызвала миллион вопросов. Профессор сыпал объяснения, рылся в справочниках. Оба пришли к выводу о ценности ее как исторического памятника. Получился чуть ли не университет, — так много узнавал Алёша попутно. Алексей Васильевич сверкал былым красноречием, Анна Сергеевна сияла горделивой улыбкой: — что-то живое вернулось в их бытие, и Алёша был уже не чужой.

Евангелие он принял по-своему, — было и уважение, а вместе с ним — настороженное что-то: из-за старинных слов, притч — брызнуло на него горячими лучами величественной

Любви, он только растерянно искал в прошлом и настоящем примеров действенного и гармоничного *применения* этой Любви. История обычно рассказывала о нескончаемой ненависти и вражде.

Ему было безразлично, как принимать идею Богочеловека — иносказательно или реально. Гораздо важнее звучала проповедь, никогда не стареющая, — взаимного блага без ненависти и страха.

Алёша чувствовал себя, как у родных. Ему хотелось выразить посильнее свою благодарность. *Доверие* — вот что согревало его. Он старался им помочь. Как бы невзначай, устраивал он им доставку топлива, колол дрова, чинил двери, вмазывал стекла, вызвался даже натереть пол, но Анна Сергеевна пришла в ужас от невероятной возни с вещами при этом. Приносил он с собой всякие пустяки: какие-нибудь селедочки, кислую капусту, карандаши, крем для ботинок, — что попадалось, и вручал со словами — «это — для анализа» и с такой физиономией, что старики не решались отказать, обидеть его. Привязались они к нему. Зная уже обстоятельства его жизни, неприятности в Институте, уловив его неровный, склонный к риску и поступкам наперекор характер, пытались «обуздывать», а он только смеялся. Мечтал он о далеких краях, фантазировал, не махнуть ли ему в мореходную школу. Институт стал ему в тягость.

Как-то раз он решился и открыл, по-девически конфузясь, свое сокровенное: прочитал им сборничек своих стихов, переписанный в тетрадку от руки печатными буквами. Алексей Васильевич уловил в стихах «что-то». При несовершенной технике была свежесть, горячность, в особенности в сатирах, в эпиграммах.

Была у профессора старенькая забытая пишущая машинка. Алёша пристроился печатать на ней. Переписал весь свой сборник.

Слушая его «сатиры», Анна Сергеевна качала головой: — У тебя, Алексей, могут быть неприятности (муж у нее Алёша, студент — Алексей).

— Ничего, тетя Анют, это мы с пеленок знаем... А зато отшлепаешь в стихах — перестаешь злиться. Иной раз от злобы задыхаюсь..., а вот любить и прощать — никак не научусь. Да где научишься? В нашенской жизни?.. Слушаю я, слушаю вас, читаю, читаю о прежнем... Неужто лучше было? Или это только кажется, потому что нет этого прежнего уже?.. Ух, когда-нибудь сорвусь с языка, наговорю!..

...Поздно уже. Профессор позёвывает. Не хочется Алёше уходить из этого мира, но... Он махал рукой, ерошил вихры: — Ну, потопаю в свою берлогу.

— Раздвоенность, — решал профессор. Анна Сергеевна молчала, мыла чашки и блюда. Потом, остановившись с полотенцем в руках, шопотом ужаснулась:

— Ведь погубит он себя с таким характером! Отчаянный!

9

Всю ночь летели с низкого неба хлопья снега — и на утро город ровно укрыт белым. Ноябрь, — пора зиме начать властвовать.

Глянули горожане в узор подернувшиеся окна и умилились: под солнцем сверкает нарядная чистота, и боязно — а вдруг к полудню развезет, — снова лужи да сырость, да серый цвет. Нет, — оказалось — под ногами утаптывается, поскрипывает, на мостовых — борозды от колес и от полозьев держатся крепко. Настоящая зима.

Глянул и Зенф в окошко, ухмыльнулся, поскреб ногтем ледяную пленочку на стекле. Вспомнилось, как у себя в горах такую белизну видал и на лыжах мчался, с холма на холм. Здесь вот ровно, гладко. Попробовать бы.

Суббота. Через спортивный сектор Института узнал, что можно и лыжи достать.

Разыскал Нинель в коридоре. В уголке: — Можете schilaufen?

Нет, она не умеет.

— Научитесь. Поедем сегодня туда, в лес.

Как же быть? Ведь она обещала в Мукомольном поговорить насчет обще-институтского спектакля, новая форма культ-массовки... Задумалась. Да как вскинула глаза на Зенфа, увидела полуоткрытые крепкие губы, горячий взгляд, веселую бородавочку у мочки ладного уха, — всё по-боку, всё то — неважное, неглавное, лыжи — важнее всего, собственно не лыжи, а... словом, — «я хочу» — с двумя ударениями: «я» (не кто-то, не для кого-то — я) и «хочу» (не «должна»)...

...Это было нелепо. Может быть, так, как у ребенка, который делает первые страшные, первые упойительные шаги, двигаясь в побеждаемом пространстве с протянутыми ручками: вперед!

Было и досадно и даже стыдно: падает, порошится в снегу. Неуклюжая. А пробует еще и еще, хочется победить и себя и лыжи, хочется, как Зенф, и рядом с Зенфом, мчаться — вперед!

Часа через два — не быстро, еще осторожно — с напряжением всех мышц — уже идет рядом с ним, раздумяившаяся, с растрепанными волосами из-под беретика. На нем и на лице снежная пыль, превращающаяся в мелкие капельки. Вязаные перчатки мокрые. На коленке ссадина.

Лес — неузнаваем. Речка как будто и прежняя, а всё-таки другая. Еще текут, морщатся струйки посередине, в рамках тонкой ледяной корки.

Пришли к тому поваленному дереву, где сидели в последний раз; протоптали глубокие ямки в снегу, вон как они шли — виден далеко четверной пунктир: две ямки пошире, две за ними — помельче, поуже. Лыжи тащит уже на плече Зенф. Смешной он без шапки, всегда — «без», но на этот раз напялил германские синие вязаные полоски-переплет — крест-на-крест, а из дырок волосы топорщатся. Кончики ушей проглядывают красные, а говорит — жарко.

Похлестал перчаткой по бревну. Присели на обесшнуженную кору. Смотрят друг на друга, ничего не говорят. Странно, — сдается, что говорят и понимают то, что молча говорят...

Нинель села поглубже и сморщилась, — колено забо-

лело. Он заботливо нагнулся: — Blutet's? — И она легко и просто подняла повыше юбку, отстегнула сбоку пряжку подвязки и спустила чулок, и, вот странно, — вовсе не стыдно: вынырнуло нежное колено с глубокой царапиной, размазанные капельки крови: пустяки!

Он комочком снега потер вокруг ранки, приложил маленький ее платочек и сам осторожно натянул чулок и застегнул подвязку, а она уже юбочку поправила — не от стыда, — от холода.

Закурил папиросу; сизоватый дымок, слабой радугой играя в солнечных зайчиках, потянулся тающими вкусными полосками в упругом воздушном морозце.

Нинель вдруг протянула руку: — Дайте, я попробую. Он полез за другой папиросой.

— Нет, — эту.

Из его губ слегка влажный мундштук переключал к ней. Горький дым. Вдохнула и до слез закашлялась. Смеялась и кашляла. Опять потянула в себя несколько раз и вернула папиросу ему. Посидела, улыбаясь, и вдруг замутило, закружилась голова, руки и ноги онемели, и она уткнулась в плечо Зенфа.

— Tief atmen, tief atmen, — советовал он; придерживал крепко, ласково. Не освобождаясь, а только подняв голову к его лицу, глубоко она дышала, дрожали ее розовые губы, вздрагивали ресницы полузакрытых глаз. Еще крепче прикурнула она, виновато улыбнулась, «Отто» — шепнула, прерывисто глубоко вздохнула, закрыла глаза и потянулась к его лицу...

...Ноябрьское солнце недолгое. Зенф хотел сделать на обратном пути еще один моментальный снимок. Нинель была в восторге, сюрприз был великолепен: на днях Отто купил фотографический аппаратик, правда — пластиночный, старинный, но всё равно сегодняшние снимки особенные, единственные. Пять раз фото сделано: Нинель на лыжах, Нинель

в сугробе, Нинель в лесу, один раз — Отто верхом на пушистой белой ветке, на дереве. Еще одна касета в запасе. Вот здесь, недалеко от товарного вокзала так живописно: маленькой аркой перекинулся мост через плоскую речку, выбежавшую из леска! Сейчас пройдет поезд, слышен уже, приближается. Нинель побежала к полотну, чтобы быть деталью на общем пейзаже.

Паровоз выдыхал грязно-белую комканную вату из коротенькой трубы, низкое солнце выкрасило палевым цветом снег и рассыпалось двигающимися вспышками, ударяясь в стекла вагонов.

Щелк! Fertig!

Зенф складывал аппаратик, Нинель стрелой мчалась к нему...

— Эй! Пст! Эй! — звал их милиционер, притоптывавший замерзшими ногами на площади. Не дожидаясь Зенфа и Нинель, пошел к ним навстречу. За несколько шагов до них строго спросил: — Что вы, граждане, производили?

Нинель быстро шепнула: — Погоди, я поговорю с ним. Самоуверенно и тоже строго: — Мой товарищ снимал *меня*.

— Документы, — кратко отрезал милиционер и подозрительно ощупал глазами фигуру Зенфа, в особенности — его вязаный ажурный шлем.

— Что-о?! — повысив голос, закинула голову Нинель.

— Документы, — упрямо повторил милиционер.

— При чем тут документа? — вспыхнув с презрением, проговорила Нинель.

— Снимать в этом районе воспрещено, — железная дорога, сами понимаете, засекречено.

Нинель достала из карманчика комсомольский билет и справку от ГорКСМ-бюро. Милиционер прочитал и потребовал паспорта у обоих. Нинель рассердилась:

— Что за чепуха! Вы что ж, не видите — кто я?

Зенф вытащил свой партийный билет. Милиционер упрямо настаивал на паспортах. Видно было, что он уязвлен

тоном Нинель, а поэтому хочет выполнить инструкцию по всем правилам.

Паспорта были осмотрены, их №№ и фамилии записаны, место службы Зенфа тоже. В назидание была еще прочтена нотация: — Сознательные партийцы здесь и не подумали бы заснимать. Я бы по правилам аппарат должен забрать, но разберутся в этом кому нужно. Идите уж...

Первый квартал шли молча. Нинель поглядывала на Зенфа и видела, как играют желваки у него на челюсти... Но... в сущности... какая ерунда, всё это яйца выеденного не стоит... Ей ясно представилось, как будут смеяться, увидев ее фамилию...

Под руку с Зенфом она стала маршировать, как и он, крупными шагами. Взяла у него аппарат, потому что довольно с него и двух пар лыж на плече.

Через десять минут оба смеялись над приключением, снова вернулись мыслью и чувствами к тому, что было в белом лесу, и это было самое главное. Остальное — право же не важно.

Когда добрались до комнаты Отто, Нинель вошла в нее, как в свой неотъемлемый уют.

По первопутку тропку протопал почтальон в валенках и бросил в щель двери повестку доктору Лысичу об авио-письме из-за границы.

Леонтий Андреевич вечером поджидал Нинель, чтобы вместе погадать, что еще придумал «американский дядюшка», но после двенадцати лег. Проснулся в три и решил, что проворонил стук двери, когда она вернулась. Утром же заглянул в ее комнату: пусто. В первый раз она не ночевала дома.

На почту прогулялся бодро, легко дышалось на морозце. Солнце.

Письмо прилетело через десять дней. Нет, Яков ничего не понял или не хотел понять, уцепился за какие-то зовущие слова племянницы, к ней больше и обращался. Дело его

двигалось скоро, но ему не терпелось, хотелось еще быстрее. Удивился опасениям Леонтия: он совсем не больной, климат ему не сделает вреда. Уже заказал билет на пароход. Лучше ехать до Гамбурга, оттуда поездом. Встретить новый год вместе — не выйдет. Встретятся, повидимому, в начале февраля. Машины — можно! Их уже упаковывают. «Новый год вам и новое счастье всем нам троим».

После поликлиники и перед обходом пациентов опять заглянул домой. Нет, Нинель, видимо, не приходила. Позвонил из поликлиники в Институт, — была ли студентка Лысич на занятиях? Была. Гм.

Вернулся домой. Нет ее. Водрузил чайник на примус, очистил несколько картофелин, привычно нарезал на тонкие ломтики, поставил на заслуженной черненькой сковородке (еще при Рае была) жариться и вслух приговаривал: «что-то неладно»; зашепелявило, зачмокало и зафыркало, горелый чадок тянул от примуса, — надо приоткрыть форточку («что-то неладно»), полез на стул, форточка примерзла, секачкой поддел в щели, — мороз дунул крепкой струей. Слез со стула, ан глядь, в дверях Нина в мышинном беретике. Глаза большие, серьезные, тревожные.

— А я по тебе соскучился.

Поцеловала его холодными с мороза губами и села на стул, как гостья.

— Что, устала? Что ж ты не раздеваешься?

— Ах, да, я сейчас, — спохватилась, вспорхнула, стала снимать пальто и ушла к себе в комнату.

— А Яков опять письмо прислал. Он всё-таки собирается сюда, — вдогонку крикнул Леонтий Андреевич.

Нинель почти сейчас же вернулась: — Так торопится? Ну, я ему... еще написать ему, чтобы обдумал? — В голосе ее послышалась незнакомая растерянность.

— Теперь, пожалуй, не к чему, дружок. Да и как напишешь, да еще ты? Нет, с этой новостью надо примириться, авось, не так худо всё обернется...

Нинель вдруг проворно схватила тарелку, ножик, вилку,

хлебницу, всё поставила на стол, ножом отодрала пережаренную картошку, сбросила на тарелку: — Садись, садись, ты ведь голодный... А у меня тоже есть новость, с которой тоже надо... примириться... я жена Зенфа.

Леонтий Андреевич застыл на мгновение. Побледнел. Нинель почему-то съежилась, вот сейчас на нее посыплются удары — слова, и даже руку подняла, словно готовясь к защите...

Отец взял ее голову, посмотрел в глаза внимательно, долго... и ласково поцеловал в лоб: — Ну, будь счастлива.

Нинель глядела на него, улыбалась сквозь слезы и крепилась, как бы по-настоящему не разреветься.

Конечно, не совсем ладно всё складывалось, по мнению Леонтия Андреевича: сошлась Нина с Отто, человеком, видно, не плохим, но нездешним да и значительно старше ее, расписываться в ЗАГС'е решила только весной, по окончании учебного года, жить будет она то у него, то здесь. Поняла (может быть, под влиянием Зенфа?) свою ошибку насчет Якова и мучилась теперь, не зная, как исправить, стали тяготить ее бесчисленные общественные нагрузки: слишком много от них неприятностей (и это для нее неожиданность)... Ее серенький беретик сновал теперь туда, сюда; она разрывалась на части, она восхищалась Отто и, такая самостоятельная прежде, не замечая, перенимала его манеры. Оказывается, тянуло ее и к Леонтию Андреевичу, — удивительно! А тут еще приближались зимние экзамены, и она, при выработанной в ней добросовестности, чувствовала, что у нее слишком много пробелов, запусков.

Когда ночевала у отца, корпела чуть не до утра над книжками и тетрадками, похудела, но разве ее образумишь?

Зенф, несколько смущенный, явился через несколько дней. Первые минуты был настороже. Искреннее радушие доктора, с еле проглядывающей грустью, вернуло ему и даже удвоило веселую приветливость, интересную разговор-

чивость. Нинель же только переводила глаза с одного на другого и хозяйничала по-настоящему, ретиво готовила семейный чай.

Было у нее чувство, что вот несет она в руках зажженную свечку, пламя робкое, колеблющееся, и она ладонью закрывает пламя, чтобы разгорелось сильнее и увереннее и чтобы не дунул злой ветер со стороны.

10

В городском театре была объявлена премьера — «Коварство и любовь» Шиллера. Говорили, что спектакли в этом году неузнаваемы: приехал новый хитроумный режиссер, вступили в труппу новые сильные актеры, в особенности — какой-то Агаров.

Нинель из-за хлопот и дел не была в этом сезоне еще ни разу в театре, а тут и Зенф заинтересовался: — Шиллер на русской сцене!

По его инициативе почти весь немецкий сектор Института закупил удешевленные места в амфитеатре, а для себя и Нинель Отто заказал в пятом ряду партера, чтобы всё лучше видеть, слышать и понять.

Нинель решила, что ей надо привести себя в порядок. Как-то так незаметно она вообще стала чаще поглядывать в зеркало. Вдруг решила переделать прическу. Зенф похвалил. Рвение ее удвоилось. Раньше она не замечала, что левая бровь капризно пушится у переносья, что ей лучше откидывать волосы, что и зимой проглядывают веснушки.

Для театра оказалось необходимым смастерить себе темное платье.

Смотрела-смотрела в зеркало и прикидывала, какой воротничок подходит больше — углышками или овальный, да вдруг рассердилась: — Да что я, право, чепухой занимаюсь, с ума сошла! Ну вот, какой рука нашупает, тот и надену. Зажмурилась и вытянула овальный, но сейчас же вспомнила, что

Отто хвалил углышками, ну, значит, — углышками. Нарядилась и, нахмурившись, повернулась направо, налево... Гм... Как будто, ладно сидит, а лицом осталась недовольна: странно всё-таки, ведь есть много красивей меня, почему же для Отто — именно я? Губы бледноваты и сколько их ни кусай — ярче не становятся. Чуть-чуть подвела помадой, — кажется, лучше (а знала, губы — ее украшение).

Почти вбежал Отто, бросил портфель на стул, скинул пальто.

— Одевайся, одевайся, Отто, — подогнала его Нинель всё еще у зеркала.

Он глянул на нее, с ног до головы, прищурился и ахнул: — Wunderschön!

Тормошил ее, а она, счастливая, отмахивалась, как от пчелы: — Отто, руками нельзя трогать... Ohne Hände!

...В театр поспели во-время. Публики навалило — тьма. Все места заняты.

Нинель понюхала воздух: — Отчего это в театрах всегда как-то особенно пахнет?

Из-за барьеров ярусов и лож, похожих на нарядный крем-овый торт — с выпуклыми завитушками, с позолотой, в мягких складчатых рамках голубых занавесок, — всюду головы, головы, и всё в движении, в улыбках, — празднично.

Отдувается бархатный занавес, тянет со сцены прохладным током; текут в воздухе разные запахи — и приторно-парикмахерский, и свежесть дорогих духов, и конфетный и что-то еще, что всегда бывает в громадных помещениях, не знающих солнечного света. Шелестят юбки. Бежит шумок по рядам, стучают откидываемые сиденья кресел. Протираются бинокли, программки рассматриваются с любопытством. Даже привычные завсегдатаи и те в некотором предвкушении: премьеры.

Всё-таки, Отто, это странно, — размышляет Нинель, прижавшись локтем к его руке, — странно: там, за кулисами, такие же, как мы, теперешние люди переодеваются в старинные костюмы, надевают парики, а вот многие, иногда и все из этого зала на какую-то секундочку забудутся и поверят,

что это настоящие люди из прошлого... Странно: сочувствовать или негодовать по поводу того, чего в действительности нет, верить иллюзии.

— Чудо искусства, — улыбнулся Отто и бережно снял заблудшую ниточку с ее плеча.

— Чудес, милый, не бывает.

— Смотря что называть чудом. А разве не чудо, что я нашел тебя? Жил-жил у себя в Германии, да вдруг сплелось так, что я прыгнул сюда, а здесь — ты, вот и чудо.

Нинель еще теснее прижалась к его плечу: — *Liebling*, это не чудо, а случайность или особая закономерность...

— Которую, вероятно, никогда не разгадают люди, сколько бы они ни жили.

Укоризненно горячим шопотом-ветерком ему на ухо: --- Отто, ты опять... ведь мы коммунисты.

Он еле слышно в ответ: — Коммунисты хотят всё знать, — похвально, но это не значит, что они всё знают. И мы в том числе.

— Ну ладно, ладно, спорщик, об этом поговорим дома, — Нинель боковым зрением поглядела на соседа, тот, видно, удивленно улавливал русско-немецкую смесь фраз.

Из третьего ряда, сбоку, кто-то настойчиво махал им програмкой. Нинель, наконец, заметила, узнала доктора Горошина, приветливо в ответ кивнула ладошкой. Доктор проворно вскочил, протиснулся, наступая на ноги соседей, прокатился по проходу к ним, быстро оглядывая Зенфа.

— А Леонтий Андреевич?

— Папа, вы же знаете, домосед и устает. (Ох, надо же познакомить с Отто, вон как всматривается).

— Слышал, слышал много о вас, — дружелюбно тряс руку Горошин, потом перевел взгляд на соседнего зрителя и глаза у него округлились: — Викентий Степанович! Вы — один? Ага; душечка, давайте поменяемся местами, — вы на мое — в третьем ряду, а я сюда. Мне хотелось бы поболтать с моими молодыми друзьями, а вам ведь всё равно.

Викентий Степанович угрюмо ухмыльнулся и после секундной нерешительности согласился.

Горошин ёрзал, усаживаясь в кресло, и болтал ножками, не доставая до пола.

— Это, знаете, бухгалтер этого... ммм... как его... «Хлеботреста». Мизантроп, фу! А театр любит... Да, Ниночка, я ведь тебя помню, когда ты еще под стол пешком ходила, а поэтому очень-очень рад... и обоим вам — совет да любовь! — И он опять полез с рукопожатиями.

Нинель раздосадовалась: отравит болтовней и любопытством весь вечер. Очень холодно осведомилась, откуда ему известно, что она выходит замуж.

— Ну, милые, слухом земля полнится, а от меня тебе нечего скрывать, рад, очень рад (чмок в воздух)... Дай-ка мне програмку, я свою на том кресле оставил. Гм... любопытно, новые актеры...

Зенф на ухо спросил у Нинель: — Was ist's: — совет и любовь? Советская любовь?

Нинель пожалала его руку и тихонько засмеялась: — После объясню... Нет, это старинное русское пожелание...

В зале потух свет. Два раза баритоном простонал гонг. Зашуршал раздвигающийся занавес. В крошечной тьме дунула со сцены, с запахом клеевой краски, прохлада. В темноте возбужденно заговорили мужские голоса. Вспыхнул боковой зеленый рефлектор и, гуляя с одного бока на другой, освещал по-очереди горячившихся молодых людей с деревянными кубками в руках.

Повидимому, — кабачек, что-то вроде тайной встречи в нем. И в центре — мертвенно-бледное лицо «Пьеро», — молодой актер в белом парике и в охотничьей куртке, выкрикивающий: — In tyrannos!

Зенф беспокойно двинулся в кресле и шепнул: — Это же не «Коварство», ошибка, — это «Räuber».

Но эпизод вдруг оборвался на полуслове, как и начался. Снова крошечная тьма, и в ней строгая певучая ме-

лодия виолончели. Затем яркий свет, — и комната музыканта Миллера. Он сидит за тюпитром. Вдохновенно играет. Всем стало очевидно, что вдохновенно. Из всего, — из его позы, движения смычка, горящих глаз, особенной полуулыбки — излучалось самозабвение, радость творчества, литургия богу искусства. Всего несколько мгновений, и тысяча людей была в плену, разделила настроение старика. Он был уже дорог и близок каждому... На какой-то ноте он обрывает игру, — видно — пронзила его внезапно вспыхнувшая трудная мысль, которую он лишь отогнал музыкой, но она сильнее музыки, он борется с ней, вызывает смычком еще несколько звуков и задумывается... На пороге появляется простодушная жена, и Миллер начинает сердито свою речь о Луизе и Фердинанде.

— «Kabale und Liebe», — кивает головой Отто. Рука Нинель взволнованно ищет его руку и легким пожатием признается, что театральное колдовство уже началось... Несколько раз легонько чмокнул Горошин, а если повернуться да глянуть по сторонам: внимательные глаза, глаза, глаза... Уже не замечают они соседей, удивленные — старые, восхищенные — молодые, забывающие о себе, чувствующие только его, Миллера.

К концу акта было ясно, что царит волшебство на сцене Миллер, остальные — ему в помощь. Когда закрылся занавес, разноголосым хором, особенно сверху — кричали в шуме хлопков, то затихающих, то вновь нарастающих: — А-га-ров!

Антракт был шумный. И во всех уголках, куда разбрелась публика, судили и рядили об Агарове. Кто он? Откуда? В афишах стояло «заслуженный артист Казахской ССР». Кто-то авторитетно сообщал, что — актер из русского театра в Алма-Ате, что он довольно стар и (тут что-то говорилось мужчинам-собеседникам на ухо, и собеседники поднимали брови), но, в общем, прекрасное приобретение для нашего театра...

Зенф вышел покурить и в курилке столкнулся с парторгом Института.

— Ну? — спросил тот, — есть у вас, в Германии, такие актеры?

Зенф аккуратно потушил спичку и поискал глазами урну.

— Да, конечно, есть, и немало. Der Schauspieler Агаров — очень хорошо, но я думаю, он... он русский Миллер.

Парторг досадливо дернул плечом: — Советский артист может глубже играть, чем буржуазный, — он видит дальше и больше. Ведь как революционно звучит весь акт.

— Да, — согласился Зенф. — Но зачем в начале Фердинанд говорит слова Карла Моора из «Разбойников»? Этой сцены в этой пьесе Шиллер не писал. Настроения разные.

— Что ж, не нравится, как придумал советский режиссер? Он смело, по-революционному сделал, он сказал громко то, чего не смел сказать Шиллер...

— Или, может быть, не считал нужным сказать Шиллер в этой пьесе, — усмехнулся Зенф.

— Жаль, товарищ Зенф, что до вас не доходит советская сцена, жаль, — голос парторга играл недружелюбными вибрациями.

Зенф посмотрел внимательно на него и покачал головой: — Мне тоже жаль, что вы не понимаете моих мыслей. Guten Abend, — и отправился на поиски Нинель.

Она ходила наверх к подругам. Встретились на лестнице. Нинель радостно схватила Отто за борт пиджака: — Они все с ума сошли от Агарова! Вот, какие у нас актеры, Отто, а? Замечательный спектакль, да, Отто?.. Почему же ты молчишь? Неужели тебе не нравится?!

Зенф любовался ее возбужденными глазами, тем, как непринужденно, без завивки, легла назад и на ухо волна блестящих волос, как свеж ее рот. А она ждала ответа, и лицо ее из радостного превращалось в тревожное.

— Нравится, Нинель, конечно, нравится артист, а спектакль еще нет. Я не вижу Германии.

Нинель разочарованно и озабоченно спросила: — Не похоже?

— Не похоже...

Это было досадно. Но как не поверить Отто? Он то уж знает.

Мигал второй световой сигнал, надо возвращаться на места.

Горошина еще не было. Он присеменил, когда было уже темно. Спотыкался. Сердил зрителей. Сел и зашептал: — Поразительная вещь... трудно поверить... ведь он мой закадычный друг юности... вместе гимназию кончали... первый лоботряс в классе... я ему задачи решал...

— Кому? — спросила Нинель.

— Да этому самому Агарову. Он это, он. Я уверен. В следующем антракте проберусь за кулисы...

Без Агарова на сцене было пусто. Нинель и впрямь почувствовала, что расфранченный идиот Кальб, коварный злодей Вурм и все прочие — что угодно, но не немцы. Ей стало скучно, а Зенф с добросовестностью исследователя внимательно следил за всеми.

Обидно. Очень обидно. Нет, значит, у Отто тех струн... нет не то... он всё головой... нет, и не это... а вот, сравнивает он, сравнивает всё время: так, мол, тут и этак там... Там и тут... холодный? О, нет... что-то другое... Жаль. Досадно, но сегодня, кажется, он прав.

Горошин еле досидел до антракта. Занавес еще не успел закрыться, он мчался уже пулей по коридору. Нинель и Отто чинно прогуливались около буфета, кое-кто им кланялся и с любопытством провожал глазами. Перед третьим сигналом в партере наскочил на них ажитированный и словно взъерошенный Горошин:

— А? Ну, что я вам говорил?! Он! Конечно он!.. Вагаров, а по сцене — Агаров! Ну, теперь слушайте, я за вас расписался, дети мои, и не возражать: сейчас же после спектакля его под ручки и всей компанией — в ресторан!

Нинель заинтересовалась, — увидеть такого «живого» актера. А как Отто? Он ни да, ни нет.

Горошин перехватил этот взгляд и взмолился: — Нет, уж, пожалуйста, без отказа! А, кроме того, я уже сказал ему, что чувствовать будут его и молодые ценители. Праздновать, так праздновать, — в компании. Итак, это дело решенное (Тсс! — зашипели сзади; действие уже началось)... В самом деле, увидите живого актера! Заслуженного! (— Тсс! Тсс!!)...

Пока шел спектакль, на улице безостановочно сыпал снег. Публика после представления выходила и только покрывала. Студенты сразу же устроили бой, снежки так ладно склеивались в теплых ладонях. Вмиг затоптали пушистую белизну.

Пожилые солидно поднимали меховые воротники, топали ногами, сбрасывая прилипающий снег. Несколько извозчиков на санях, гикая и цокая, лихо укатали со счастливыми седоками. Остальные разбрелись во-свояси пешком.

Горошин с Нинель и Зенфом недолго поджидали у заднего актерского подъезда. Агаров запахивал на ходу шубу, боярская соболья шапка сидела набекрень, физиономия благодушно улыбалась. С аффектированной приветливостью протянул он сразу обе руки, левую Горошину, правую — новым молодым знакомым, о которых ему натрещал старый друг. При слабом свете лампочки над подъездом он казался дородным, моложавым и франтоватым. На предложение Горошина вызвать по телефону такси, он декламационно запротестовал: «В эту зимнюю ночь, в эту чудную ночь»?.. — Пешком, Алексаша, ножками, родные мои. Да и далеко ли? Миг — и мы в вашем злачном «Интернационале».

И в самом деле, до этого лучшего в городе ресторана, содержавшегося Интуристом, добрели мерным шагом через четверть часа. Горошин прокатился вперед и предупредительно открыл перед Агаровым тяжелую дверь. В передней

посетителей встречал угодливый швейцар. Он по-стариковски шарпал ногами, помогал снять пальто, усердно встряхивал и устраивал одежду на стоячие вешалки. Вручая ярлычки с номерами, делал жест — неопределенно долго держал еще руку ладонью кверху и шамкал приятные слова.

В зале с мягким и уютным светом было просторно. Посетителей было немного. Легко подыскался у окна с тяжелыми и пыльными драпировками столик.

Лакейской походкой устремился к ним кельнер в белой куртке и с неизменной салфеткой подмышкой. Горошин опытным нюхом чуял уже дразнящий запах жареного. Наморщившись, но с улыбкой предвкушения, пробежал меню, отбросил его и, потирая руки, осведомился, чего желают дорогие гости. Гостям было всё равно. Агаров только добавил со смешком, что его мучит жажда, а утоляется она сотерном.

Горошин вступил в важные переговоры с кельнером, предложившим киевские котлеты. Нинель никогда таких котлет не ела.

Когда кельнер полу-бегом умчался, Горошин откинулся на спинку стула и чуть-чуть влажными глазами долго смотрел на Агарова. Актер в свою очередь созерцал Горошина. В это время музыкантское трио на маленькой эстраде — в углу — негромко заиграло певучий вальс.

— Эх, — ожил вдруг Горошин, — кто бы мог думать? Через тридцать семь лет старые проказники встретились! Когда я лупил тебя гимназическим ранцем, знал ли я, что посягаю на будущего знаменитого актера?

— Ну, уж знаменитого, — поднял мохнатые брови Агаров, — ты, я вижу, более знаменит, чем я, — благодатная специальность: устраняешь результаты грехопадения.

Ну, конечно, вспомнилась юность обоих, учителя, наивно-глазастые гимназистки в коричневых платьях с черными передниками и с чернильными пятнышками на маленьких пальчиках, липовые пряно-душные аллеи в летнем саду, какой-то обрыв с дикими зарослями, рыбная ловля... Боже мой, какой пестрый склад умерших воспоминаний вдруг воскре-

сает у людей, которые, потеряв друг друга после начала жизни, встречаются уже на закате дней. И говорить об этом, вновь свидевшись, можно без передышки...

Агаров заметил скучающие глаза Нинель. Она сидела в напряженной позе, впервые в таком ресторане, с неприязнью слушала цыганские подвывания скрипача; у него был наглый пробор и маслянистые глаза, противно он покачивался телом, изображая эмоциональный восторг и забвение; смотрела на посетителей за столиками, на каких-то женщин с подбритыми в ниточку порочно-наивными бровями, в шикарных платьях и туфлях на сумасшедших каблуках, на их нарисованные алые губы с презрительным изломом... Разве еще живут такие женщины в нашем городе? Где они прячутся днем? Она взглянула невольно на Отто. Он был спокоен, ничему не удивлялся. Может быть, он даже был знаком с такими? Ему ведь всё интересно. Вот и сейчас внимательно слушает беседу старых друзей.

Кельнер уставил весь стол тарелками, блюдами, бутылками, закусками. Агаров, не дожидаясь приглашения, чуть дрожащей рукой наливал себе в винный бокал водку, отодвинув рюмку в сторону. Одним махом проглотил, подержал ладошку у губ и ковырнул маринованный грибок. Нинель рассмотрела его подробно: было в его лице, не смотря на гладкую выбритость, с синевой, что-то скучающее и усталое. На белках серых припухших глаз — ниточки желтоватых жилок. Глубокие морщины на лбу и небольшая седина в жгучих черных волосах.

После двух бокалов водки скулы у него порозовели, и первоначальная скупость жестов исчезла. Он вкусно произносил эффектные фразы, не совсем естественно модулировал интонации и, когда хотел придать особую значительность словам, отводил в сторону руку, будто в горсти держал воображаемое яблоко и слегка потрясал им.

Выпили все; даже Нинель осторожно и медленно осушила две рюмки какого-то вкусного крепкого вина. После этого стало не так чуждо, по крайней мере.

— Ну, и что-же? — благодушно отдуваясь, спросил Горошин, — значит, после твоего офицерства ты махнул в театр?

Агаров пронзительно посмотрел на приятеля и, машинально тыкая в это время мимо кусков на тарелке, великодушно удивился: — Офицерства?.. Я, милый, никогда не был военным, откуда ты взял?

Горошин вытаращился на него, помычал и вдруг расцвел радостной улыбкой:

— Ну, да, в самом деле, откуда я это взял? Фу! Не то кто-то врал мне, не то я тебя с кем-то перепутал... Теперь я вспомнил. Конечно, ты ведь не служил в армии, никогда... Значит, этого... как его... да, значит, ты — прямо в актеры... Но как тебя, мой друг, занесло в Алма-Ату, ведь ты заслуженный Казахской республики?

Агаров внимательно посмотрел на всех по-очереди, делая мастерскую паузу, покачал головой, выпил вина, налил в бокал снова и вдруг расхохотался (Нинель удивилась — лицо его смеялось, глаза нет): — Дда! — крикнул он, — это действительно — камуфлет! Но ведь мы, актеры, тоже иногда не по своей воле попадаем в казахские республики... как бы это сказать... мм... так сложились обстоятельства, что... ну, словом, попал в Алма-Ату, лишенный всяких заслуг, а вот выехал оттуда заслуженным... Теперь ведь у людей такие неожиданные лесенки — то вверх, то вниз... Постой, что это они играют? Никак лезгинку? Национальный гимн?

Горошин насторожился: Агарова стало развозить, как бы не наболтал чего-нибудь лишнего: — Ну, какой же национальный гимн — лезгинка, помилуй...

Агаров круто повернулся к нему и упрямо повторил: — Я сам, брат, кавказец, я знаю, — это самый настоящий теперь национальный гимн в стране... а, впрочем, плевать. Чеазк!

— Послушай, Гриша, — конфузливо и опасливо взглянув на Нинель, вполголоса пробормотал Горошин, — что это у тебя за старинная отрыжка: «человек»?

Нинель нахмурилась.

— Я ж его не псом зову, он человек и я человек, оба прислуживаем... Чеаэж! — озорно позвал Агаров проходившего кельнера. Тот расторопно подбежал.

— Коробку папирос и... этого... передать музыкантам... артистам от артиста. — Агаров бросил трехрублевую бумажку на подносик кельнера.

Кельнер побежал к музыкантам. Нинель взволновалась: возьмут или обидятся? Взяли... Как же это?

Отто вежливо слегка улыбался.

— Б-богема! — пояснил Агаров и вдруг крепко стукнул себя в грудь: — если где и живет еще непосредственность и порыв, так это у богемы. Живем мы, милый юный цветок, днем, часом, даже минуткой. А что будет завтра? Если я откажусь? О, они играют «Алаверды», это для меня.. — Он, почти не пошатываясь, двинулся к музыкантам и вступил с ними в оживленный разговор. Вот он рукой подозвал кельнера, и тот принес четыре бокала с вином. Музыканты смеялись, Агаров их хлопал по спинам...

В это время кельнер принес для Отто записку. Отто прочитал и протянул Нинель. Почерком директора Института было написано: «Тов. Зенф, на два слова». Кельнер добавил: — Крайний стол сзади.

Нинель следила глазами, как Отто встретился на пол-дороге с директором. Оба присели за свободный столик. Директор был не один. За его столиком сидела счетовод Аля из институтской бухгалтерии. Алю даже нельзя было сразу узнать, — этакий пасхальный барашек с блудливыми глазами; нога на ногу, приоткрывшееся колено в тугом чулке и папироса меж пальцев с перламутровыми ногтями.

Нинель видела, как директор разводил руками, конфиденциально наклонялся к уху Отто, как Отто, молча, откинулся на спинку стула, барабанил пальцами по столу, а потом застыл в неподвижности.

Горошин же наблюдал за актером, не надо ли придти ему на помощь.

Первым вернулся Отто. Нинель взглянула на него и поняла, что он скрыто взволнован, но, как обычно, хорошо владеет собой.

— Что случилось? — встревожилась она. Отто дернул плечом, — ничего, мол. Скажет, видно, наедине. Ну, значит, надо отправляться домой.

— Nicht sofort, — успокоительно дотронулся он до ее руки.

— Слушай, Нина, — попросил Горошин, видя, что Агаров плетется назад, — он переложил за галстук, говорит глупости, отвлеки его, распроси об его полях.

Агаров грузно сел, поднял одну бровь и тихо объявил: — Маленькая трагедия... пианист то... талант... выгнали из консерватории... теперь — минус пять. Понятно? И вот, бренчит в кабаке и счастлив...

— Да откуда ты знаешь? — увещевал Горошин. — Что ж он так всякому встречному-поперечному об этом исповедуется?

— Да что я в первый раз здесь? Не один раз Бахуса с ним славил... Да-с. А почему? В чем дело? За папу. А папа помре при царе-Горохе. Так то-с.

— У нас «ни за что» не бывает, — менторски заметила Нинель, — значит, социально-чуждый.

Агаров с недоумением вскинул отяжелевшие глаза, точно в первый раз увидел собеседницу, и перевел взгляд на Горошина; тот сделал легкий жест, — не спорь, мол.

— Да? — Переспросил Агаров, — не бывает? Мм-может быть...

И вдруг с живой откровенностью, налегая грудью на стол и пачкая борт пиджака соусом из ставшей на бок тарелки: — Скажите, а актер, который отказывается играть роль Ленина в бездарной пьесе, тоже по-вашему — социально-чуждый?

— Ну, что за разговор, милые мои, — плаксиво запротестовал Горошин.

Агаров, отмахнувшись от него, как от зря жужжащей мухи, понес дальше:

— Я им говорю: я актер классических ролей, я их нутром беру (рука с воображаемым яблоком патетически тряслась в воздухе), а они мне — Ленина. Да вы знаете, что такое играть Ленина! Мигнул не там, ногу не так выставил — и катастрофа! А катастрофами я сыт по горло. Я им говорю — не могу, а они мне — не хочешь. А вы знаете, что такое *не хотеть* играть Ленина? Это, милая и уважаемая зрительница...

— Нина Леонтьевна, — подсказал Горошин, с тоской поглядывая вокруг.

— Милая Нина Леонтьевна, — подхватил Агаров, — это, по-вашему, может быть, социально-чуждый элемент, а, по-моему, это — осторожность стреляного воробья.

Нинель решила, что с подвыпившим вряд ли разумно спорить, поэтому ограничилась только одной фразой: — Сыграть роль Ленина, товарищ Агаров, почетная задача, и ваш талант...

— Талант! — подхватил иронически Агаров, — талант... — С таинственностью и скорбью шепотом забормотал он: Вы знаете, когда талант расцветает и творит чудеса? Вы думаете — каждая роль вздыбливает талант?! Нет. Нет, я могу играть только то, что я люблю, а...

Горошин резко постучал вилкой о стакан: — Ну, милые гости, скоро будут закрывать ресторан, и мы принуждены двигаться во-свояси. Милый, почисть салфеткой пиджак.

Подбежал кельнер и подал счет. Отто полез за бумажником, но Горошин задержал его руку. Нинель с удивлением и даже с испугом увидела, какая пачка денег перешла в руки кельнера. — Прожигание жизни, — мелькнуло у нее, вот оно, прожигание... и это есть у нас сейчас?

У вешалки засуетился очнувшийся от дремоты швейцар. С особым усердием обхаживал он Агарова и извинительно бормотал что-то насчет того, что, мол, мало кто знает теперь порядок, как надо обслуживать гражданам, что, мол, у него

глаз наметанный на понимающих посетителей, и, получив щедрую грешку, помчался открывать тяжелую дверь...

...Над головами растекался по бездонной космической черноте млечный путь, переливчато светились звезды. Заснеженные улицы — пустынно и беззвучны. В редких домах виднелись светлые окна. Безветренный мороз.

До угла шли все вместе. При прощании Агаров поцеловал руку у Нинель, ее даже бросило в краску. Горошин крикнул вслед: — Кланяйся папе, — и повел Агарова под руку.

— И что тебя дернуло откровенничать, фу! — Упрекнул он актера. Ведь она-то комсомолка, а он партиец.

Агаров остановился, как вкопанный, и сдвинул боярскую шапку на затылок.

— Что же ты меня не предупредил?!

— Ну как же не предупредил, ты просто всё забыл. Но это ерунда, оба очень порядочные люди, я думаю; а, вообще, тебе надо поосторожнее.

— Эх, — вздохнул Агаров и передвинул шапку на лоб. Лицо у него было помятое и старое. — А, впрочем, что я при них говорил? Насчет роли Ленина? Да, так вот тебе добавление: завтра — пан или пропал, — я откажусь от роли по причине «политической неподкованности». Откровенно. Чем всё это кончится?

— Согласись, милый, согласись, ну что тебе стоит, — советовал Горошин.

Агаров сделал круглые глаза: — Боюсь.

— А ты не бойся.

— Это в нашей-то жизни «не бойся»? Да ты-то сам будто не боишься?

— Я? Конечно, нет.

— Ой! Дай-ка я в глаза посмотрю... Ну и врешь!

Завернув за угол, Нинель возмущенно разразилась: — Мне стыдно за этот вечер! Папа да и все — по четыреста граммов хлеба в день, а мы... киевские котлеты! Пьяная музыка, этот пьяный актер! Что он только городил! Сколько еще мрази в нашей жизни. И партийцы, партийцы там... Директор!.. Да, кстати, о чем он с тобой говорил?

Оказалось, что директор получил из милиции отношение: преподаватель Зенф производил недозволенные фото-снимки у товарного вокзала. Милиция ставит Институт в известность и запрашивает характеристику означенного лица. Директор, как будто, подсмеивается над этим. Говорит, что, увидев меня, решил неофициально побеседовать... и забыть «эти глупости».

— И это всё? — недоверчиво спросила Нинель. — Зачем же понадобилось говорить об этом в ресторане? Странно. Словно, хотел испортить тебе настроение... Но почему ты не сказал, что снимки делала я?

— О тебе и разговора не было. Он, между прочим, просил показать ему снимки, а я сказал, что они были неудачны, и я их уничтожил.

Нинель остановилась и с отчаянием воскликнула: — Отто, Отто, зачем ты не сказал правду? Какую ты сделал ошибку!

— Дорогая, ведь на этих снимках — ты.

Возвращаясь из театра в общежитие через весь город, Алёша со своими однокашниками сначала дурили: скакали по снежной целине, запихивали друг другу снег за шиворот, обстреливали снежками прохожих, а потом заспорили насчет спектакля. Егор наложил резолюцию: Спектакль г...

Алёша за это вызверился. Егор попробовал объяснить: и неинтересно, и девка — мармелад, и чего из-за ерунды травиться и Вурм с Кальбом — таких теперь нет, значит не актуально.

Кузмичев подскочил: — Как нет? Тебе камзолы да плащи

глаза запорошили. Переодень! Переодень: на Вурма — нынешнюю фуражку Особого Отдела, а Кальба в пиджак да очки наших сладкопевцев-льстецов, что поклонь бьют и кадило раздувают перед президентами, — а секретари обкомов — чем не президенты? Пьеса «что надо» и по самому нашему времени. Да вот, — напяль на Жана камзол — самый что ни на есть Кальб, только дырочку в штанах сзади оставь...

Егор зареготал от души: — А дырочку зачем?

— А как же, чтобы хвост продеть да вилять им половчее.

Жан был впереди, остановился и спросил: — Это ты что, обо мне? Серьезно?

— Безусловно. Напрасно хвост в штанах прячешь.

Жан с размаху ударил Кузмичева. Кузмичев подмял под себя шуплого Жана. Оба остервенели, молча дубасили друг друга. Егор принялся их разнимать и лупил обоих. Все катались по снегу.

Егор пригрозил, что вот из этой аптеки вызовет милицию: — Хулиганы проклятые, а еще студенты. Ну?!

Битва прекратилась. Жан с помощью Егора поднялся, искал свою кепку, утирал кровь под носом. Кузмичев прихрамывал.

Пошли молча. Только у самого подъезда общежития Жан, шлепая распухшей губой, пригрозил: — Это тебе так не пройдет, увидишь! — и опрометью бросился наверх по лестнице.

— Донеси, донеси! — орал ему вслед Кузмичев.

Егор потянул за рукав Алёшу: — Ну, и что ты наговорил, сумасшедший ты шкет? И кому? Маленький, что ли, эх! Ночевали они в комнате вдвоем. Жан куда-то исчез.

(Окончание следует)

Петр Ершов

ДРУГИЕ БЕРЕГА*

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В железнодорожном агентстве на Невском была выставлена двухтаршинная модель коричневого спального вагона: международные составы того времени красились под дубовую обшивку, и эта дивная, тяжелая с виду вещь с медной надписью над окнами далеко превосходила в подробном правдоподобии все мои, хорошие, но явно жестяные и обобщенные, заводные поезда. Мать пробовала ее купить; увы, бельгиец-служащий был неумолим. Во время утренней прогулки с гувернанткой или воспитателем я всегда останавливался и молился на нее. Иметь в таком портативном виде, держать в руках так запросто, вагон, который почти каждую осень нас уносил за границу, почти равнялось тому, чтобы быть и машинистом, и пассажиром, и цветными огнями, и пролетающей станцией с неподвижными фигурами, и отшлифованными до шелковистости рельсами, и туннелем в горах. Снаружи сквозь витрину модель была доступнее влюбленному взгляду, чем изнутри магазина, где мешали какие-то плакаты. Можно было разглядеть в проймах ее окон голубую обивку диванчиков, красноватую шлифовку и тисненую кожу внутренних стенок, вделанные в них зеркала, тюльпанообразные лампочки... Широкие окна чередовались с более узкими, то одиночными, то парными. В некоторых отделениях уже были сделаны на ночь постели.

Тогдашний величественный Норд-Экспресс (после Первой Мировой Войны он уже был не тот), состоявший исклю-

* См. кн. 37 «Нов. Журн.».

чительно из таких международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж; я сказал бы, прямо в Париж, если бы не нужно было — о, не пересаживаться, а быть переводимым — в совершенно такой же коричневый состав на русско-немецкой границе (Вержболово — Эйдкунен), где бокастую русскую колею заменял узкий европейский путь, а березовые дрова — уголь.

В памяти я могу распутать по крайней мере пять таких путешествий в Париж, с Ривьерой или Биаррицем в конце. Выбираю относящееся к 1909-му году. Мне кажется, что сестры — шестилетняя Ольга и трехлетняя Елена — остались в Петербурге под надзором нянь и теток. (По словам Елены, я не прав: они тоже участвовали в поездке). Отец в дорожной кепке и замшевых перчатках сидит с книгой в купе, которое он делит с Максом, тогдашним нашим гувернером. Брат Сергей и я отделены от них проходной туалетной каморкой. Следующее купе, смежное с нашим, занимает мать с своей пожилой горничной Наташей и расстроенной таксой. Нечетный Осип, отцовский камердинер (лет через десять педантично расстрелянный большевиками за то, что угнал к себе наши велосипеды, а не передал их народу), делит четвертое купе с посторонним — французским актером Фероди.

В апреле того года Пири дошел до Северного Полюса. В мае пел в Париже Шаляпин. В июне, озабоченный слухами о новых выводах цеппелинов, американский военный министр объявил, что Соединенные Штаты намерены создать воздушный флот. В июле Блерио на своем монопланчике перелетел из Кале в Дувр (сделав лишний крюк — заблудился). Теперь был август. Ели и болота северозападной России прошли своим чередом и на другой день, при некотором увеличении скорости, сменились немецкими соснами и вереском. На подъемном столике мать играет со мной в дурачки. Хотя день еще не начал тускнеть, наши карты, стакан, соли в лежащем флакончике и — на другом оптическом плане — замки чемодана демонстративно отражаются

в оконном стекле. Через поля и леса, и в неожиданных оврагах, и посреди убегающих домишек, призрачные, частично представленные картежники играют на никкелевые и стеклянные ставки, ровно скользящие по ландшафту. Любопытно, что сейчас, в 1953-м году, в Орегоне, где пишу это, вижу в зеркале отельного номера эти же самые кнопки того же именно, теперь пятидесятилетнего, материнского несессера из свиной кожи с монограммой, который мать брала еще в свадебное путешествие, и который через полвека вожу с собой: то, что из прежних вещей уцелели только дорожные, и логично и символично.

«Не будет ли? Ты, ведь, устал», говорит мать, а затем задумывается, медленно тасуя карты. Дверь в коридор отворена, и в коридорное окно видны телеграфные проволоки — шесть тонких черных проволок на бледном небе — которые поднимаются всё выше, с трогательным упорством вот-вот готовы достигнуть верхнего края оконницы, но всякий раз их сбивает одним махом злостный столб, и приходится им опять подниматься с самого низа.

Когда, на таких поездках, Норд-Экспрессу случалось замедлить ход, чтобы величаво влачиться через большой немецкий город, где он чуть не задевал фронтонов домов, я испытывал двойное наслаждение, которое тупик конечного вокзала мне доставить не мог. Я видел, как целый город, со своими игрушечными трамваями, зелеными липами на круглых земляных подставках и кирпичными стенами с лупящимися старыми рекламами мебельщиков и перевозчиков, вливается к нам в купе, поднимается в простеночных зеркалах и до краев наполняет коридорные окна. Это соприкосновение между экспрессом и городом еще давало мне повод вообразить себя вон тем пешеходом и за него пьянеть от вида длинных карих романтических вагонов, с черными промежуточными гармониками и огненными на низком солнце металлическими буквами («*Compagnie Internationale...*»), неторопливо переходящих через будничную улицу и постепенно

заворачивающих, со вспышкой всех окон, за последний ряд домов.

Иногда эта переслойка зрительных впечатлений мстила мне. За длинной чередой качких, узких голубых коридоров, уклоняющихся от ног, нарядные столики в широкооконом вагоне-ресторане, с белыми конусами сложенных салфеток и аквамаринowymi бутылками минеральной воды, сначала представлялись прохладным и стойким убежищем, где всё прельщало — и пропеллер вентилятора на потолке, и деревянные болванки швейцарского шоколада в лиловых обертках у приборов, и даже запах и зыбь глазчатого бульона в толстогубых чашках; но по мере того как дело подходило к роковому последнему блюду, всё назойливее становилось ощущение, что прозрачный вагон со всем содержимым, включая потных, кренящихся эквилибристов-лакеев (как ужасно напирал один на стол, пропуская сзади другого!), неряшливо и неосторожно вправлен в ландшафт, при чем этот ландшафт находится сам в сложном многообразном движении, — дневная луна бойко едет рядом, вровень с тарелкой, плавным веером раскрываются луга вдалеке, ближние же деревья несутся навстречу на невидимых качелях и вдруг совершенно другим аллюром ускакивают, превращаясь в зеленых кенгуру, между тем как параллельная колея сливается с другой, а затем с нашей, и за ней насыпь с мигающей травой томительно поднимается, поднимается, — пока вся эта мешанина скоростей не заставляла молодого наблюдателя вернуть только что поглощенный им омлет с горячим вареньем.

Только ночью оправдывалось вполне волшебное название «*Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens*». С моей постели под койкой брата (спал ли он? был ли он там вообще?) я наблюдал в полумраке отделения, как опасно шли и никуда не доходили предметы, части предметов, тени, части теней. Деревянное что-то потрескивало и скрипело. У двери в уборную покачивалась на крюке одежда или тень одежды, и в такт ей мо-

талась кисть синего двухстворчатого колпака, снизу закрывавшего потолочную лампу, которая бодрствовала за лазурью материи. Эти пошатывания и переборы, эти нерешительные подступы и втягиванья было трудно совместить в воображении с диким полетом ночи вовне, которая — я знал — мчалась там стремглав, в длинных искрах.

Я и дома старался бывало заманить сон тем, что пускал сознание по привычному кругу, видя себя, скажем, водителем поезда, а тут и вправду мчало меня. Реалия, замыкаясь дремотой, блаженно обтекала сознание по мере того, как я всё так хорошо устраивал, — и беззаботные пассажиры (забота была моя, забота меня дурманила) гордились властителем-машинистом, покуривали, обменивались знающими улыбками, ложились, дремали; а поездная прислуга (которую мне, собственно, некуда было деть) после них пировала в вагоне-ресторане; сам же я, в гоночных очках и весь в масле и саже, высовывался из паровозной будки, старясь высмотреть сквозь ветер рубиновую точку в черной дали. Но затем, уже во сне, я видел совсем-совсем другое — цветной стеклянный шарик, закатившийся под рояль, или игрушечный паровозик, упавший на бок и всё продолжавший работать бодро жужжащими колесами.

Течение моего сна иногда прерывалось тем, что ход поезда замедлялся. Тихо шагали мимо огни; проходя, каждый из них заглядывал в ту же щелку, и световой циркуль медленно мерил мрак купе. Поезд останавливался с протяжным вздохом вестингхаузовских тормозов. Сверху вдруг падало что-нибудь (например, братние очки). Необыкновенно интересно было подползти к изножью койки — в сопровождении вывороченного одеяла, — дабы осторожно отцепить шторку с нижней кнопки и откатить ее вверх до половины (дальше не пускал край верхней койки). За стеклом был сказочный мир, — сказочный потому, что я его подглядывал нечаянно и незаконно, без малейшей возможности принять в нем участие. Как сателлиты огромной планеты, бледные ночные бабочки вращались вокруг газового фонаря. Разъединенная на части

газета ехала, погоняемая толчками ветра, по вылощенной скамье. Где-то в вагоне слышались глухие голоса, уютное покашливание. Ничего особенно замечательного не было в случайной части безымянной станции, невинно обнажившейся передо мной и стынувшей, как мои ноги, но почему-то я не мог оторваться от нее, покуда она сама не уезжала — Боже мой, как гладко снимался с места мой волшебный Норд-Экспресс.

На другое утро уже белелась и мчалась мимо мутная Бельгия; кафе-о-ле с отвратительными пенками как-то шло виду в окне, мокрым полям, искалеченным ивам по радиусу канавы, шеренге тополей, перечеркнутых полосой тумана. Поезд приходил в Париж в четыре пополудни, и, даже если мы там только ночевали, я всегда успевал купить что-нибудь, — например маленькую медную Эйфелеву башню, грубовато покрытую серебряной краской — прежде, чем сесть в полдень на Сюд-Экспресс, который, по пути в Мадрид, доставлял нас к десяти вечера в Биарриц, в нескольких километрах от испанской границы.

2

Биарриц в те годы еще сохранял свою тонкую сущность. Пыльные кусты ежевики и плевелистые *terrains à vendre*, полные прелестных геометрид, окаймляли белую дорогу, ведущую к нашей вилле. Карлтон тогда еще только строился, и суждено было пройти тридцати-шести годам до того, как генерал Мак Кроскей займет королевские апартаменты в Отель дю Пале, построенном на месте того дворца, где в шестидесятых годах невероятно изгибчивый медиум *Daniel Home* был пойман, говорят, на том, что босой ступней («ладонью» вызванного духа) гладил императрицу Евгению по доверчивой щеке. На каменном променаде у казино выдававшая виды пожилая цветочница с лиловатыми бровями ловко продевала в петлицу какому-нибудь потентату в штатском тугую дулю гвоздики — он скашивал взгляд на ее жеманные пальцы, и слева у него вспухала складка подбрюдка.

Вдоль променада, по задней линии пляжа, глядящего в блеск моря, парусиновые стулья заняты были родителями детей, играющих впереди на песке. Делегату-читателю нетрудно будет высмотреть среди них и меня: стою на голых коленях и стараюсь при помощи увеличительного стекла поджечь найденную в песке гребенку. Щегольские белые штаны мужчин показались бы сегодня комически ссевшимися в стирке: дамы же в летний сезон того года носили бланжевые или гри-перлевые легкие манто с шелковыми отворотами, широкополые шляпы с большими тульями, густые вышитые белые вуали, — и на всем были кружевные оборки — на блузках, рукавах, парасолях. От морского ветра губы становились солеными: пляж трепетал как цветник, и безумно быстро чрез него пронеслась залетная бабочка, оранжевая с черной каймой. Проходили продавцы разной соблазнительной дряни — орешков чуть слаще моря, витых, золотых леденцов, засахаренных фиалок, нежнозеленого мороженого и громадных ломких, вогнутых вафель, содержавшихся в красном жестяном боченке: старый вафельщик с этой тяжелой штукой на согнутой спине быстро шагал по глубокому мучнистому песку, а когда его подзывали, он, рванув ее за ремень, сваливал с плеча на песок и ставил стойком свою красную посудину, затем стирал пот с лица и, получив один су, пальцем приводил в трескучее движение стрелку лотерейного счастья, вращавшуюся по циферблату на крышке боченка: фортуне полагалось определять размер порции, и чем больше выходил кусок вафли, тем мне жальче бывало торговца.

Ритуал купанья происходил в другой части пляжа. Профессиональные беньеры, дюжие баски в черных купальных костюмах, помогали дамам и детям преодолевать страх и прибор. Беньер ставил клиента спиной к накатывающей волне и держал его за ручку, пока вращающаяся громада, зеленая и пенясь, бурно обрушивалась сзади, одним мощным ударом либо сбив клиента с ног, либо вознеся его к мокрому, разбитому солнцу, вместе с тюленем-спасителем. После

нескольких таких схваток со стихией, глянцеви́тый беньер вел тебя, — отдувающегося, влажно сопящего, дрожащего от холода, — на укатанную отливами полосу песка, где незабвенная босоногая старуха с седой щетиной на подбородке, мифическая мать всех этих океанских банщиков, быстро снимала с веревки и накидывала на тебя ворсистый плащ с капюшоном. В пахнувшей сосной купальной кабинке перенимал тебя другой прислужник, горбун с лучистыми морщинками; он помогал выйти из набухшего водой, склизкого, отяжелевшего от прилипшего песка, костюма и приносил таз с упоительно горячей водой для омовения ног. От него я узнал, и навеки сохранил в стеклянной ячейке памяти, что бабочка на языке басков «мизериколетая».

3

Как-то, играя на пляже, я оказался действующим лопаткой рядом с французской девочкой Колетт. Ей должно было исполниться десять в ноябре, мне исполнилось десять в апреле. Она важно обратила мое внимание на зазубренный осколок фиолетовой раковинки, оцарапавший ее узкую, длиннопалую ступню. «*Je suis Parisienne*», объявила она, «*et vous — are you English?*». В ее светло-зеленоватых глазах располагались по кругу зрочка рыжие крапинки, словно переправляющаяся вплавь часть веснушек, которыми было усыпано ее несколько эльфовое, изящное, курносенькое лицо. Оттого что она носила по тогдашней английской моде синюю фуфайку и синие узкие вязанные штаны, закатанные выше колен, я еще накануне принял ее за мальчику, а теперь, слушая ее порывистый щебет, с удивлением видел браслетку на худенькой кисти, шелковистые спирали коричневых локонов, свисавших из под ее матросской шапочки.

Двумя годами раньше, на этом самом пляже, я был горячо увлечен другой своей однолеткой, — прелестной, абрикосово-загорелой, с родинкой под сердцем, невероятно капризной

Зиной, дочкой сербского врача; а еще раньше, в Болье, когда мне было пять лет, что-ли, я был влюблен в румынскую темноглазую девочку, со странной фамилией Гика. Познакомившись же с Колетт, я понял, что вот это — настоящее. По сравнению с другими детьми, с которыми я игрывал на пляже в Биаррице, в ней было какое-то трогательное волшебство; я понимал, между прочим, что она менее счастлива, чем я, менее любима; синяк на ее тонко заштрихованном пушком запястье давал повод к ужасным догадкам. Как-то она сказала по поводу упущенного краба: «Он так же больно щиплет, как моя мама». Я придумывал разные героические способы спасти ее от ее родителей, — господина с нафабранными усами и дамы с овальным, «сделанным», словно эмалированным, лицом; моя мать спросила про них какого-то знакомого, и тот ответил, пожав плечом, «*Ce sont des bourgeois de Paris*». Я по своему объяснил себе эту пренебрежительную оценку, зная, что они приехали из Парижа в Биарриц на своем сине-желтом лимузине (что не так уж часто делалось в 1909 году), а девочку с фокстерьером и английской гувернанткой послали в скучном «сидячем» вагоне обыкновенного *rapide*. Фокстерьер был экзальтированной сучкой с бубенчиком на ошейнике и виляющим задом. Из чистой жизнерадостности, эта собачка, бывало, лакала морскую воду, набранную Колетт в синее ведро; вижу яркий рисунок на нем — парус, закат и маяк, — но не могу припомнить имя собачки, и это мне так досадно.

За два месяца пребывания в Биаррице моя страсть к этой девочке едва ли не превзошла увлечения бабочками. Я видел ее только на пляже, но мечталось мне о ней беспрестанно. Если она являлась заплаканной, то во мне вскипало беспомощное страдание. Я не мог перебить комаров, искусавших ее тоненькую шею, но зато удачно отколотил грубого рыжего мальчика, однажды обидевшего ее. Она мне совала горсточками теплые от ее ладони леденцы. Как-то мы оба наклонились над морской звездой, витые концы ее локонов защекотали мне ухо, и вдруг она поцеловала меня

в щеку. От волнения я мог только пробормотать: «*You little monkey*».

У меня была золотая монета, луидор, и я не сомневался, что этого хватит на побег. Куда же я собирался Колетт увезти? В Испанию? В Америку? В горы над По? «*Là-bas, là-bas, dans la montagne*», как пела Кармен в недавно слышанной опере. Помню странную, совершенно взрослую, прозрачно-бессонную ночь: я лежал в постели, прислушивался к повторному буханью океана и составлял план бегства. Океан приподнимался, слепо шарил в темноте и тяжело падал ничком.

О самом побеге мне почти нечего рассказать. В памяти только отдельные проблески: Колетт, с подветренной стороны хлопающей палатки, послушно надевает парусиновые туфли, пока я запикиваю в коричневый бумажный мешок складную рампетку для ловли андалузских бабочек. Убегая от погони, мы сунулись в крошечную темноту маленького кинематографа около казино, — что, разумеется, было совершенно незаконно. Там мы сидели, нежно соединив руки поверх фокстерьера, изредка позвякивавшего бубенчиком у Колетт на коленях, и смотрели судорожный, мигающий черным дождиком по белизне, но чрезвычайно увлекательный фильм — бой быков в Сан Себастьяне. Последний проблеск: гувернер уводит меня вдоль променада: его длинные ноги шагают с грозной целеустремленностью; мой девятилетний брат, которого он ведет другой рукою, то и дело забегает вперед и, подобный совенку в своих больших очках, вглядывается с ужасом и любопытством в невозмутимого преступника.

Среди безделушек, накупленных перед отъездом из Биаррица, я любил больше всего не бычка из черного камня, с золочеными рогами, и не ассортимент гулких раковин, а довольно символический, как теперь выясняется, предметик — вырезную пенковую ручку, с хрусталиком, вставленным в микроскопическое оконце на противоположном от пера конце. Если один глаз зажмурить, а другой приложить к

хрусталику, да так, чтобы не мешал лучистый перелив собственных ресниц, то можно было увидеть в это волшебное отверстие цветную фотографию залива и скалы, увенчанной маяком. И вот тут-то, при этом сладчайшем содрогании Мнемозины, случается чудо: я снова пытаюсь вспомнить кличку фокстерьера, — и что же, заклинание действует! С дальнего того побережья, с гладко отсвечивающих вечерних песков прошлого, где каждый вдавленный пяткой Пятницы след заполняется водой и закатом, доносится, летит, отзывается в звонком воздухе: Флосс, Флосс, Флосс!

По дороге в Россию, мы остановились на один день в Париже, куда уже успела вернуться Колетт. Там, в рыжем, уже надевшем перчатки, парке, под холодной голубишной неба, верно по сговору между ее гувернанткой и нашим Максом, я видел Колетт в последний раз. Она явилась с обручем, и всё в ней было изящно и ловко, в согласии с осенней парижской *tenue-de-ville-pour-fillettes*. Она взяла из рук гувернантки и передала моему довольному брату прощальный подарок — коробку драже, облитого крашеным сахаром миндаля, — который конечно предназначался мне одному; и тотчас же, едва взглянув на меня, побежала прочь, палочкой подгоняя по гравию свой сверкающий обруч сквозь пестрые пятна солнца, вокруг бассейна, набитого листьями, упавшими с каштанов и кленов. Эти листья смешиваются у меня в памяти с кожей ее башмаков и перчаток, и была, помнится, какая-то подробность в ней — ленточка, что-ли, на ее шотландской шапочке, или узор на чулках, — похожая на радужные спирали внутри тех маленьких стеклянных шаров, коими иностранные дети играют в агатики. И вот теперь я стою и держу этот обрывок самоцветности, несомненно зная куда его приложить, а между тем она обегает меня всё шибче, катя свой волшебный обруч, и наконец растворяется в тонких тенях, падающих на парковый гравий от переплета проволочных дужек, которыми огорожены астры и газон.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Сейчас тут будут показывать волшебный фонарь, но сперва позвольте сделать небольшое вступление.

Я родился 10-го апреля 1899-го года по старому стилю в Петербурге; брат мой Сергей родился там же, 28-го февраля следующего года. При переходе нашем в отрочество, англичанок и француженок постепенно стали вытеснять отечественные воспитатели и репетиторы, при чем, нанимая их, отец как будто следовал остроумному плану выбирать каждый раз представителя другого сословия или племени.

Доисторическим элементом в этом списке был милейший Василий Мартынович, сельский учитель, приходивший знакомить нас с русской грамотой летом 1905-го года. Он помогает мне связать всю серию, ибо мое последнее воспоминание о нем относится к пасхальным каникулам 1915-го года, когда брат и я поехали заниматься лыжным спортом в оснеженную нашу Выру с отцом и с неким Волгиным, последним и худшим нашим гувернером. Добрый Василий Мартынович пригласил нас «закусить»; закуска оказалась настоящим пиршеством, им самим приготовленным, вплоть до великолепного, желтоватого сливочного мороженого, для производства которого у него был особый снаряд. Ярко возникают у меня в памяти лепные морщины его раскрасневшегося лба и прекрасно подделанное выражение удовольствия на лице у моего отца при появлении мясного блюда — жареного в сметане зайца, — которого он не терпел. Комната Василия Мартыновича в каменном здании образцовой школы, выстроенной отцом, была жарко натоплена. Мои новые лыжные сапоги оказывались по мере оттаиванья не столь непромокаемыми, как предполагалось, и чувство сырости, сжимавшей щиколотки, неприятно совмещалось с теплом шерстяной рубашки. Глазами, еще слезившимися от ослепительного снега, я старался разобрать висевший на стене так

называемый «типографический» портрет Льва Толстого, т. е. портрет, составленный из печатного текста, в данном случае «Хозяина и Работника», целиком пошедшего на изображение автора, при чем получилось разительное сходство с самим Василием Мартыновичем. Мы уже приступали к злосчастному зайцу, как распахнулась дверь, и запыхавшийся, заиндевелый, закутанный в бабий оренбургский платок, батовский слуга Христофор внес боком, с глупой улыбкой, большую корзинку с торчащими бутылками и всякой снедью, которую бабушка, зимовавшая в своем Батове, по бестактности сочла нужным послать нам на тот случай, если бы Василий Мартынович нас не докормил. Раньше, чем хозяин мог успеть обидеться, отец велел лакею ехать обратно с нераспакованной корзиной и краткой запиской по-французски, удивившей вероятно бабушку, как удивляли ее все поступки сына. В кружевных митенках, пышном шелковом пенюаре, напудренная, с округленной под мушку черной родинкой на розовой щеке, она казалась стилизованной фигурой в небольшом историческом музее, и таким же экспонатом казалась ее голубая кушетка, на которой она лежала целый день, обмахиваясь веером из слоновой кости, поглощая крупные леденцы-бульдегомы и всё сетуя о том, что некие темные силы, опутав любимейшего из ее сыновей, отвлекли его от блестящей чиновной карьеры. Особенно недоумевала она, как это мой отец, столь ценивший радости, доступные только при большом состоянии, может богатством рисковать, сделавшись либералом, т. е. поборником революции, которая (как она совершенно правильно предугадала) должна в конце концов привести его к нищете.

2

Василий Мартынович был сыном плотника. Следующая картинка в моем волшебном фонаре изображает молодого человека, которого назову А., сына дьякона. На прогулках с братом и со мной в холодноватое лето 1907-го года, он

носил черный плащ с серебряной пряжкой у шеи. В лесных дебрях, на глухой тропе под тем деревом, где когда-то повесился таинственный бродяга, А. нас забавлял довольно кошунственным представлением. Изображая нечто демоническое, хлопая черными, вампировыми крылами, он медленно кружился вокруг старой угрюмой осины, прямой участницы драмы. Как-то сырым утром, во время этой пляски плаща, он ненароком смахнул с собственного носа очки, и помогая их искать, я нашел у подножья дерева самца и самку весьма редкого в наших краях амурского бражника, — чету только что вылупившихся, восхитительно бархатистых, лиловато-серых существ, мирно висевших *in sorula* с травяного стебля, за который они уцепились шеншилевыми лапками. Осенью того же года А. поехал с нами в Биарриц, и там же внезапно покинул нас, оставив на подушке вместе с прощальной запиской безопасную бритву жиллет раннего типа, большую новинку, которую мы ему подарили на именины. Со мною редко бывает, чтобы я не знал, какое воспоминание мое собственное, а какое только пропущено через меня, и получено из вторых рук; тут я колеблюсь: многими годами позже, моя мать смеясь рассказывала о пламенной любви, которую она нечаянно зажгла. Как будто припоминаю полуотворенную дверь в гостиную и там, посередине зеленого ковра, нашего А. на коленях, чуть ли не ломающего руки перед моей оцепеневшей от удивления матерью; однако то обстоятельство, что я вижу сквозь жестикуляцию бедняги взмах его романтического плаща, наводит меня на мысль, не пересадил ли я лесной танец в солнечную комнату нашей биаррицкой квартиры, под окнами которой, в отделенном канатом углу площади, местный воздухоплаватель *Sigismond Lejoeux* занимался надуванием огромного желтого шара.

Следующим нашим гувернером — зимой 1907-го года — был украинец, симпатичный человек с темными усами и светлой улыбкой. Он тоже умел показывать штуки — например, чудный фокус с исчезновением монеты. Монета, положенная на лист бумаги, накрывается стаканом и мгновенно исчезает.

Возьмите обыкновенный стакан. Аккуратно заклейте отверстие кружком клетчатой или линованной бумаги, вырезанной по его периферии. На такую же бумагу посреди стола положите двугривенный. Быстрым движением накройте монету приготовленным стаканом. При этом смотрите, чтобы клетки или полоски на бумажном листе и на стакане совпали. Иначе не будет иллюзии исчезновения. Совпадение узоров есть одно из чудес природы. Чудеса природы рано занимали меня. В один из его выходных дней с бедным фокусником случился на улице сердечный припадок, и, найдя его лежащим на тротуаре, неразборчивая полиция посадила его в холодную с десятком пьяниц.

Следующая картинка кажется вставленной вверх ногами. На ней виден третий губернёр, стоящий на голове. Это был могучий латыш, который умел ходить на руках, поднимал высоко на воздух много мебели, играл огромными черными гириями и мог в одну секунду наполнить обыкновенную комнату запахом целой роты солдат. Ему иногда приходилось наказывать меня за ту или другую шалость (помню, например, как однажды, когда он спускался по лестнице, я с верхней площадки ловко уронил каменный шарик прямо на его привлекательную, необыкновенно твердую на вид и на звук голову); выбирая наказание, он пользовался совсем обычным педагогическим приемом: весело предлагал, что мы оба натянем боевые перчатки и попрактикуемся в боксе, после чего он ужасными, обжигающими и потрясающими ударами в лицо, похахатывая, парировал мой детский натиск и причинял мне невозможную боль. Хотя в общем я предпочитал эти неравные бои системе нашей бедной мадемуазель, для которой до судороги в кисти приходилось раз двести подряд переписывать штрафную фразу, вроде *Qui aime bien, châtie bien*, я не очень горевал, когда остроумный атлет отбыл после недолгого, но бурного пребывания.

Затем был поляк. Он был студент медик, из родовитой семьи, щеголь и красавец собой, с влажными карими глазами и густыми гладкими волосами, — несколько похожий

на знаменитого в те годы комика Макса Линдера, в честь которого я тут и назову его. Макс продержался с 1908-го по 1910-ый год. Помню, какое восхищение он вызвал во мне зимним утром в Петербурге, когда внезапное площадное волнение перебило течение нашей прогулки: казаки с глупыми и свирепыми лицами, размахивая чем-то, вероятно нагайками, напирали на толпу каких-то людей, сыпались шапки, чернелась на снегу галоша, и была минута, когда казалось, один из конных дураков направляется на нас. Вдруг, с ребяческим наслаждением, я заметил, что Макс наполовину вытащил из кармана револьвер, но всадник повернул в переулок. Менее интересным был другой перерыв в одной из наших прогулок, когда он нас повел знакомить со своим братом, изможденным ксендзом, чьи тонкие руки рассеянно витали над нашими православными вихрами, пока он с Максом обсуждал по-польски не то политические, не то семейные дела. Макс носил шелковые бирюзовые носки и кажется был атеистом. Летом в Выре он состязался с моим отцом в стрельбе, решета пулями ржавую вывеску «Охота Воспрещается», прибитую прадедом Рукавишниковым к стволу вековой ели. Предприимчивый, ловкий и крепкий Макс участвовал во всех наших играх, и потому мы удивлялись, когда в середине лета 1909-го года он что-то стал ссылаться на мигрень и общую *lassitude*, отказываясь кикать со мною футбольный мяч или итти купаться на реку. Гораздо позже я узнал, что тем летом у него завязался роман с замужней дамой, жившей за несколько верст от нас; он вдруг оказался страстным собачником: то и дело в течение дня улучал минуту, чтобы посетить псарню, где кормил и улещивал сторожевых догов. Их спускали с цепи при наступлении ночи, и ему приходилось встречаться с ними под покровом темноты, когда он пробирался из дома в жасминовую и спирейную заросль, где его земляк, камердинер моего отца, припрятывал для него «дорожный» велосипед Дукс со всеми аксессуарами — карбидом для фонаря, звонками двух сортов, добавочным тормазом, насосом, треугольным кожаным

футляром с инструментами, и даже зажимчиками для прозрачно-белых Максовых панталон. Обочинами проселочных дорог и горбатыми от поперечных корней лесными тропами отважный и пылкий Макс катил к далекому месту свидания — охотничьему павильону — по славной традиции светских измен. Его встречали на обратном пути студены туманы трезвого утра и четверка забывчивых псов, а уже около восьми мучительно начинался новый воспитательный день. Полагаю, что Макс не без некоторого облегчения покинул место своих еженощных подвигов, чтобы сопутствовать нам в нашей второй поездке в Биарриц. Там он взял двухдневный отпуск, чтобы совершить покаянное путешествие в священный Лурд, куда поехал впрочем в обществе смазливой и бойкой молодой ирландки, состоявшей в гувернантках при моей маленькой пляжной подруге Колетт. Он перешел от нас на службу в одну из петербургских больниц, а позднее был, по слухам, известным врачом в Польше.

На смену католику явился лотеранин, при том еврейского происхождения. Назову его Ленским. Он с нами ездил в Германию в 1910-ом году, после чего я поступил в Тенишевское Училище, а брат — в Первую Гимназию, и Ленский оставался помогать нам с уроками до 1913-го года. Он родился в бедной семье и охотно вспоминал, как между окончанием гимназии на юге и поступлением в петербургский университет зарабатывал на жизнь тем, что украшал морскими видами плоские, отшлифованные волнами, булыжники и продавал их как преспапье. Приехал он к нам с большим портретом петербургского педагога Гуревича, которого он весьма искусно, по волоску, нарисовал карандашом, но который почему-то отказался портрет приобрести, и портрет остался у нас висеть где-то в коридоре. «Я, конечно, импрессионист», небрежно замечал Ленский, рассказывая это.

Меня, как начинающего художника, Ленский сразу поразил контрастом между довольно в общем стройным передом фигуры и толстоватой изнанкой. У него было розовое овальное лицо, миниатюрная рыжеватая бородка, точеный

нос, ущемленный голым пенсне, светлые и тоже какие-то голые глаза, тонкие малиновые губы и бледно-голубая бритая голова со стыдливо-пухлыми складками кожи на затылке. Он не сразу привык ко мне, и с огорчением я вспоминаю, как вырвав у меня из рук «отвратительную карикатуру», он шагал, удаляясь, через комнаты вырского дома по направлению к веранде (являя мне именно то карпообразное очертание бокастого тела, которое я только-что так верно нарисовал) и, бросив мою картинку на стол перед моей матерью, восклицал: «Вот последнее произведение вашего дегенеративного сына!»

Внедрение новых наставников всегда сопровождалось у нас скандалами, но в данном случае мы с братом очень скоро смирились, открыв три основных свойства в Ленском: он был превосходный учитель; он был лишен чувства юмора; и в тонкое отличие от всех своих предшественников, он нуждался в особой нашей защите. В 1910-ом году мы как-то с ним шли по аллее в Киссингене, а впереди шли два раввина, жарко разговаривая на жаргоне, — и вдруг Ленский, с какой-то судорожной и жесткой торжественностью, озадачившей нас, проговорил: «Вслушайтесь, дети, они произносят имя вашего отца!» У нас в доме Ленский чувствовал себя в «нравственной безопасности» (как он выражался), только пока один из наших родителей присутствовал за обеденным столом. Но когда они были в отъезде, это чувство безопасности могло быть мгновенно нарушено какой-нибудь выходкой со стороны любой из наших родственниц или случайного гостя. Для теток моих выступления отца против погромов и других мерзостей российской и мировой жизни были прихотью русского дворянина, забывшего своего царя, и я не раз подслушивал их речи насчет происхождения Ленского, происков кагала и попустительства моей матери; и, бывало, я грубил им за это, и, потрясенный собственной грубостью, рыдал в клозете. Отрадная чистота моих чувств, если отчасти и была внушена слепым обожанием, с которым я относился к родителям, зато подтверждается тем, что Ленского я совершенно

не любил. Было нечто крайне раздражительное в его горловом голосе, педантичной правильности слога, изысканной аккуратности, манере постоянно подравнивать свои мягкие ногти какой-то особой машиночкой. Он жаловался моей матери, что мы с братом — иностранцы, барчуки, снобы, и патологически равнодушны к Гончарову, Григоровичу, Мамину-Сибиряку, которыми нормальные мальчики будто бы зачитываются. Добившись разрешения навязать нашему детскому быту более демократический строй, он в Берлине меня с братом перевел из Адлона в мрачный, буржуазный пансион Модерн на унылой Приватштрассе (притоке Потсдамской улицы), а изящные, устланные бобриком, лаково-зеркальные, полные воспоминаний детства, страстно-любимые мной Норд-Экспресс и Ориент-Экспресс были заменены гнусно-грязными полами и сигарной вонью укачливых и громких шнельцугов или вялым уютом русских казенных вагонов, с какими-то половыми вместо кондукторов. В заграничных городах, как впрочем и в Петербурге, он замирал перед утилитарными витринами, несколько не занимавшими нас. Собираясь жениться и не имея ничего, кроме жалованья, он с неимоверно тщательным расчетом старался перебороть против него настроенную судьбу, когда планировал свой будущий обиход. Время от времени необдуманные порывы нарушали его бюджет. В этом педанте жил и мечтатель и авантюрист, и антрепренер, и старомодный наивный идеалист. Заметив на Фридрихштрассе какую-то потаскуху, пожирающую глазами шляпу с пунцовым плерезом в окне модного магазина, он эту шляпу тут же ей купил — и долго не мог отделаться от потрясенной немки. В собственных приобретениях он действовал более осмотрительно. Сергей и я терпеливо выслушивали его подробные мечтания, когда он, бывало, расписывал каждый уголок в комфортабельной, хоть и скромной, квартире, которую он меблировал в уме для жены и себя. Однажды его блуждающая мечта сосредоточилась на дорогой люстре в магазине у Александра на Невском, торговавшем безвкуснейшими предметами буржуаз-

ной роскоши. Не желая, чтобы приказчик догадался, какой именно товар он обхаживает, Ленский сказал нам, что возьмет нас посмотреть на люстру только, если мы обещаем воздержаться от восклицаний восторга и слишком красноречивых взглядов. Со всевозможными предосторожностями и нарочито восхищаясь какой-то посторонней этажеркой, он подвел нас под ужасающего бронзового осьминога с гранатовыми глазами и только тогда мурлычащим вздохом дал нам понять, что это и есть облюбованная им вещь. С такими же предосторожностями, понижая голос, дабы не разбудить враждебного рока, он сказал, что познакомит нас в Берлине, куда выписал ее, со своей невестой. Мы увидели небольшую, изящную барышню в черном, с глазами газели под черной вуалькой, с букетом фиалок, пришпиленным к груди. Это было, помнится, перед аптекой на углу Потсдамер и Приватштрассе, и тихим голосом Ленский просил не сообщать нашим родителям о присутствии Мирры Григорьевны в Берлине, и человечек на механической рекламе в витрине без конца повторял у себя на картонной щеке по розовой дорожке, расчищенной от нарисованного мыла, движение бритвы, и с грохотом проносились трамваи, и уже шел снег.

3

Мы теперь подходим вплотную к теме этой главы. Зимой 1911-го или 12-го года Ленскому взбрела в голову дикая фантазия: нанять (у нуждающегося приятеля, Бориса Наумовича) волшебный фонарь («с длиннофокусным конденсатором», повторяет, как попугай, Мнемозина) и два раза в месяц по воскресениям устраивать у нас на Морской сеансы общеобразовательного характера, обильно уснащенные чтением отборных текстов, перед группой мальчиков и девочек. Он считал, что демонстрация этих картин не только будет иметь воспитательное значение для всей группы, но в частности научит брата и меня лучше ужиться с другими детьми. Преследуя эту страшную и невоплотимую мечту, он

собрал вокруг нас (двух замерших зайчиков — тут я брату был брат) рекрутов разных разрядов: наших кузенов и кузин; мало интересных сверстников, с которыми мы встречались на детских балах и светских елках; школьных наших товарищей; детей наших слуг. Обслуживал аппарат таинственный Борис Наумович, очень грустный на вид человек, которого Ленский звучно звал «коллега». Никогда не забуду первого «сеанса». Послушник, сбежав из горного монастыря, бродит в рясе по кавказским скалам и осыпям. Как это обычно бывает у Лермонтова, в поэме сочетаются невыносимые прозаизмы с прелестнейшими словесными миражами. В ней семьсот с лишним строк, и это обилие стихов было распределено Ленским между всего лишь четырьмя стеклянными картинками (неловким движением я разбил пятую перед началом представления). По соображениям пожарного порядка, выбрана была довольно большая комната, в углу которой находились ванна и котел с водой. Как театральная зала, она оказалась мала, и стулья пришлось тесно сдвинуть. Слева от меня сидела десятилетняя непоседа с длинными бледнозолотистыми волосами и нежным цветом лица, напоминающим розовый оттенок раковин; она сидела так близко, что я чувствовал верхнюю косточку ее бедра при каждом ее движении — она то теребила медальон, то продевала ладонь между затылком и дымом душистых волос, то со стуком соединяла коленки под шуршащим шелком желтого чехла, просвечивающим сквозь кружево платья, и это возбуждало во мне ощущения, на которые Ленский не рассчитывал. Впрочем, она скоро пересела. Справа от меня находился сын отцовского камердинера, совершенно неподвижный мальчик в матроске; он необыкновенно походил на Наследника, и по необыкновенному совпадению, страдал тем же трагическим недугом, гемофилией, так что по несколько раз в год синяя придворная карета привозила к нашему подъезду знаменитого доктора и подолгу ждала под косым снегом, который всё шел да шел, и если зацепиться взглядом за снежинку, спускающуюся мимо окна, можно было разглядеть ее гру-

боватую, неправильную форму и даже колыхание при тихом полете.

Потух свет. Ленский тоном бытовика-резонера приступил к чтению:

Немного лет тому назад
там, где сливаясь шумят,
обнявшись, будто две сестры,
струи Арагвы и Куры,
был монастырь.

Монастырь послушно появился на простыне и застыл там в красочном, но тупом оцепенении (хоть бы один стриж пронесся над ним!) на протяжении двухсот строк, после чего был заменен приблизительной грузинкой, обремененной этнографическим сосудом. Всякий раз как невидимый коллега убирал — без спеха — пластинку из прожектора, картина соскальзывала с экрана очень даже прытко, как если бы общее увеличение влияло не только на изображение гор и грузин, но и на скорость их скольжения при изъятии. Этим ограничивалось волшебство фонаря. Деликатным движением палочки Ленский обращал внимание недоброжелательных зрителей на чрезвычайно вульгарные горы, даже не принадлежавшие системе пленительных лермонтовских высот, которые

... в час утренней зари
курились как алтари,

и когда молодой монах стал рассказывать другому затворнику постарше о своей борьбе с барсом, кто-то в публике иронически зарычал. Чем дальше трусил голос по мужским рифмам монотонного ямба, тем яснее становилось, что некоторая часть аудитории втихомолку глумится над Ленским, и что мне предстоит услышать потом немало насмешливых отзывов по поводу всей затеи. Мне было и совестно и ужасно жаль героического комментатора, — его упорного бубнения, очерка острого профиля и толстого затылка, иногда вторгавшегося в область озаренного полотна, и особенно его нервной палочки, на которую, при неосторожном ее приближении

к экрану, съезжали световые краски, притрагиваясь к ее кончику с холодной игристой кошачьей лапки. К концу сеанса скука разрослась до-нельзя; нерасторопный Борис Наумович долго искал последнюю пластинку, смешав ее с «просмотренными», и пока Ленский терпеливо ждал в темноте, некоторые из мальчиков стали довольно святотатственно отбрасывать на пустой светлый экран черные тени поднятых рук, а спустя еще несколько секунд один неприятный озорник (неужели это был я — не взирая на всю чувствительность?) ухитрился показать силуэт ноги, что конечно сразу вызвало шумное подражание. Но вот — пластинка нашлась, и вспыхнула на полотне — и неожиданно мне было пять лет, а не двенадцать, ибо случайная комбинация красок мне напомнила, как во время одной из ранних заграничных поездок экспресс, словно скрывшись от горной грозы, углубился в Сен-Готардский туннель, а когда с облегченной переменой шума вышел оттуда: —

о, как сквозили в вышине
в зелено-розовом огне,
где радуга задела ель,
скала и на скале газель!

4

За этим представлением последовали другие, еще более ужасные. Меня томили, между прочим, смутные отзвуки некоторых семейных рассказов, относящихся к дедовским временам. В середине восьмидесятых годов Иван Васильевич Рукавишников, не найдя для сыновей школы по своему вкусу, нанял несколько превосходных преподавателей и собрал с десятков мальчиков, которым он предложил несколько лет бесплатного обучения в своем доме на Адмиралтейской набережной. Предприятие не имело большого успеха. Не всегда бывали сговорчивы те знакомые его, чьи сыновья подходили по его мнению в товарищи его собственным, Василию (неврастенику, которого он тиранил) и Владимиру

(даровитому отроку, любимцу семьи, которому предстояло в шестнадцать лет умереть от чахотки), а некоторые из тех мальчиков, которых ему удалось набрать (подчас даже платя деньги небогатым родителям), вскоре оказались питомцами неприемлемыми. С безогчетным отвращением я представлял себе Ивана Васильевича упрямо обследующим столичные гимназии и своими страшными невеселыми глазами, столь знакомыми мне по фотографиям, выискивающим мальчиков, наиболее привлекательных по наружности среди первых учеников. По существу рукавишниковские причуды ничем не походили на скромную затею Ленского, но случайная мысленная ассоциация побудила меня воспрепятствовать тому, чтобы Ленский продолжал являться на людях в глупом и навязчивом виде, и после еще трех представлений («Медный Всадник», «Дон Кихот» и «Африка — Страна Чудес»), мать сдалась на мои мольбы и, заработав свои сто или двести рублей, товарищ нашего добряка исчез со своим громоздким аппаратом навеки.

Однако я помню не только убожество, аляповатость, желатиновую несъедобность в зрительном плане этих картин на мокром полотне экрана (предполагалось, что влага делает их глаже); я помню и то, как прелестны были самые пластинки, вне всякой мысли о фонаре и экране, — если просто поднимешь двумя пальцами такое драгоценное стеклянное чудо на свет, чтобы в частном порядке, и даже не совсем законно, в таинственной оптической тишине, насладиться прозрачной миниатюрой, карманным раем, удивительно ладными мирками, проникнутыми тихим светом чистейших красок. Гораздо позже я вновь открыл ту же отчетливую и молчаливую красоту на круглом сияющем дне волшебной шахты — лабораторного микроскопа. Апарат на стеклянной пластинке уменьшением своим разжигал фантазию; орган насекомого под микроскопом был увеличен ради холодного изучения. Мне думается, что в гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается умень-

шением крупных вещей и увеличением малых: точка искусства.

5

Ленский был человек разносторонний, сведущий, умеющий разъяснить решительно всё, что касалось школьных уроков; тем более нас поражали его постоянные университетские неудачи. Причиной их была вероятно совершенная его бездарность в области финансовой и государственной, т. е. именно в той области, которую он избрал для изучения. Помню, в какой лихорадке он находился накануне одного из самых важных экзаменов. Я беспокоился не меньше его, и в порыве деятельного сострадания не мог удержаться от соблазна подслушать у двери, как по его же просьбе мой отец проверяет в виде репетиции к экзамену его знание «Принципов Политической Экономии» *Charles Gide*. Листая книгу, отец спрашивал, например: в чем заключается разница между банкнотами и бумажными деньгами? — и Ленский как-то ужасно предприимчиво и даже радостно прочищал горло, а затем погружался в полное молчание, как будто его не было. После нескольких таких вопросов прекратилось и это его бойкое покашливание, и паузы нарушались только легким постукиванием отцовских ногтей по столу, и только раз с отчаянием и надеждой страдалец воскликнул: «Владимир Дмитриевич, я протестую. Этого вопроса в книге нет». Но вопрос в книге был. И наконец отец закрыл ее почти беззвучно и проговорил: «Голубчик, вы не знаете ничего». «Разрешите мне быть другого мнения», ответил Ленский с достоинством. Сидя очень прямо, он выехал на нашем Бенце в университет, оставался там долго, вернулся в извозчичьих санях, весь сгорбленный, среди невероятной снежной бури, и в немом отчаянии поднялся к себе.

В конце своего пребывания у нас он женился и уехал в свадебное путешествие на Кавказ, в лермонтовские места, после чего вернулся к нам на одну зиму. В его отсутствие,

летом 1913-го года, *Monsieur Noyer*, коренастый швейцарец с пушистыми усами, читал нам «*Cyrano de Bergerac*», виртуозно меняя голос сообразно с персонажами. Когда он первый раз поехал с нами верхом, его лошадь споткнулась, и он через ее голову упал в куст, как на старомодной карикатуре. Сервируя в теннисе, он считал нужным стоять на самой линии, широко расставив толстые ноги в смятых парусиновых штанах, затем как-то приседал и ударял по подброшенному мячу со страшной силой, но ничего не получалось, — мяч попадал либо в сетку, либо в некошенное поле, за решетчатой оградой, сквозь которую упорным полетом, — но об этих белых бабочках я уже писал.

Весной 1914-го года, когда Ленский нас окончательно покинул, к нам поступил Волгин, сын обедневшего симбирского помещика, молодой человек обворожительной наружности, с душевными интонациями и прекрасными манерами, но с душой пошляка и мерзавца. К этому времени я уже не нуждался в каком-либо надзоре, учебной же помощи он не мог мне оказать никакой, ибо был безнадежный неуч (проиграл мне, помню, великолепный кастет, побившись со мной об заклад, что письмо Татьяны начинается так: «Увидя почерк мой, вы верно удивитесь»), и всё, что от него я получил (кроме кастета), были рассказы, которыми я сначала заслушивался, о его похождениях с женщинами — рассказы, вскоре сменившиеся неприличными сплетнями о нашей семье: их он добывал у одной моложавой нашей родственницы, на которой впоследствии женился. При Советах этот бархатный Волгин был комиссаром — и вскоре устроился так, чтобы сбыть жену в Соловки. Не знаю, чем кончилась его карьера.

Но Ленского я совсем потерял из вида. Еще когда он был с нами, он основал на где-то занятые деньги довольно фантастическое предприятие для скупки и эксплуатации разных необыкновенных патентов. Эти изобретения он не то, чтобы выдавал за свои, но усыновлял с такой нежностью, что отцовство его бросалось всем в глаза, хо-

тя было основано на чувствах, а не на фактах. Однажды он с гордостью пригласил нас испробовать на нашем автомобиле «изобретенный» им новый тип мостовой, состоявший из каких-то переплетенных металлических полосок; мы попробовали, — и лопнула шина. В первую мировую войну он поставил армии пробную партию лошадиного корма в виде плоских, серых галет; он всегда носил с собой образец, небрежно грыз его и предлагал грызть друзьям. От этих галет многие лошади тяжело болели. Затем, в 1918-ом году, когда мы уже были в Крыму, он нам писал, предлагая щедрую денежную помощь. Не знаю, успел ли бы он ее оказать, ибо какое-то наследство, им полученное, он вложил в увеселительный парк на черноморском побережье, со скетинг ринком, музыкой, каскадами, гирляндами красных и зеленых лампочек, но тут накатились большевики и потушили иллюминацию, а Ленский бежал за границу и, в двадцатых годах, по слухам, жил в большой бедности на Ривьере, зарабатывая на жизнь тем, что расписывал морскими видами белые булыжники. Не знаю, что было с ним потом. Несмотря на некоторые свои странности, это был в сущности очень чистый, порядочный человек, тяжеловесные «диктанты» которого я до сих пор помню: «Что за ложь, что в театре нет лож! Колоколотейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей».

6

Когда воображаю чередование этих учителей, меня не столько поражают те забавные перебои, которые они внесли в мою молодую жизнь, сколько устойчивость и гармоническая полнота этой жизни. Я с удовлетворением отмечаю высшее достижение Мнемозины: мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям по всей черновой партитуре былого. И мне нравится представить себе, при громком ликующем разрешении собранных

звуков, сначала какую-то солнечную пятнистость, а затем, в проясняющемся фокусе, праздничный стол, накрытый в аллее. Там, в самом устье ее, у песчаной площадки вырской усадьбы, пили шоколад в дни летних именин и рождений. На скатерти та же игра светотени, как и на лицах, под движущейся легендарной листвою лип, дубов и кленов, одновременно увеличенных до живописных размеров и уменьшенных до вместимости одного сердца, и управляет всем праздником дух вечного возвращения, который побуждает меня подбираться к этому столу (мы, призраки, так острожны!) не со стороны дома, откуда сошлись к нему остальные, а из вне, из глубины парка, точно мечта, для того, чтоб иметь право вернуться, должна подойти босиком, беззвучными шагами блудного сына, изнемогающего от волнения. Сквозь трепетную призму я различаю лица домочадцев и родственников, двигаются беззвучные уста, беззаботно произнося забытые речи. Мреет пар над шоколадом, синим блеском отливают тарталетки с черничным вареньем. Крылатое семя спускается как маленький геликоптер с дерева на скатерть, и через скатерть легла, бирюзовыми жилками внутренней стороны к переливчатому солнцу, голая рука девочки, лениво вытянувшаяся с раскрытой ладонью в ожидании чего-то — быть может, щипцов для орехов. На том месте, где сидит очередной гувернер, вижу лишь текучий, неясный переменный образ, пульсирующий вместе с меняющимися тенями листвы. Вглядываюсь еще, и краски находят себе очертания, и очертания приходят в движение; точно по включении волшебного тока, врываются звуки: голоса, говорящие вместе, треск расколотого ореха, полушаг небрежно переданных щипцов. Шумят на вечном вырском ветру старые деревья, громко поют птицы, а из-за реки доносится нестройный и восторженный гам купающейся деревенской молодежи, как дикие звуки растущих оваций.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Мне было одиннадцать лет, когда отец решил, что получаемое мною домашнее образование может с пользой пополняться школой. В январе 1911-го года я поступил в третий семестр Тенишевского Училища: семестров было всего шестнадцать, так что третий соответствовал первой половине второго класса гимназии.

Учебный год длился с начала сентября до первой трети мая, с обычными праздничными перерывами, во время которых гигантская елка касалась своей нежной звездой высокого, бледно-зелеными облаками расписанного, потолка в одной из нижних зал нашего дома, или же сваренное вкрутую яйцо опускалось с овальным звуком в дымящуюся фиолетовую хлябь.

Когда камердинер, Иван Первый (затем забранный в солдаты), или Иван Второй (додержавшийся до тех времен, когда я его посылал с романтическими поручениями), будил меня, смуглая мгла еще стояла за окнами, жужжало в ушах, поташнивало, и электрический свет в спальне резал глаза мрачным иодистым блеском. За какие-нибудь полчаса надобно было подготовить скрытый накануне от репетитора урок (о, счастливое время, когда я мог сфотографировать мозгом десять страниц в столько же минут!), выкупаться, одеться, побрекфастать. Таким образом утра мои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса и фехтованья с удивительно гуттаперчевым французом Лустало. Он продолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксовать и биться на рапирах с моим отцом, и, проглотив чашку какао в столовой на нижнем этаже, я оттуда кидался, уже надевая пальто, через зеленую залу (где мандаринами и бором пахло так долго после Рождества), по направлению к «библиотечной», откуда доносились топот и шарканье. Там я находил отца, высокого, плотно сложенного человека, казавшегося еще крупнее в своем белом, стеганом тренировочном ко-

стюме и черной выпуклой решетчатой маске: он необыкновенно мощно фехтовал, передвигаясь то вперед, то назад по наканифоленному линолеуму, и возгласы проворного его противника — «*Battez!*», «*Rompez!*» — смешивались с лязгом папир. Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица, чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток. Глубокие клубные кресла с толстыми сидениями стояли там и сям вдоль книгами выложенных стен. В одном конце поблескивали штанги выписанного из Англии пунчинг-бола, — эти четыре штанги подпирали крышеобразную лакированную доску, с которой висел большой, грушевидный, туго надутый кожаный мешок для боксовых упражнений; при известной сноровке, можно было так по нему бить, чтобы производить пулеметное «ра-та-та-та» об доску, и однажды, в 1917-ом году, этот подозрительный звук привлек через сплошное окно ватагу до зубов вооруженных уличных бойцов, тут же удостоверившихся, впрочем, что я не урядник в засаде. Когда, в ноябре этого пулеметного года (которым повидимому кончилась навсегда Россия, как в свое время кончились Афины или Рим), мы покинули Петербург, отцовская библиотека распалась, кое-что ушло на папиросную завертку, а некоторые довольно странные остаточки и бездомные тени появлялись, — как на спиритическом сеансе — за границей. Так, в двадцатых годах, найденуш с нашим экслибрисом подвернулся мне на уличном лотке в Берлине, причем довольно кстати оказался «Войной Миров» Уэльза. Прошли еще годы, — и вот держу в руках обнаруженный в Нью-Йоркской Публичной Библиотеке экземпляр каталога отцовских книг, который был отпечатан еще тогда, когда они стояли плотные и полнокровные на дубовых полках, и застенчивая старуха-библиотекарша в пенсне работала над картотекой в неприметном углу. Он снова надевал маску, и возобновлялись топ, выпады и стрепет. Я же спешил обратно тем же путем, что пришел, словно репетируя сегодняшнее посещение. После

густого тепла вестибюля, где, за тяжелой решеткой, которую одной рукой мог поднять здоровенный сынок швейцара Устина, трещали в камине березовые дрова, наружный мороз ледяной рукой сжимал легкие. Прежде всего я смотрел который из двух автомобилей, Бенц или Уользлей, подан, чтобы мчать меня в школу. Первый из них состоял под управлением кроткого бледнолицего шофера Волкова; это был мышиного цвета ландолет... По сравнению с бесшумной электрической каретой, ему предшествовавшей, очерк этого Бенца поражал своей динамичностью, но, в свою очередь, стал казаться старомодным и косно квадратным, как только новый длинный черный английский лимузин рольс-ройсовых кровей стал делить с ним гараж во дворе дома.

Начать день поездкой в новой машине значило начать его хорошо. Пирогов, второй шофер, был довольно независимый толстячек, покинувший царскую службу оттого что не захотел быть ответственным за какой-то ненравившийся ему мотор. К рыжеватой комплекции пухлого Пирогова очень шла лисья шубка, надетая поверх его вельветиновой формы, и бутылообразные оранжевые краги. Если задержка в уличном движении заставляла этого коротыша неожиданно затормозить — упруго упереться в педали, — его затылок, отделенный от меня стеклом перегородки, наливался кровью, что впрочем случалось и тогда, когда, пытаясь ему что-нибудь передать при помощи не очень разговорчивого рупора, я сжимал писклявую, бледно-серой материей и сеткой обтянутую грушу, сообщавшуюся с бледно-серым шнуром, ведущим к нему. Этой драгоценной городской машине он откровенно предпочитал красный, с красными кожаными сидениями, торпедо-Опель, которым мы пользовались в деревне; на нем он возил нас по Варшавскому шоссе, открыв глушитель, со скоростью семидесяти километров в час, что тогда казалось упоительным, и как гремел ветер, как пахли прибитая дождем пыль и темная зелень полей, — а теперь мой сын, гарвардский студент, небрежно делает столько же в полчаса, запросто катя из Бостона в Альберту, Калифор-

нию или Мексику. Когда в 1915-ом году Пирогова призвали, его заменил корявый, кривоногий, черный, с каким-то диким выражением желтых глаз, Цыганов, бывший гонщик, участвовавший в международных состязаниях и сломавший себе три ребра в Бельгии. Летом или осенью 1917-го года он решил, несмотря на энергичные протесты отца, спасти страстно полюбившийся ему Уользлей от возможной конфискации, для чего разобрал его на части, а части попрятал в различные, одному ему известные места, и вероятно был бы привлечен моим отцом к суду, если бы не помешали более важные события. Не знаю почему, но на петербургских торцах снег и гололедица не мешали так езде, как, скажем, в асфальтированном Бостоне сорок лет спустя, — на параллели Неаполя и при гораздо более совершенных машинах. Не помню, чтобы когда-либо погода помешала мне доехать до училища всего в несколько минут. Наш розовый гранитный особняк был № 47 по Большой Морской. За ним следовал дом Огинского (№ 45). Затем шли итальянское посольство (№ 43), немецкое посольство (№ 41) и обширная Мариинская Площадь, после которой номера домов продолжали понижаться по направлению к Дворцовой Площади. Слева от Мариинской Площади, между ней и великолепным, но приедающимся Исакием, был сквер; там однажды нашли в листве невиннейшей липы ухо террориста, павшего при неряшливой до легкомыслия перепаковке смертоносного свертка в снятой им комнате недалеко от площади. Те же самые деревья (филигранный серебряный узор над горкой, с которой мы громко скатывались, ничком на плоских санках, в детстве) были свидетели тому, как конные жандармы, укрошавшие Первую Революцию, сбивали удалыми выстрелами, точно хлопая по воробьям, ребятишек, вскарабкавшихся на ветки.

Повернув на Невский, автомобиль минут пять ехал по нему, и как весело бывало без усилия обгонять самых быстрых и храпливых коней, — какогонибудь закутанного в шинель гвардейца в легких санях, запряженных парой во-

роных под синей сеткой. Мы сворачивали влево по улице с прелестным названием Караванная, навсегда связанной у меня с магазином игрушек Пето и с цирком Чинизелли, из круглой кремовой стены которого выпрастывались каменные лошадиные головы. Наконец, за каналом, мы сворачивали на Моховую и там останавливались у ворот училища. Перепрыгнув через подворотню, я бежал по туннельному проходу и пересекал широкий двор к дверям школы.

3

Став одним из лидеров Конституционно-Демократической партии, мой отец тем самым презрительно отверг все те чины, которые так обильно шли его предкам. На каком-то банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха — и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира. Училище, в которое он меня определил, было подчеркнуто передовое. Как мне пришлось более подробно объяснить в американском издании этой книги, классовые и религиозные различия в Тенишевском Училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от всех прочих школ мира. Как во всех школах мира (да будет мне позволено подделаться тут под толстовский дидактический говорок), ученики терпели некоторых учителей, а других ненавидели. Как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений; и как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом; учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью; не отдавал школе ни одной крупички души, сберегая все свои силы для домашних отряд, — *своих* игр, *своих* увлечений и причуд, *своих* бабочек, *своих* любимых книг, — и в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только помень-

ше заботилась о спасении моей гражданской души. Меня обвиняли в нежелании «приобщиться к среде», в надменном щегольстве французскими и английскими выражениями (которые попадали в мои русские сочинения только потому, что я валял первое, что приходило на язык), в категорическом отказе пользоваться отвратительно мокрыми полотенцами и общим розовым мылом в умывальной, в том, что я брезговал захватанным серым хлебом и чуждым мне чаем, и в том, что при драках я пользовался по-английски наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной. Один из наиболее общественно настроенных школьных наставников, плохо разбиравшийся в иностранных играх, хотя весьма одобрявший их группово-социальное значение, пристал ко мне однажды с вопросом, почему, играя в футбол, я (страстно ушедший в голкиперство, как иной уходит в суровое подвижничество) всё стою где-то «на задворках», а не бегаю с другими «ребятами». Особой причиной раздражения было еще то, что шофер «в ливрее» привозит «барчука» на автомобиле, между тем как большинство хороших теннисцев пользуется трамваем. Наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам. Помню, в какое бешенство приходил темпераментный В. В. Гиппиус, один из столпов училища, довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом (тайный автор замечательных стихов), оттого что я решительно отказывался участвовать в каких-то кружках, где избиралось «правление», и читались исторические рефераты, а впоследствии происходили даже дискуссии на политические темы. Напряженное положение, создавшееся вследствие моего сопротивления этой скуке, этим бесплатным добавлениям к школьному дню, усугублялось тем, что мои общественно настроенные наставники — несомненно прекраснейшие благонамеренные люди — с каким-то изуверским упорством ставили мне в пример деятельность моего отца.

Эту деятельность я воспринимал, как часто бывает с

детьми знаменитых отцов, сквозь привычные семейные приемы, недоступные посторонним, причем в отношении моем к отцу было много разных оттенков, — безоговорочная, как бы беспредметная, гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших его особенностей, и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий (пишет ли он передовицу-звезду для «Речи», работает ли по своей специальности криминалиста, выступает ли как политический оратор, участвует ли в своих бесконечных собраниях), мы с ним всегда в заговоре, и посреди любого из этих внешне чуждых мне занятий он может мне подать — да и подавал — тайный знак своей принадлежности к богатейшему «детскому» миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью, или как сегодня связан с сыном.

Заседания часто происходили у нас в доме, и о том, что такое заседание должно было состояться, всегда говорило доносившееся из швейцарской жужжанье особого снаряда, несколько похожего на Зингеровскую машину, с колесом, которое за ручку вращал швейцар Устин, занимаясь бесконечной очинкой «комитетских» карандашей. Этот не раз мной упомянутый Устин казался — как столь многие члены нашей многочисленной челяди — примерным старым слугой, балагуром и добряком; женат он был на толстой эстонке, которая с пресмешным отрывистым шипом звала его из подвальной квартирки («Устя! Устя!»), откуда тепло пахло курицей. Но повидимому постоянная нудная работа над этими красивыми карандашами незаметным образом повлияла на его нрав, до того его внутренне озлобив, что он, как впоследствии выяснилось, поступил на службу в тайную полицию и состоял в прибыльном контакте с безобидными, но надоедливими шпиками, всегда вертевшимися в соседстве нашего дома.

Около восьми вечера в распоряжение Устина поступали многочисленные галоши и шубы. Похожий несколько на Теодора Рузвельта, но в более розовых тонах, появлялся

Милуков в своем целлулоидовом воротничке. И. В. Гессен, потирая руки и слегка наклонив на бок умную лысую голову, вглядывался поверх очков в присутствующих. А. И. Каминка, с иссиня-черными зачесанными волосами и выражением предупредительного испуга в подвижных, круглых, карих глазах, уже что-то жарко доказывал однопартийцу. Постепенно переходили в комитетскую, рядом с библиотекой. Там, на темнокрасном сукне длинного стола, были разложены стройные карандаши, блестели стаканы, толпились на полках переплетенные журналы, и стучали маятником высокие часы с вестминстерскими курантами. За этим помещением были сложные лабиринты, сообщавшиеся с какими-то чуланами и другими дебрями, куда бывало надолго уходил страдавший животом Лустало, и где, во время игр с двоюродным братом, Юриком Рауш, я добирался до Техаса, — и там однажды, по случаю какого-то особого заседания, полиция поместила удивительно нерасторопного агента, толстого, тихого, подслеповатого господина, в общем довольно приличного вида, который, будучи обнаружен, неторопливо и тяжело опустился на колени перед старой нашей библиотечаршей, Людмилой Абрамовной Гринберг. Интересно, как бы я мог делиться всем этим с моими школьными товарищами и учителями.

4

Реакционная печать беспрестанно нападала на кадетов, и моя мать, с беспристрастностью ученого коллекционера, собирала в альбом образцы бесталанного русского карикатурного искусства (прямого исчадья немецкого). На них мой отец изображался с подчеркнута «барской» физиономией, с подстриженными «по-английски» усами, с бобриком, переходившим в плешь, с полными щеками, на одной из которых была родинка, и с «набоковскими» (в генетическом смысле) бровями, решительно идущими вверх от переносицы римского носа, но теряющими на полпути всякий след растительности. Помню одну карикатуру, на которой от него и от много-

зубого котоусого Милюкова благодарное Мировое Еврейство (нос и бриллианты) принимает блюдо с хлеб-солью — матушку Россию. Однажды (года точно не помню, вероятно 1911-ый или 12-ый) «Новое Время» заказало какому-то проходимцу оскорбительную для отца статью. Так как ее автор (некто Снесарев, если память мне не изменяет) был личностью недугеспособной, мой отец вызвал на дуэль редактора газеты, Алексея Суворина, человека вероятно несколько более приемлемого в этом смысле. Переговоры длились несколько дней; я ничего не знал, но однажды в классе заметил, что какой-то открытый на определенной странице журнальчик ходит по рукам и вызывает смешки. Я перехватил его: журнальчик оказался площадным еженедельником, где в кафешантанных стишках расписывалась история вызова со всякими комментариями; из них я между прочим узнал, что в секунданты отец пригласил своего зятя, адмирала Коломейцева, героя японской войны: в Цусимском сражении капитану второго ранга Коломейцеву, командовавшему миноносцем, удалось пришвартоваться к горящему флагманскому броненосцу и снять с него начальника эскадры, раненого в голову адмирала Рождественского, которого лично мой дядя не терпел. По окончании урока я установил, что журнальчик был принесен одним из моих лучших друзей. Я обвинил его в предательстве. В последовавшей драке он, упав навзничь на парту, зацепился ногой обо что-то. У него треснула щиколодка, после чего он пролежал в постели несколько недель, при чем благородно скрыл и от семьи и от школьных учителей мое участие в деле.

К ужасным чувствам, возбужденным во мне журнальчиком, болезненно примешивался образ бедного моего товарища, которого как труп нес вниз по лестнице другой товарищ, силач Попов, горилообразный, бритоголовый, грязный, но довольно добродушный мужчина-гимназист, — с ним даже боксом нельзя было совладать, — который ежегодно «оставался», так что вероятно вся школа, класс за классом, прозрачно прошла бы через него, если бы в

14-ом году он не убежал на фронт, откуда вернулся гусаром. Как на зло в тот день автомобиль за мной не приехал, пришлось взять извозчика, и во время непривычного, невероятно медленного унылого и холодного путешествия с Моховой на Морскую, я многое успел передумать. Я теперь понимал, почему накануне мать не спустилась к обеду, и почему уже третье утро приходил Тернан, фехтовальщик-тренер, считавшийся еще лучше, чем Лустало. Это не значило, что выбор оружия был решен, — и я мучительно колебался между клинком и пулей. Мое воображение осторожно брало столь любимую, столь жарко дышащую жизнью фигуру фехтующего отца и переносило ее, за вычетом маски и защитной байки, в какой-нибудь сарай или манеж, где зимой дрались на шпажных дуэлях, и вот я уже видел отца, и его противника, в черных штанах, с обнаженными торсами, яростно бьющимися — видел даже и тот оттенок энергичной неуклюжести, которой элегантнейший фехтовальщик не может избежать в настоящем поединке. Этот образ был так отвратителен, так живо представлял я себе спелую наготу бешено пульсирующего сердца, которое вот-вот проткнет шпага, что мне на мгновенье захотелось, чтобы выбор пал на более механическое оружие. Но тотчас же мое отчаяние еще усилилось.

Пока сани, в которых я горбился, ползли толчками по Невскому, где в морозном тумане уже зажглись расплывчатые огни, я думал об увесистом черном браунинге, который отец держал в правом верхнем ящике письменного стола. Этот обольстительный предмет, к которому как на поклон я водил Юрика Рауша, был так же знаком мне, как остальные, более очевидные, украшения кабинета: модный в те дни брик-а-брак из хрусталя или камня; многочисленные семейные фотографии; огромный, мягко освещенный Перуджино; небольшие, отливающие медвяным блеском под своими собственными лампочками, голландские полотна; цветы и бронза; и, прямо за чернильницей огромного письменного стола, приделанный к его горизонту, розовато-дымча-

тый пастельный портрет моей матери работы Бакста: художник написал ее вполоборота, изумительно передав нежные черты, высокий зачес пепельных волос, сизую голубизну глаз, округлый очерк лба, изящную линию шеи. Но когда я просил дряхлого, похожего на тряпичную куклу, возницу ехать скорее, я наткнулся на сложный, сонный обман: старик привычным полувзмахом руки обманывал лошадь, показывая будто собирается вытащить кнутышко из голенища правого валенка, а лошадь обманывала его тем, что, тряхнув головой, притворялась, что ускоряет трусцу. Я же в снежном оцепенении, в которое меня привела эта тихая езда, переживал все знаменитые дуэли, столь хорошо знакомые русскому мальчику. Грибоедов показывал свою окровавленную руку Якубовичу. Пистолет Пушкина падал дулом в снег. Лермонтов под грозовой тучей улыбался Мартынову. Я даже воображал, да простит мне Бог, ту бездарнейшую картину бездарного Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собина. Кажется, нет ни одного русского автора, который не описал бы этих английских дуэлей *à volonté*, и покамест мой дремотный ванька сворачивал на Морскую и полз по ней, в туманном моем мозгу, как в магическом кристалле, силуэты дуэлянтов сходились — в рощах старинных поместий, на Волковом поле, за Черной Речкой на белом снегу. И, как бы промеж этих наносных образов, бездной зияла моя нежная любовь к отцу — гармония наших отношений, теннис, велосипедные прогулки, бабочки, шахматные задачи, Пушкин, Шекспир, Флобер и тот повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, которые составляют тайный шифр счастливых семей.

Предоставив Устину заплатить рупь извозчику, я кинулся в дом. Уже в парадной донеслись до меня сверху громкие веселые голоса. Как в нарочитом апофеозе, в сказочном мире всё разрешающих совпадений, Николай Николаевич Коломейцев в своих морских регалиях спускался по мраморной лестнице. С площадки второго этажа, где без-

рукая Венера высилась над малахитовой чашей для визитных карточек, мои родители еще говорили с ним, и он, спускаясь, со смехом оглядывался на них и хлопал перчаткой по баллюстраде. Я сразу понял, что дуэли не будет, что противник извинился, что мир мой цел. Минуя дядю, я бросился вверх на площадку. Я увидел спокойное всегдашнее лицо матери, но взглянуть на отца я не мог. Мне удалось, в виде психологического алиби, пролепетать что-то о драке в школе, но тут мое сердце поднялось, — поднялось, как на зыби поднялся «Буйный», когда его палуба на мгновение сравнялась со срезом «Князя Суворова», и у меня не было носового платка.

Всё это было давно, — задолго до той ночи в 1922-ом году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милюкова от пули двух темных негодяев, и, пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен выстрелом в спину; но ни тени от этого будущего не падало на нарядно озаренную лестницу петербургского дома, и, как всегда, спокойна была большая прохладная ладонь, легшая мне на голову, и несколько линий игры в сложной шахматной композиции не были еще слиты в этюд на доске.

В. Набоков

**
*

Вдоль копен сложенных снопов
 Проходят тени облаков.
 Проходят важно, не спеша,
 А небо ясно как душа,
 Когда подобно облакам
 Проходят медленно и там,
 Лазурный заслоня свет,
 Воспоминанья страшных лет.

А. Величковский

Д Н Е В Н И К

(1954)

1

Ну да — немного человечности,
Клочек неснившегося сна.
А рассуждения о вечности...
Да и кому она нужна!

Ну да — сиянье безнадежности,
И жизнь страшна и мир жесток.
А всё-таки — немножко нежности,
Цветка хоть чахлый лепесток...

Но продолжают мучения
И звезды катятся во тьму
И поздние нравоучения,
Как всё на свете — ни к чему.

2

*Но черемуха услышит
И на дне морском простит...
О. Мандельштам*

Это было утром рано
Или было поздно вечером
(может быть и вовсе не было).

Фиолетовое небо
И, за просиявшим глетчером,
Черный рокот океана.

...Без прицела и без промаха
А потом домой, шажком...

И оглохшая черемуха
Не простит на дне морском!

3

Луны начищенный пятак
 Блеснул сквозь паутину веток,
 Речное озаряя дно.

И лодка — повернувшись так
 Не может повернуться этак,
 Раз всё, вперед, предрешено.

А если не предрешено?
 Тогда... И я могу проснуться
 (О, только разбуди меня!),

Широко распахнуть окно
 И благодарно улыбнуться
 Сиянью завтрашнего дня.

4

«Желтофиоль» — похоже на виолу,
 На меланхолию, на канифоль.
 Иллюзия относится к Эолу,
 Как к белизне — безмолвие и боль.
 И, подчиняясь рифмы произволу,
 Мне всё равно — пароль или король.

Поэзия — точнейшая наука:
 Друг друга отражают зеркала,
 Срывается с натянутого лука
 Отравленная музыкой стрела
 И в пустоту летит, быстрее звука...

«...Оставь меня. Мне ложе стелет скука»!

5

Всё на свете пропадает даром.
Что же Ты робеешь? Не робей.
Размозжи его одним ударом,
На осколки звездные разбей.

Отрави его горчичным газом
Или бомбами испепели —
Что угодно — только кончи разом
С мукою и музыкой земли!

6

Художников развязная мазня,
Поэтов выпренная болтовня...
Гляжу на это рабское старанье,
Испытывая жалость и тоску:
Насколько лучше — бляенье баранье,
Мычанье, кваканье, кукуреку.

7

Всё на свете не беда,
Всё на свете ерунда,
Всё на свете прекратится —
И, всего верней, — проститься,
Дорогие господа,
С этим миром навсегда.

Можно и не умирая,
Оставаясь подлецом,
Нежным мужем и отцом,
Притворяясь и играя,
Быть отличным мертвецом.

8

Деревья, автомобили,
Лягушки в пруду поют.
...Сегодня меня убили,
Завтра тебя убьют.

Ну, мало ли что бывает,
Мало ли что бывало —
Вот облако проплывает,
Проплывает, как проплывало...

9

Жизнь пришла в порядок.
В золотом покое
На припеке грядок
Нежатся левкой.

Белые, лиловые
И вчера и завтра.
В солнечной столовой
Накрывают завтрак.

...В озере купаться
— Как светла вода! —
И не просыпаться
Больше никогда.

10

Сознание, как море, не может молчать,
Стремится сдержаться, не может сдержаться,
Всё рвется на всё и всему отвечать,
Всему удивляться, на всё раздражаться.

Головокруженье с утра началось,
Всю ночь продолжалось головокруженье,
И вот — долгожданное счастье сбылось:
На миг ослабело Твое притяженье.

Был синий рассвет. Так блаженно спалось
Так сладко дышалось...

И вновь началось
Сиянье, волненье, броженье, движенье.

11

Калитка закрылась со скрипом,
Осталась в пространстве заря
И к благоухающим липам
Приблизился свет фонаря.

И влажно они просияли
Курчавую тенью сквозной,
Как отблеск на одеяле
Свечей сквозь дымок отходной.

И важно они прошумели,
Как будто посмели теперь
Сказать, то чего не умели,
Пока не захлопнулась дверь.

12

Я люблю безнадежный покой,
В октябре — хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...
Тишину безымянных могил,
Все банальности «песен без слов»,
То что Анненский жадно любил,
То чего не терпел Гумилев.

13

На полянке поутру
Веселился кенгуру —
Хвостик собственный кусал,
В воздух лапочки бросал.

Тут же рядом камбала
Водку пила, ром пила,
Раздевалась догола,
Напевала тра-ла-ла,
Любовалась в зеркала...

— Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Я флакон одеколону
Не жалея извела,
Вертебральную колонну
Оттирала до бела.

14

Волны шумели: «скорее, скорее»
К гибели легкую лодку несли,
Голубоватые стебли порея
В красный туман проросали с земли.

Горы дымились, валежником тлея,
И настигали их с разных сторон, —
Лунное имя твое, Лорелея,
Рейнская полночь твоих похорон.

...Вот я иду по осеннему саду
И папиросу несучу, как свечу.
Вот на скамейку чугунную сяду,
Брошу окурок. Ногой растопчу.

15

Как тридцать лет тому назад,
Как тридцать пять, возможно, сорок,
Я заглянул в твой сонный сад,
Царица апельсиновых корок.

Царица лунной шелухи
Сердец, которые не бьются,
Где только мучатся стихи
И никогда не создаются.

И всё не разрешен вопрос,
Один из вечных и напрасных —
Что слаще — запах красных роз
Иль шорох туфелек атласных?

16

Эти сумерки вечерние
Вспомнил я по воле случая,
Плыли в костромской губернии.
Тишина. Благополучие.

Празднично цвела природа,
Словно ей обновку сшили,
Груши грузными корзинами,
Астры пышными охапками...
(В чайной «русского народа»
Трезвенники спирт глушили:
— «Внутреннего» — жарь резинами!
— Немца — закидаем шапками!)

И на грани кругозора,
Сквозь дремоту палисадников,
Силуэты черных всадников
С красным знаменем позора.

16

*...Мне всегда открывается та же
Залитая чернилом страница.*

И. Анненский

Может быть умру я в Ницце,
Может быть умру в Париже,
Может быть в моей стране.
Для чего же о странице
Неизбежной, черно-рыжей
Постоянно думать мне!

В голубом дыханьи моря,
В ледяных стаканах пива
(Тех, что мы сейчас допьем) —
Пена счастья — волны горя,
Над могилами крапива,
Штора на окне твоём.

Вот ее колышет воздух
И из комнаты уносит
Наше зыбкое тепло,
То что растворится в звездах,
То о чем никто не спросит,
То что было и прошло.

17

Распыленный миллионом мельчайших частиц,
В ледяном, безвоздушном, бездушном эфире,
Где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц,
Я вернусь — отраженьем — в потерянном мире.

И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.

Георгий Иванов

КЛЕВЕТА О ДОСТОЕВСКОМ

Биографы Достоевского всегда сгущали краски, когда говорили о детстве писателя и особенно об его отце, но с некоторых пор это сгущение красок дошло до такого предела, что приходится говорить о клевете. Эта клевета проникла в последние книги о Достоевском (как напр. в книгу французско-русского писателя Труайя) и в научные диссертации о Достоевском. Так в этом году в Сорбонне защищалась диссертация, в которой автор доказывал, что Достоевский так ненавидел своего отца, что хотел его смерти. Новейшие исследования о Достоевском стараются внушить мысль, что детство будущего писателя было исключительно тяжелое и несчастное из-за его отца, прототипа Федора Павловича Карамазова, и что Достоевский всю жизнь вспоминал с отвращением и свое детство и виновника этого несчастного детства — своего отца. Откуда взялась эта клевета, кто постарался так сгустить краски и так исказить детские годы Достоевского? Грустно писать об этом, но, помимо Фрейда, главной виновницей этой клеветы является его родная дочь, писательница Любовь Фед. Достоевская, которая ничего не могла знать о своем отце, не могла помнить его, так как ей было всего двенадцать лет, когда он умер. Все воспоминания ее — сплошная больная фантазия, которая вызывала возмущения в ее семье — в матери, жене Достоевского, Анне Григорьевне и в ее старшем брате, Михаиле Федоровиче Достоевском. Мне пришлось хорошо знать их и много беседовать с ними о самом Достоевском и об его больной дочери, о Любви Федоровне, и я имел возможность составить себе ясное представление и оценить по достоинству ее «воспоминания». Но ее сенсационная клевета, связанная с именем Достоевского («дочь Достоевского») произвела свое впечатление и пустила корни, которые очень трудно, но необходимо вырвать.

В действительности и детство писателя и образ отца его, какого-то «изверга», были совсем не такие, какие она внушила новейшим исследователям биографии Достоевского. Если

отделаться от импрессионизма Любви Достоевской и обратиться к другим более надежным свидетельствам и фактам мы увидим совершенно другую картину «несчастливого» детства Достоевского и совершенно другой образ его отца — жестокого «изверга».

Детство Достоевского было нелегким, но совсем не безрадостным и не несчастным. Биографы Достоевского постоянно говорят о нужде большой семьи московского лекаря больницы для бедных: в действительности Достоевские были не богаты, но вполне обеспечены и не позволяя себе никаких роскошеств и излишеств, никогда не нуждались в необходимом. Что касается до отца Достоевского, то этот странный и мало счастливый человек обладал трудным, тяжелым характером: строгий и требовательный к себе, он был еще строже и требовательнее к другим, доходя почти до деспотизма; постоянно угрюмый, нервный, подозрительный и мнительный (и как он страдал от своей мнительности!), часто ревнивый и вспыльчивый, он заставлял часто страдать и жену и детей. Но отец Достоевский был в то же время добрым, прекрасным семьянином и в высшей степени гуманным, просвещенным человеком. Он до безумия и до патологической ревности любил свою жену: смерть ее на него так подействовала, что он бросил службу, поселился в своей деревне (какой же нищий, если у него была *деревня*), стал пить, опустился, из экономного и расчетливого стал мелочным и скупым, из гуманного жестоким, таким жестоким, что крестьяне его убили, вообще производил впечатление помешанного (этот Достоевский-отец и заслоняет в глазах биографов его сына прежнего Достоевского).

Отец Достоевского любил своих детей и умел их воспитывать; своим восторженным идеализмом и стремлением к прекрасному писатель Достоевский больше всего обязан своему отцу и домашнему воспитанию. Впоследствии его старший брат, тоже юноша, Михаил писал отцу (значит знал, что тот поймет его!): «Пусть у меня всё возьмут, всё, и разденут догола, но пусть мне дадут Шиллера, и я забуду всё на свете!» Эти слова мог бы повторить и брат его Федор, и ими можно охарактеризовать семью, из которой вышел писатель. Отец странный человек, с маниакальными наклонностями, был так «жесток», что в тот век, когда главным средством воспитания были розги, не только никогда не применял к детям телесного наказания, но не ставил их на колени в угол и, при своих ограниченных средствах, не отдавал своих детей в казенную

гимназию только потому, что там детей пороли... Необщительный и не доверявший людям, он отрезал и свою семью от всякого общения с внешним миром и от всякого рассеяния.

Что же? Значит у бедного Федора было бедное беспросветное детство, без друзей, сверстников, без игр? Нет, не безрадостное, потому что жизнь семьи была *полная*, с нежной, любящей и любимой матерью, с любящими нянями, рассказывавшими интересные сказки, с другом — самым большим другом — братом; была *детская* — шесть братьев и сестер — с богатым детским миром. Может быть родители слишком заботились о развитии духовной жизни, слишком жили духовными интересами и пренебрегали внедрением практических начал жизни? Может быть..., но следует ли об этом жалеть?... Возможно, что в полемическом пылу я прикрашено рисую обстановку детства Достоевского. Возможно, но... гораздо важнее не то, какую фактически была обстановка жизни Достоевского, а как она воспринималась и запомнилась им на всю жизнь.

Вдова Достоевского говорила, что ее муж любил вспоминать о своем «счастливом и безмятежном детстве», и действительно все его воспоминания говорят не только о «счастливом», но и о хорошем детстве, воспитавшем в нем человека-писателя. Вот как вспоминает впоследствии Достоевский в разговорах с братом о своих родителях: «Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые, и в настоящую минуту они были бы передовыми! А уж такими семьянинами, такими отцами нам с тобой не быть, брат!»

«Я происходил из семейства русского и благочестивого, писал Достоевский. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории Карамзина, которого вслух по вечерам читал нам отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным».

Отец по вечерам читал вслух Карамзина и заставлял и детей читать не только Карамзина, но и Жуковского, и совсем еще молодого поэта — Пушкина. И если Достоевский в *16 лет* пережил смерть Пушкина как великое русское горе, то кому он этим обязан, как не своей семье, рано привившей ему любовь к литературе!

Как ни важно, что Достоевский на всю жизнь сохранил

хорошую память о своем детстве, еще важнее, что эта память дала ему большой творческий материал. Как не увидеть в рассказе старца Зосимы о своем детстве отголосок воспоминаний самого Достоевского: «Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценней воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе только чуть-чуть любовь и мир. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К воспоминаниям домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал знать. Была у меня тогда книга, священная история с картинками, под названием: «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю». Эта черта подлинно автобиографическая: Достоевский действительно учился читать по этой книге, и когда в 1870 году нашел у букиниста точно такую же книгу, очень обрадовался и сохранял ее как реликвию. Этот говорящий отрывок из «Братьев Карамазовых» так автобиографичен, что невольно хочется продолжать цитату: «Но и до того еще как читать научился, помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, еще восьми лет отроду. Повела меня матушка одного (не помню где тогда был брат) в храм Господень, в страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу снова как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в купол, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь Божию лучики, восходя к нам волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно и в первый раз отроду принял я тогда в душу семя Слова Божия осмысленно. Вышел на средину храма отрок с большой книгой, такой большой, показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налой, отверз уста и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз почти понял, что в храме Божиим читают...»

«Братья Карамазовы», последний роман Достоевского, кончается речью Алеши у камня после похорон Илюшечки, обращенною к его товарищам-школьникам (детей Достоевский писал всегда с особенною нежною любовью). Он дает им такое наставление: «Знайте же, что ничего нет выше, силь-

нее и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание и особенно вынесенное еще из жизни, из родительского дома. Вам много говорили про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собой в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если только одно хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то может послужить когда-нибудь нам во спасение».

Достоевский вынес много хороших воспоминаний из детства, но одно следует отметить, которое приобрело для него значение символа веры в русский народ.

Когда Достоевскому было 10 лет (в 1831 году), его родители приобрели имение, и с тех пор дети с матерью проводили летние месяцы в деревне. Достоевский видел жизнь простого, трудового русского крестьянина. Как-то в августовский день мальчик блуждал в лесу, и вдруг он услышал (или ему послышался) страшный крик: «волк». Мальчик со всех ног бросился бежать из лесу и оказался на поляне, где мужик Марей пахал землю. Достоевский бросился к нему и схватил его за руку, дрожа всем телом и повторяя всё одно и то же: «Волк! Волк!» Большой рыжий мужик стал ласкать его и успокаивать: «Что ты? Какой волк? Померещилось... Окстись. Христос с тобой! Уж я тебя волку не выдам!» и своими закорючлыми пальцами в земле Марей перекрестил дрожащего мальчика.

Это воспоминание сохранилось на всю жизнь в Достоевском. «Уж я тебя волку не выдам», — он всегда верит, что простой русский народ, с которым родители Достоевского старались сблизить своих детей, а не отделять от него (иначе такая оценка была бы невыносима), не «выдаст его волку», защитит и не обманет его веры в Россию.

Это громадное впечатление от встречи с русским народом относится к той поре, когда Достоевский был совсем еще ребенком и жил в своей семье. Родители рано начали обучать его и с ним, как и другими детьми занималась мать и диакон, затем он с другом-братом Михаилом был отвезен в полупансион к некоему Дракусову, но продолжал жить в семье, которая заботилась о его воспитании и продолжала заботиться и тогда, когда отдали (в 1834 г.) тринадцатилетнего мальчика в пансион Чермака и тогда Достоевский со своим братом Ми-

хаилом проводили каждую субботу и воскресенье дома, да и в самом пансионе он продолжал жить теми же интересами, которые в нем воспитали его родители. Он много читал (между прочим перечел Жорж Занд, В. Гюго, Диккенса), но не сблизился с товарищами и дружил только со своим верным другом-братом. Последний год пребывания в пансионе был трудным для юноши Достоевского: 29 января 1837 года умер Пушкин, 27 февраля он лишился своей любящей и самоотверженной матери. Достоевский узнал о смерти Пушкина через месяц после смерти матери, когда уже носил траур по ней. Казалось бы, это громадное горе должно было сделать его нечувствительным ко всем горестям, но он сквозь это горе пережил так остро большое национальное и личное для него горе (хоть он ни разу и не видел поэта) — смерть Пушкина, что говорил брату, что если бы он не носил уже траура по матери, то он попросил бы у отца разрешения носить траур по Пушкину и, конечно, «изверг»-отец, прививший такую любовь своим детям к литературе, дал бы ему это разрешение.

В 1837 году для шестнадцатилетнего Достоевского началась другая жизнь. Семья Достоевского была разрушена (в буквальном смысле слова разрушена), но Достоевский не оставался на развалинах семьи: отец отдал его в высшее инженерное училище (брата из-за болезни пришлось перевести в Ревель). Юный Достоевский вдруг остался один, совершенно один, без всякой поддержки и опоры в мрачном Михайловском замке. Впервые Достоевский остался один лицом к лицу с враждебным ему внешним миром. Этот внешний мир глубоко разочаровал Достоевского (его сверстники жили совершенно другими интересами). Достоевский старался уйти — в мир Пушкина, Шиллера и Корнеля, но скучал по своему друге-брате и беспокоился о своем отце, ставшем полусумасшедшим. «Мне жаль безумно отца, — писал он своему брату, — странный характер. Ах, сколько несчастий пережил он. Горько до слез, что нечем его утешить». Это письмо более всего говорит о том, что никакой мысли *refoulée* об отцеубийстве не было в Достоевском, и это окончательно разрушает ту клевету, которая в настоящее время всё больше и больше распространяется в нашей литературе.

М. Л. Гофман

МЫСЛИ О РУССКОМ ФУТУРИЗМЕ

Несмотря на то, что наука тщательно коллекционирует литературные течения, а наше время продолжает в изобилии плодить их, становится всё яснее и яснее, что решающего значения они не имеют. В обычной беседе их иначе не называют, как иронической кличкой «измы». Имя этим «измам» легион. Подчас кажется, что их столько же, сколько бактерий в капле воды под микроскопом. Почти невероятным представляется то ушедшее время, когда стили господствовали веками; когда в продолжение почти пяти столетий строили готические соборы, когда Вольтер продолжал писать классические трагедии через сто лет после смерти Расина. Мы же называем Серебряным веком — два-три десятилетия, где, скучившись, яростно толкают друг друга больше десятка непохожих друг на друга «измов».

Можно утверждать, положив руку на сердце, что доскональное знание течений дает мало для понимания литературного процесса. Интерес науки к манифестам, кредо и высказываниям вождей групп не очень обоснован и зиждется, главным образом, на столь (к сожалению) характерном для научного исследования «ползучем эмпиризме». В конце концов, всё это лишь литературная «политика», непомерно раздувающая вещи незначительные, в то время как важное остается незамеченным. В атмосфере течения, например, почти никогда нельзя определить величину и значительность поэта. Когда шумиха кончается, имена располагаются по совсем иному ранжиру. Кому теперь придет в голову ставить Блока в ряд с Брюсовым и Бальмонтом? Часто течение только мешает впоследствии разобраться в достижениях поэта, и бедный исследователь тщетно ищет в «славянских» поэмах Хлебникова воплощения тезисов «Пощечины общественному вкусу». В истории немецкого романтизма несовместимость личности и течения еще яснее, и на одном полюсе концентрируются школы, — Йенская, Гейдельбергская, — в то время как несводимые к школам поэты — Гофман, Клейст, Гейне — оказываются на другом конце. Была «Озерная Школа», но что общего у Вордсворта и Кольриджа, кроме не-

определенной клички «романтиков»? Вопреки целым библиотечным полкам трудов по «веймарскому» классицизму, очень трудно определить, где этот классицизм у Гёте и Шиллера начинается и кончается, да, кроме того, и трудно найти двух поэтов более различных. Имажинизм помнят только потому, что под ним расписался Есенин.

Но есть нечто более важное и более определяющее, чем поэтическая личность. Это поэтическая идея, которая воплощается в творчестве. И здесь некоторые крикливые «измы» внезапно наполняются нежданной глубиной. Пусть иенская школа не дала великих произведений искусства, но она открыла настежь двери европейской литературы для нового мировоззрения. Значительность идеи может спасти от забвения даже ничтожное течение, не оставившее ничего осязаемого в художественной практике. Примером может служить хотя бы дадаизм, психологические и духовные корни которого глубже, чем ребяческие действия. Определить идею на материале поэтического творчества, попутно отбрасывая шелуху литературной моды и мякину литературной политики, и является главной задачей литературного исследования.

В XX-ом веке в русской поэзии сложилось три главных течения — символизм, акмеизм и футуризм. Символизм был, может быть, самым значительным из трех и он оказал самую большую услугу русской поэзии, вернув ей утраченные во второй половине XIX-го века духовную высоту и технический уровень, дав крупных поэтов и поэтическими средствами попытавшись добиться трансцендента, через слово выйти за пределы знакомого мира. Этим он продолжал линию русской поэзии, по-разному намеченную Лермонтовым и Тютчевым. Как у большинства романтических течений, у символистов, кроме устремления ввысь, в другой мир, была еще направленность в прошлое, тоска по некогда существовавшему синтезу. Когда-то слово, музыка, танец и драма были объединены в одном искусстве, но эта Вавилонская башня культуры обрушилась, и искусство распалось на составные части. В XIX-ом веке особенно усилились ностальгические стремления к воссоединению расторгнутого и к обретению потерянного рая. Вагнер жаждал объединить музыку со словом, французские символисты — а за ними и русские — вели поэзию к музыке. Эта «музыка» на поверку оказывается метафорой. Проблема звука в поэзии и в музыке далеко не одно и то же. Музыка следует своим определенным законам, одинаково далеким как от внешней «музыкальности», кото-

рую находят в стихах, так и от «музыки» в более высоком смысле, которая якобы слышится в поэзии. Правильно было бы назвать эту «музыку» просто «поэзией», но символисты, очевидно, боялись тавтологии. Это понятие «музыки» для обозначения того неуловимого, того «икса», который делает поэзию поэзией, той сущности, которую все хотят и никто не может определить, было снова выдвинуто в эмиграции (но уже без попытки синтеза) парижскими критиками и поэтами. Интересно, что некоторые из наиболее «музыкальных» поэтов музыкальным слухом (в буквальном смысле) не обладали, и что часто на «музыкальности» поэзии настаивают люди, не имеющие достаточного представления о музыке как таковой. А. Блок, лишенный музыкального слуха, по несколько раз ходил на «Хованщину» и на «Валькирию», прилежно слушал из «идейных» соображений и очень уставал.

По мнению многих, символизм потерял ощущение границ поэзии, сливался с философией, религией — и вызывал законную оппозицию. Трудно сказать, отчего он умер; надорвался ли в своих титанических трудах, или же лопнул, как воздушный шар, надутый до предела. Во всяком случае, трудно себе представить, чтобы его свергла упомянутая оппозиция, потому что эта оппозиция ни в каком смысле не могла равняться с объектом своих нападков. Но смерть символизма достоверна. Она засвидетельствована самими символистами, большинство из которых пережило свое течение. Есть основания полагать, что символизм, как идея, умер вместе с Блоком, или, точнее, сгорел вместе с ним в «Двенадцати». Наступило «междущарствие». Из наследников только двое имели серьезные притязания — акмеизм и футуризм.

Акмеизм руководился очень правильным желанием — одернуть символизм, указать на покидаемые границы поэтического искусства. Символическому слову, которое намекало о запредельном, было противопоставлено слово, рисующее этот мир и человека в этом мире. Акмеисты имели в своей среде первоклассных поэтов; технический уровень их поэзии не уступал символистическому. Но акмеистическая идея, несмотря на некоторые верные элементы, не была достаточно глубокой и достаточно поэтической, чтобы тягаться с символизмом, а блестящих поэтов объединяло лишь название «акмеисты». Акмеистическая идея не содержала в себе той духовной крайности, которая одна и может создавать в поэзии подлинные ценности. Акмеизм рядом с символизмом начинает казаться поборником здравого смысла, умеренности, а

не меры. Если символистическая «музыка» при всей терминологической неточности всё же скрывала в себе огромный поэтический размах, акмеистическое *изображение*, каким бы тонким оно ни было, представляло собой уже необоснованную *замену* — перенос принципов живописи и пластики в поэзию. Впрочем, даже это принципиальное отличие не делало погоды. Метод изображения в каком-то минимуме всегда был свойствен поэзии, и символистической в том числе, и не представлял собой ничего нового. В художественной идее всегда потенциально заложены все возможности воплощения. Кроме того, акмеистическое слово было так же обременено всей мировой культурой, как и у символистов. Вследствие всего этого акмеисты часто кажутся только более узкими, более скромными символистами. Блок записал у себя в «Дневнике»: «...В акмеизме, будто, есть «новое мироощущение», лопочет Городецкий в телефон. Я говорю — зачем хотите «называться», ничем вы не отличаетесь от нас... главное, пишите свое. Он согласен.»

Акмеизм не мог противопоставить символизму идею равной глубины. Принятие этого мира было недостаточно, надо было одухотворить этот мир. Нужный акцент на классицизме, том «отпоре суровом», который нужно было дать «натиску пламенному» символистам, не был сделан. В результате акмеизм оказался идеей второго сорта с налетом того, что называют реакционностью. Это был не тот классицизм и не вб-время. Не то чтобы акмеизм не претендовал на широту. Гумилев, как всем известно, выбрал как четырех китов своего течения, — Шекспира, Рабле, Вийона и Готье. Но, не говоря уже о крайнем эклектизме такого сочетания, сейчас даже поклонникам акмеизма ясно, что первые три имени в списке тут совсем непричем. Акмеистическое слово, лишённое символистских крыльев, осталось с одной прозаической, чисто коммуникативной функцией. Иначе говоря, оно зашло в тупик. Но акмеизм имел и имеет успех, как среди поэтов, так и у читателя. Поэтов к нему манит легко достижимое совершенство, не связанное с духовным риском; читателя привлекает доступность, не требующая встречного творческого напряжения.

За то, что акмеизм, тем не менее, оказался в числе самых значительных течений века, ему следует благодарить поэтов; значительные поэтические личности заставили считаться с незначительной идеей. Но самим поэтам было тяжело в той недуховной атмосфере, которую они себе создали.

Сознавали они это или нет, их поэтическая карьера говорит о неудовлетворенности. Гумилев, сентиментальный романтик, который хотел осуществить классическую реакцию, начал со стихов для детей старшего возраста о конквистадорах и об Африке (для младшего писал Корней Чуковский). Но в последние годы он чрезвычайно вырос, подошел к поэтическому величию. Тогда у него начало прорезываться «шестое чувство», которого раньше он был лишен. Однако, по иронии судьбы, при этом Гумилев стал касаться мистических истин, против которых и был направлен весь акмеизм. Гумилев оказался возвратившимся блудным сыном уже мертвого символизма. Его чисто классические попытки (например, трагедия расиновского типа) неизменно неудачны.

Ахматова, наиболее последовательный акмеист из всех, начала с «психологии», с разговорной интонации. Но уже тогда она металась между салонным говорком и стилизованными причитаниями (в то время как Блок метался между этим и тем миром). Отсутствие идеи гнетет и ее; она ищет прибежища в теме России¹), и уже это возвышает ее поэзию и одухотворяет; ее дольки исчезают или наполняются почти пушкинским распевом. Отметим всё же, что Россия была ею принята во всей конкретности и ограниченности этого понятия, в то время как у Блока Россия была воплощением большей идеи.

¹ Здесь уместно вспомнить о четвертом известном течении, о так наз. «крестьянских поэтах». Вряд ли возможно выделить у этой группы поэтическую идею. Вопреки Бердяеву, Г. Федотову и мн. др. Россия не есть метафизическое понятие, потому что лишено универсальности. Поэтические же ценности универсальны. Поэзия обращается к человечеству и творится человечеством, а не русским крестьянством. Да и сущность русского крестьянства выражена уже давно в народной песне, и запоздалая попытка выражать ее в лирике тщетна. У поэтов крестьянской группы есть свои достоинства, подчас высокая техника (большей частью от символистов), своя мистика (большей частью почвенно-сектантского толка). Но под течением в целом нет общечеловеческой идеи. Они и не стремились выявлять идею, а скорее хотели какого-то (по возможности, первого) места на русском Олимпе. Местный колорит не делает их поэзию народной, т. к. народность не состоит в местном колорите. Если бы среди них не было отдельных талантов (очень неровных и неглубоких), течение было бы так же далеко от поэзии, как эго-футуризм.

Третий крупный акмеист, Мандельштам, еврей, который хотел быть греком на русском языке, всегда был подлинным классицистом. Классическая идея, может быть, величайшая из эстетических идей, вынесла его из акмеистского вакуума. Но интересно, что начиная с «Tristia», Мандельштам всё ближе подходит к футуризму, а в последних стихах его уже можно считать футуристом. Здесь стоит отметить, что футуризм классицизму не противоречит и даже строится частично на классических принципах.

Есть основания сомневаться, было ли у акмеистов чувство эпохи, при всех их «реалистических» устремлениях. Взлет символистов и бунт футуристов кажутся более естественными. Время не давало успокоения; в мире и в человеческой душе не было гармонии, а акмеисты хотели установить ее, да еще без особого труда. У эпигонов и последователей это привело к дешевой красивости. Можно даже говорить, что наступление апоэтической эпохи, в которой мы живем, в некоторой степени было предсказано появлением акмеизма.

Если символизм посредством слова стремился приблизиться к иной, более высокой реальности; если акмеизм посредством слова пытался изображать известный нам мир; то идея футуризма в том, что само слово творит из себя новый мир, что слово и мир сливаются, что поэт входит внутрь слова. Эта идея более глубокая, более творческая, чем идея акмеизма. Здесь есть и продолжение символизма и отталкивание от него, здесь поэзия ограничивает себя областью слова — в противоположность акмеизму, не знавшему что ограничить и где оттолкнуться. Таким образом, после символистской музыки, акмеистской живописи, — футуризм ближе всех к специфике поэзии. В футуристической идее поэзия оправдывает свое русское название «словесности».

Здесь нужно оговориться, что по необходимости приходится пользоваться имеющимися терминами, хотя многое в них неудачно. Лучше всех слово «символизм», т. к. оно выражает и философию течения и его основной техникий прием. Термин «акмеизм» выражает мало и слегка претенциозен в своей ненужной оценочности (немногом лучше и другой вариант — «адамизм»). «Футуризм» — тоже неудачный термин, совершенно не выражающий основную идею.

Несмотря на глубину и правильность футуристической идеи, само течение до сих пор не встречает должного признания. В литературных кругах его обходят молчанием, а для читателя это своего рода жупел, включающий всё «непонят-

ное» и отталкивающее в современном искусстве. Вину несут отчасти сами футуристы. Правда, они вступили на литературную арену в век рекламы и в тот момент, когда литературный воздух был перенасыщен поэзией и все места разобраны. Тем не менее, неразборчивость в средствах запятнала их репутацию, и многие до сих пор сводят футуризм к эпатажу и скандалу кабацкого типа. Создается впечатление, что футуристы сами не понимали, насколько глубока их идея, и напрасно валяли дурака. У них было два больших поэта — Хлебников и Маяковский — но не было настоящего «идеолога», который обладал бы достаточной культурой мышления. Их кредо поэтому не перешло в эстетику, и дальнейшее развитие шло никем не направляемое, подталкиваемое силой самой идеи.

Поэзия и критика эмиграции могла позволить себе не обращать внимания на футуризм. В эмиграции почти не оказалось футуристов, да и не мог бы футуризм расти на чужой почве. Центр поэтической эмиграции, образовавшийся в Париже, следовал идеям акмеизма. Парижские акмеисты некоторое время вели легкую борьбу с символистскими дедами, некоторые из которых тоже оказались в Париже, а потом из элементов того и другого сложили так называемую «парижскую школу». От символизма у них некоторая (довольно робкая) направленность в иной мир, который редко и невнятно дает о себе знать среди привычной «акмеистической» обстановки этого мира. От акмеизма они взяли стремление к краткости, ясности, «естественности», даже ахматовский говорок. Парижане правильно почувствовали опасность увлечения европейскими веяниями. В России было бы яснее, что брать, а в условиях эмиграции чужая литература влияет прямо, без нужды. Поэтому влияниям по мере сил противились. Но так как последовательный символизм их страшил, а более милый акмеизм был идейно плосковат, то за духовным содержанием обратились (тем же реставраторским путем) к Лермонтову, Тютчеву, Боратынскому и др. Так создалась превосходная атмосфера для появления большого количества так называемых *poetae minores*, которые и не замедлили появиться. Было много высококачественных стихов, но в целом парижская муза страдала малокровием и пела уныло. Между прочим, акмеизма в широком смысле, в Париже было больше, чем кажется. Бунин, например, во всех своих стихах был акмеистом *avant la lettre* и даже более последовательным, чем «настоящие», «партийные» акмеисты. Ходасевич при-

крывал свой символизм акмеистической одеждой. И он, и Г. Иванов поплатились за свой акмеизм духовным тупиком. Интересно, что когда последний в своих замечательных поздних сборниках отважился порвать с акмеизмом, он стал искать прибежища в футуризме и иногда звучит почти как Заболоцкий. Настоящим футуристом была Цветаева, и вот почему она пришла не ко двору в Париже. Возможно, что в Россию она вернулась за родным футуристическим воздухом, которого не было во Франции (она не знала, что в то время его уже не было и в России).

До сих пор, кажется, не обращали внимания на очень важный и очевидный факт: русская поэзия на русской почве пошла после революции именно дорогой футуризма, несмотря на то, что футуризм как течение официально прекратился вскоре после переворота. При этом «коренные» футуристы уже не играли никакой роли. Хлебникова уже не было, Маяковский отходил от футуристических принципов, Каменский и Крученых были, по существу, в литературной «отставке».

Собственно говоря, и начало футуризма было шире, чем принято считать. Первым футуристом или, по крайней мере, предтечей футуризма придется признать А. Белого. (Корни же футуризма в XVIII-ом веке, если не в народной поэзии). Его исследования стиха подготовили формализм. Его проза, до сих пор мало оцененная, непонятна, если не принимать в расчет футуристическую идею. Именно потому эта проза повлияла на прозу Пастернака и Мандельштама. Тщательное исследование может показать, что в наиболее интересной части не только поэзия, но и советская проза шла футуристической дорогой, а начало этой дороги опять-таки — Белый, а также Ремизов, который только как футурист, т. е. поэт чисто словесной стихии, может быть как следует понят.

Крупнейшей фигурой послереволюционного футуризма был Пастернак. Большая утонченность или, по-современному, «интеллигентность» музыки Пастернака заставляет многих забыть его чисто-футуристическое воспитание. В начале своей карьеры он принадлежал к футуристической группе «Центрифуга»; Пастернак преклонялся перед Хлебниковым и Маяковским и был одним из активных членов «Группы друзей Хлебникова» (1928-1932). Но он футурист не только в плане биографическом. В поэзии Пастернака, может быть впервые в русской поэзии, происходит абсолютное слияние и переплетение лирического я, природы и слова. Слияние первых двух

осуществлялось не раз романтиками, но возможность прибавления слова как равноправного элемента триады, а не только средства выражения внутреннего и изображения внешнего мира, стало возможным только после опытов Хлебникова. До него слово всегда ощущалось как элемент вспомогательный. Хлебников подготовил почву, а Пастернак первый художественно воплотил идею. Таким образом ассоциативность поэзии Пастернака перестает быть идиосинкразией и становится совершенно законным элементом философии, основанной на творчестве мира из слова. Большая заслуга Пастернака в том, что он избежал возможной дегуманизации слова, заложенной в футуристической идее (возвышая слово и освобождая его от положения слуги мысли и чувства, футуристы часто кончали фетишизацией слова как материала). Пастернак, с другой стороны, очень хороший пример полнейшего выражения поэтической идеи, а не течения, что и мешает многим осознать его как футуриста. От течения он рано отошел, и на нем очень легко раскрыть две основных «ипостаси» поэзии — поэтическую личность и поэтическую идею — в чистом, не засоренном литературной политикой виде. Пастернак и по натуре был беспартийным, как Маяковский по натуре был партийным, а Мандельштам — надпартийным. Интересно, что видный критик русской эмиграции, Г. Адамович, при всей своей искушенности, стал втупик перед Пастернаком и признал его явлением сложным и от анализа ускользающим. Парижская разновидность акмеизма редко встречалась с подлинным футуризмом вплотную, лицом к лицу, и поэтому при встрече не узнает его. Зато футуристка Цветаева понимает футуриста Пастернака с полуслова, и поэтому она «родная» для футуриста А. Белого. Однако в той же статье Г. Адамович говорит очень верную вещь, может быть, не замечая важности сказанного: «Слова у него (Пастернака) рождают эмоции, а не наоборот». Это хорошее определение сущности футуризма.

Чем глубже идея, тем яснее разница между крупным и второстепенным в течении. Хлебникова и Крученых разделяет пропасть, а в акмеизме вторые поэты совершенны и кажутся почти первыми. Только большие поэты могут нести всю тяжесть большой идеи. Примером того, как искажается и беднеет футуристическая идея в руках поэта второго порядка, может служить Сельвинский. Сельвинский не мог воспринять символистского наследия этой идеи и взял слово только как материал — в том смысле, в каком столяр берет чурку.

Идея в его творчестве теряет духовность и предстает только своей технологической стороной. Поэту остается штукартство, которым Сельвинский широко пользуется для своих натуралистических опусов. Мельчайшими искажениями слова, с помощью изощренной системы знаков, он имитирует интонацию цыганского романса, казачьей песни, стиль детского письма. Этот опасный путь был в свое время показан Хлебниковым, который тоже иногда забывал, что слова не железные болванки, и что они кровоточат после отделки на токарном станке.

Последним крупным русским футуристом был Заболоцкий, который был также последним настоящим поэтом послереволюционной России. Он преклонялся перед Хлебниковым и в своих лучших вещах тщательно имитировал последнего, используя самую ценную часть хлебниковского творчества, — его поэмы. Однако поэзия Заболоцкого далеко не подражательна, потому что у него был свой особенный этос. Он был мастером гротеска, смещения плоскостей, сатиры и пародии. Его также можно считать последним русским сюрреалистом (историю этого течения в России следует начинать с Гоголя). Сломленный тюрьмой и ссылкой, он стал писать красивые акмеистические стихи и заниматься переводами. Здесь кстати заметить, что советских поэтов можно разделить на тех, кто говорит: мир должен быть таким (Маяковский, Тихонов, отчасти Есенин) и на тех, кто утверждает: мир таков (Мандельштам, Пастернак, Заболоцкий). Последним в СССР труднее, чем первым, и их судьба часто трагичнее.

Мандельштам стал футуристом в позднем творчестве, проделав длинный путь от веской точности «Камня» до сложного сюрреалистического узора последних стихов. Его футуристическое «обращение» особенно видно в «Tristia», где в «Соломинке» футуристическая идея преподносится как бы замедленной съемкой в самом процессе своего словесного воплощения. В поздних стихах у него «земля гудит метафорой», т. е., как и у Пастернака, слово и мир переплетаются. Слова-полусимволы (звезды, соль, яблоки) переходят из стихотворения в стихотворение, меняя окраску и творя причудливый словесный микрокосм. Отзвуки Пастернака перемежаются с хлебниковскими приемами. У Мандельштама можно говорить в каком-то смысле о «самовитом» хлебниковском слове начиная с «Камня», где слово-камень в шлифовке уже теряет коммуникативные свойства. Мандельштам с ранней дней тянуло к «буйному морфологическому цветению» фу-

туристов, потому что он видел, что футуризм лучше достигает целей, поставленных тем же акмеизмом.

Тихонов чуть-чуть не стал футуристом в середине своего творческого пути. В первых двух книгах он — акмеист гумилевского героического пошиба (только с устремлением скорее на джеклондоновский север, чем на хаггардовский юг Гумилева). Но в начале 20-х годов и у него стих начинает звучать Пастернаком и Хлебниковым, начинает бродить, усложняться. Этот интереснейший средний период сейчас обходят молчанием. У Тихонова не хватило смелости продолжать эту линию, и через некоторое время, вняв укорам критиков, он возвратился к старому удобному акмеистическому героизму.

Хотя имажинизм — не что иное, как одно из многих огрублений и искажений футуристической идеи, связь его с нею вряд ли кто-нибудь станет отрицать. Роль имажинизма в творчестве Есенина не следует преувеличивать, но ее не следует и преуменьшать. Обращение Есенина в эту сторону не объясняется только дружбой с Мариенгофом. Стихи 1918-19 гг. пестрят футуристическими приемами, а поэма «Кобыльи корабли» сильно перекликается с Хлебниковым (вплоть до заимствования образов). Сама тема поэта-хулигана и бродяги, определяющая есенинское творчество этих и последующих лет, по какому-то закону литературного симбиоза, сопровождает творчество многих поэтов футуристической идеи (и не только в России — Рембо, Эзра Паунд).

Творчество Багрицкого, начавшееся с третьесортного акмеизма и случайных подражаний Маяковскому, в наиболее значительный свой период полно юношеской книжной романтики и песенности, не менее увлекающей, чем у Есенина. Но и Багрицкий в поздних сборниках (особенно «Последняя ночь») был задет футуризмом, усложняя и делая более затрудненной стиховую ткань. Советские критики отмечали «абстрактные» тенденции этих вещей

Даже Клюев, поэт далекий от футуризма, начинает звучать как Маяковский, описывая приезд мужиков в город в своей «Погорельщине».

Вывод напрашивается сам собой. Русская поэзия, начиная, по крайней мере, с революции 1917-го года (а на самом деле и раньше) и кончая началом 30-х годов, дышала футуристическим воздухом. Ни один крупный поэт (кроме, может быть, Ахматовой) так или иначе футуризма не избежал и в той или иной мере отдал ему дань. Если сюда прибавить «зарегистрированных» футуристов — Маяковского, Асеева,

Каменского и др. — а также футуристов в критике и литературоведении, известных под именем «формалисты» (через которых футуризм еще сильнее влиял на современную поэзию, чем непосредственно) и немалое число поэтов второго и третьего разряда, от Кирсанова до молодого малоизвестного послевоенного поэта Виктора Урина, то картина получится еще более полная, а вывод еще более неопровержимый.

Футуризм шире и глубже, чем его обыкновенно понимают. Это далеко не только заумь и совсем не только скандальный эпатаж. Его начало не ограничивается «Садком судей», и его конец — не отъезд Бурлюка и смерть Хлебникова. Без футуризма совершенно непонятна советская поэзия. Именно он динамизировал развитие поэзии после символизма, тогда как акмеизм недостаточно творчески, неполно и прозаично оттолкнулся от символизма. За акмеизмом не было настоящей идеи, а была невнятная тенденция к реставраторству, что и позволяет его легко ассимилировать массам и второстепенным поэтам. Большевики сперва обманулись «созвучностью» футуризма. Их ввели в заблуждение технологический колорит футуристических программ и «революционное» поведение самих поэтов. Но когда большевики правильно учуяли в футуризме ненавистный им «идеализм», они с ним быстро расправились. Характерно, что тогда поэты бросились в объятия именно к акмеизму, как к эстетике более благополучной, дающей основу для приемлемой, доходчивой, «реалистической», «красивой» поэзии. Эта тенденция ясно определяется в 30-х гг. Алигер, Берггольц, Симонов, поздний Тихонов, поздний Заболоцкий, не считая многих других, менее значительных поэтов, — почти все акмеисты поневоле, отказавшиеся от «езды в незнаемое». Акмеизм не разъедает душу поэта. Ирония литературной политики большевиков в том, что, ратуя за повышение «идейности», они загоняют поэзию в пределы, где идея родиться не может, где конец — поэтическое бесплодие. Иногда кажется, что не умри Гумилев в подвалах Чеки, акмеизм мог бы стать официальной литературной теорией, и не надо было бы изобретать «социалистического реализма». В эмиграции акмеизм победил, потому что не было футуризма; в СССР акмеизм победил, потому что футуризм был задушен. Но это не победа поэзии.

Наблюдение литературного процесса с точки зрения воплощения поэтической идеи по необходимости грешит

односторонностью, так как оставляет без внимания особые, не всегда зависящие от идеи, но получающие выражение в том же творчестве, пути поэтической личности. Этот дуализм личности и идеи — главная и неизбежная трудность для исследователя. Оставаясь в рамках материала этой статьи, можно было бы достичь также неожиданных выводов о личном влиянии Хлебникова на последующую поэзию, как в плане легенды, так и поэтики. Но это потребовало бы особого рассмотрения.

В. Марков

**
**

Еле слышно скребутся мыши
Там внизу этажем пониже,
Слишком много мышей в Париже.
Снова полночь, снова бессоница.
Снова смотрит в мое окно,
За которым дождь и темно,
Ледяная потусторонница.
Дождь шуршит по грифельной крыше
Как мне грустно... Как весело мне...
Я левкоем цветку на окне,
Я стекаю дождем по стеклу,
Колыхаюсь тенью в углу,
Легким дымом моей папирасы
Отвечаю на ваши вопросы.

Ирина Одоевцева

ВОСПОМИНАНИЯ О ГУМИЛЕВЕ И АХМАТОВОЙ

Судьба свела меня с Гумилёвым в 1910 году. Вернувшись в июле из заграницы в наше имение «Подобино» — в Бежецком уезде Тверской губ. — я узнала, что у нас появились новые соседи. Мать Н. С. Гумилёва получила в наследство небольшое имение «Слепнёво», в 6 верстах от нашей усадьбы. Слепнёво собственно не было барским имением, это была скорее дача, выделенная из «Борискова», имения Кузьминых-Караваявых. Мой муж уже побывал в Слепнёве несколько раз, получил от Гумилёва его недавно вышедший сборник «Жемчуга» и был уже захвачен обаянием гумилёвской поэзии.

Я как сейчас помню мое первое впечатление от встречи с Гумилёвым и Ахматовой в их Слепнёве. На веранду, где мы пили чай, Гумилёв вошел из сада; на голове — феска лимонного цвета, на ногах — лиловые носки и сандалии и к этому русская рубашка. Впоследствии я поняла, что Гумилёв вообще любил гротеск и в жизни, и в костюме. У него было очень необычное лицо: не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка косят. При этом подчеркнуто-церемонные манеры, а глаза и рот слегка усмеваются; чувствуется, что ему хочется созорничать и подшутить над его добрыми тетушками, над этим чаепитием с вареньем, с разговорами о погоде, об уборке хлебов и т. п.

У Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. Все черты слишком острые, чтобы назвать лицо красивым. Серые глаза без улыбки. Ей могло быть тогда 21-22 года. За столом она молчала и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович и его жена были как белые вороны. Мать огорчалась тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни по дипломатической части, а стал поэтом, пропадает в Африке и жену привел какую-то чудную: тоже пишет стихи, всё молчит, ходит то в темном ситцевом платье вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах (тогда носили узкие юбки с разрезом). Конечно, успех «Жемчугов» и «Чёток» произвел в семье впечатление, однако отчужденность всё же так и оставалась. Сама Ахматова так вспоминает об этом периоде своего «тверского уединенья»:

.....
Но всё мне памятна до боли
Тверская скудная земля.
Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.
И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных, загорелых баб.

После чая мы, молодежь, пошли в конюшню смотреть лошадей, потом к старому пруду, заросшему тиной. Выйдя из дома, Николай Степанович сразу оживился, рассказывал об Африке, куда он мечтал снова поехать. Потом он и Ахматова читали свои стихи. Оба читали очень просто, без всякой декламации и напевности, которые в то время были в моде. Расставаясь, мы сговорились, что Гумилёвы приедут к нам на другой же день.

Наше Подобино было совсем не похоже на Слепнёво. Это было подлинное «дворянское гнездо» — старый барский дом с ампирическими колоннами, громадный запущенный парк, овейная романтика прошлого, верховые лошади и полная свобода. Там не было гнета «старших»: мой муж в 24 года распорядился имением самостоятельно. Были тетушки, приезжавшие на лето, но они сидели по своим комнатам и не вмешивались в нашу жизнь.

Здесь Гумилёв мог развернуться, дать волю своей фантазии. Его стихи и личное обаяние совсем околдовали нас и ему удалось внести элемент сказочности в нашу жизнь. Он постоянно выдумывал какую-нибудь затею, игру, в которой мы все становились действующими лицами. И в конце концов мы стали видеться почти ежедневно.

Началось с игры в «цирк». В Слепнёве с верховыми лошадьми дело обстояло плохо: выездных лошадей не было и Николай Степанович должен был вести длинные дипломатические переговоры с приказчиком, чтобы получить под верх пару полу-рабочих лошадей. У нас же в Подобине, кроме наших с мужем двух верховых лошадей, всегда имелось еще несколько молодых лошадей, которые предоставлялись гостям. Лошади, правда, были еще мало объезженные, но никто этим не сму-

шался. Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не умел, но у него было полное отсутствие страха. Он садился на любую лошадь, становился на седло и проделывал самые головокружительные упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала и он не раз падал вместе с лошадью.

В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом и т. д. Ахматова выступала как «женщина-змея»; гибкость у нее была удивительная — она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилёв, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровке, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали спрашивать — кто мы такие? Гумилёв не задумываясь ответил, что мы бродячий цирк и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство и мы проделали перед ними всю нашу «программу». Публика пришла в восторг и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли.

В дальнейшем постоянным нашим занятием была своеобразная игра, изобретенная Гумилёвым: каждый из нас изображал какой-то определенный образ или тип — «Великая Интригантка», «Дон Кихот», «Любопытный» (он имел право подслушивать, перехватывать письма и т. п.), «Сплетник», «Человек, говорящий всем правду в глаза» и так далее. При этом назначенная роль вовсе не соответствовала подлинному характеру данного лица — «актера», скорее наоборот, она прямо противоречила его природным свойствам. Каждый должен был проводить свою роль в повседневной жизни. Забавно было видеть, как каждый из нас постепенно входил в свою роль и перевоплощался. Наша жизнь как-бы приобрела новое измерение. Иногда создавались очень острые положения; но сознание, что всё это лишь шутка, игра, останавливало назревавшие конфликты. Старшее поколение смотрело на всё это с сомнением и только качало головой. Нам говорили: «В наше время были приличные игры: фанты, горелки, шарады... А у вас — это что-же такое? Прямо умопомрачение какое-то!»

Но влияние Гумилёва было неизмеримо сильнее тетушких поучений. В значительной мере нас увлекала именно известная рискованность игры. В романтической обстановке ста-

рых дворянских усадеб, при поездках верхом при луне и т. п. конечно были увлечения, более или менее явные, и игра могла привести к столкновениям. В характере Гумилёва была черта, заставлявшая его искать и создавать рискованные положения, хотя бы лишь психологически. Помимо этого у него было влечение к опасности чисто физической. В беззаботной атмосфере нашей деревенской жизни эта тяга к опасности находила удовлетворение только в головоломном конском спорте. Позднее она потянула его на войну. Гумилёв поступил добровольцем в Лейб-Гвардии Уланский полк. Не было опасной разведки, в которую он бы не вызвался. Для него война была тоже игрой — веселой игрой, где ставкой была жизнь. При большевиках он с увлечением составлял заговор среди матросов. Арестованный, он спокойно заявил себя монархистом и непримиримым противником большевизма. Несомненно, что и на расстрел он вышел совершенно спокойно — это входило в правила игры.

Но я забегаю вперед... Мне вспоминается осень 1911 года. В конце августа начались осенние дожди и прекратили наше кочевание по округе. Кому-то явилась мысль о домашнем театре. Мы все забрались в нашу старую библиотеку, где «последней новинкой» было одно из первых изданий Пушкина (там было тоже издание Вольтера, которое можно было читать только в лупу). Все уселись с ногами на диваны и Николай Степанович стал сочинять пьесу. Называлась она «Любовь-Отравительница»; место действия — Испания; эпоха — 13-й век. Желания у нас, актеров, были очень пестры: один настаивал, чтобы были введены персонажи итальянской «Комедия дель Арте» — Коломбина, Пьеро, Арлекин и т. д.; другой непременно хотел, чтобы был кардинал, третий требовал яда и смертей, еще кто-то просил для себя роли привидения. И Николай Степанович, шутя, тут же при нас создал пьесу в стихах. Текст пьесы остался в России. В свое время мы все знали его наизусть, но за 40 с лишним лет стихи стерлись из памяти, кроме немногих отдельных строчек. Вот краткое содержание этой пьесы:

Раненый рыцарь, возвращаясь из похода против мавров, попадает в провинциальный монастырь. Монашки ухаживают за ним и он увлекается послушницей, сестрой Марией. Игуменья узнает об этом и возмущена. Влюбленные удручены; но судьба посылает им помощь в лице кардинала, дяди рыцаря. Возвращаясь из Рима от папы, кардинал по дороге узнает, что его племянник лежит в монастыре раненый и он заезжает навестить его. Кардинал светский и элегантный и ему сразу ясна

ситуация. Он отзывает игуменью в сторону и между ними происходит очаровательная сцена: кардинал в певучей латинской речи внушает игуменье снисходительность к увлечениям молодежи. Провинциальная игуменья слаба в латыни; она робеет, путается в словах и от конфуза на всё соглашается. Фокус Гумилёва был в том, что весь разговор был только музыкальной имитацией латыни: отдельные латинские слова и латино-подобные звуки сплетались в стихах, а содержание разговора передавалось только жестами и мимикой.

Казалось бы, всё улажено; но судьба создает новое препятствие. В свое время отец рыцаря был убит кем-то неизвестным и рыцарь связан клятвой мести. Неожиданно появляется друг рыцаря и сообщает, что какая-то старая цыганка, умирая, открыла тайну: отец рыцаря был убит отцом сестры Марии. Долг мести препятствует браку. Все мрачны и соответственно этому сцена темнеет, сверкает молния, гремит гром и начинается ливень. Стук в монастырские ворота, и жалобные голоса просят приюта на ночь. Это труппа странствующих комедиантов, промокших до нитки. Они отряхиваются, осматриваются и очень быстро уясняют положение дела. Коломбина выступает в защиту любви:

«Христос велел любить!»

Игуменья: «Как сёстры и как братья!»

Коломбина: «По всячески и верно без изъятья!»

Обращаясь к рыцарю, комедианты поют:

«Милый дон, что за сон?
Ты ведь юн и влюблен!
Брачного платья мягкий шелк
Забыть поможет тяжкий долг...»

Рыцарь колеблется. Кардинал, любитель театра, просит комедиантов показать свое искусство. Коломбина быстро распределяет роли:

«Ты будь Агамемнон, ты — Гектор, ты — Парис,
Еленой буду я, а это вот нектар...»

(показывает на бутылочку с лекарством). И в течение нескольких минут они разыгрывают «Прекрасную Елену». Мрачное настроение рассеяно и дело идет к свадьбе. Но тут появляется тень убитого отца и грозит рыцарю проклятием, если он, забыв

святой долг мести, соединится с дочерью убийцы. На этот раз положение безысходное: рыцарь в отчаянии закаляется, а сестра Мария принимает яд.

Вся пьеса была шаржирована до гротеска. Николай Степанович режиссировал, упорно добиваясь ложно-классической дикции, преувеличенных жестов и мимики. Его воодушевление и причудливая фантазия подчиняли нас полностью и мы покорно воспроизводили те образы, которые он нам внушал. Все фигуры этой пьесы схематичны, как и образы стихов и поэм Гумилёва. Ведь и живых людей, с которыми он сталкивался, Н. С. схематизировал и заострял, применяясь к типу собеседника, к его «коньку», ведя разговор так, что человек становился рельефным; при этом «стилизуемый объект» даже не замечал, что Н. С. его всё время «стилизует».

Между многочисленными тетушками, приехавшими на лето в нашу усадьбу, была очаровательная тетя Пофинька. Ей было тогда 86 лет. В молодости у нее был какой-то бурный роман, в результате которого она не вышла замуж и законсервировалась, как маленькая, сухенькая мумия. На плечах всегда кружевная мантилька, на руках митенки, на голове кружевная косынка и поверх нее — даже в комнате — шляпа, чтобы свет не слепил глаза. Нам было известно, что тетя Пофинька в течение 50 лет вела дневник на французском языке. Мы все — члены семьи и наши гости — фигурировали в этом дневнике и Гумилеву страшно хотелось узнать, как мы все отражаемся в мозгу тети Пофиньки. Он повел регулярную осаду на старушку, гулял с ней по аллеям, держал шерсть, которую она сматывала в клубок, навел ее на воспоминания молодости. Не прошло и недели, как он стал ее фаворитом и приглашался в комнату тети Пофиньки слушать выдержки из заветного дневника. Кончился этот флирт весьма забавно: в одной беседе тетя Пофинька ополчилась на гигантские шаги, которыми мы тогда увлекались, но которые по ее мнению были «неприличны». Для убедительности она рассказала ряд случаев — поломанные ноги, расшибленные головы — всё, якобы, на гигантских шагах. Николай Степанович слушал очень внимательно и наконец серьезно и задумчиво произнес: «Теперь я понимаю, почему в Тверской губернии так мало помещиков: оказывается 50% их погибло на гигантских шагах!» Этой иронии тетя Пофинька никогда не простила Н. С. и дневник ее закрылся для него навсегда.

Была и другая тетушка — тетя Соня Неведомская, для сво-

их 76 лет очень еще живая и восприимчивая. Сначала она возмущалась современной поэзией. Потом — нет, нет, да вдруг и попросит: «пожалуйста, душка, прочти мне... как это: «Как будто не все пересчитаны звезды, как будто весь мир не открыт до конца...» Под конец нашей жизни в Подобине, т. е. накануне мировой войны, тетя Соня уже знала наизусть многие стихи Гумилёва и полюбила их.

С 1910 по 1914 год мы каждое лето проводили в Подобине и постоянно виделись с Гумилёвым. С Н. С. у нас сложились в то время очень дружеские отношения. Помню осень, если не ошибаюсь, 1912 года. Мы все вместе уезжаем вечерним поездом на зиму в Петербург. На вокзале Гумилев шутя импровизирует:

Грустно мне, что август мокрый
 Наших коней расседлал,
 Занавешивает окна,
 Запирает сеновал.

И садятся в поезд сонный,
 Смутно чувствуя покой,
 Кто мечтательно влюбленный,
 Кто с разбитой головой.

И к Тебе, великий Боже,
 Я с одной мольбой приду:
 Сделай так, чтоб былэ то же
 Здесь и в будущем году.

Это один из многих экспромтов на домашние темы, которым Н. С. не придавал никакого значения и никогда не помещал в печати.

Ахматова — в противоположность Гумилёву — всегда была замкнутой и всюду чужой. В Слепнёве, в семье мужа, ей было душно, скучно и неприветливо. Но и в Подобине, среди нас, она присутствовала только внешне. Оживлялась она только тогда, когда речь заходила о стихах. Гумилёв, который вообще был неспособен к зависти, ставил стихи Ахматовой в музыкальном отношении выше своих. Я случайно запомнила одно стихотворение Ахматовой, которое, насколько я знаю, не было напечатано:

Угадаешь ты ее не сразу,
 Жуткую и темную заразу,

Ту, что люди нежно называют,
От которой люди умирают.

Первый признак — странное веселье,
Словно ты пила хмельное зелье.
А потом печаль, печаль такая,
Что нельзя вздохнуть, изнемогая.

Только третий признак настоящий:
Если сердце замирает слаще
И мерцают в темном взоре свечи.
Это значит — вечер новой встречи.

Ночью ты предчувствием томима:
Над собой увидишь серафима,
А лицо его тебе знакомо...
И накинёт душная истома

На тебя атласный черный полог.
Будет сон твой тяжек и недолог...
А на утро встанешь с новой загадкой,
Но уже не ясной и не сладкой,

И омоешь пыточною кровью
То, что люди назвали любовью.

Зимой мы с Гумилёвыми встречались редко. Они жили у матери Николая Степановича в Царском Селе; ей принадлежала там большая дача со старым садом и оранжереей. Помню один званый вечер у них. Собрались поэты: эlegantный Блок, Михаил Кузмин с подведенными глазами; Клюев — подстриженный в скобку и заметно дичившийся; граф Комаровский, незадолго перед тем вышедший из клиники душевно-больных (Гумилёв считал его очень талантливым). Кто-то читал свои стихи. Но было в настроении что-то напряженное и сам Гумилёв казался связанным.

Несколько раз встречали мы Гумилёвых в «Бродячей Собаке», где собирались поэты, художники и все, кто тянулся к художественной богеме. Там с Гумилёвым заметно считались и прислушивались к его мнению; однако я думаю, что близкой дружбы у него не было ни с кем. Ближе других ему был, пожалуй, Блок. Как-то раз у нас с Н. С. зашла речь о пророческом элементе в творчестве Блока. Н. С. сказал:

«Ну что ж, если над нами висит катастрофа, надо принять

ее смело и просто. У меня лично никакого гнетущего чувства нет, я рад принять всё, что мне будет послано роком».

Надо сказать, что в 1910-12 гг. ни у кого из нас никакого ясного ощущения надвигавшихся потрясений не было. Те предвестники бури, которые ощущались Блоком, имели скорее характер каких-то мистических флюидов, носившихся в воздухе. Гумилёв говорил как-то о неминуемом столкновении белой расы с цветными. Ему представлялся в будущем упадок белой расы, тонушей в материализме и, как возмездие за это, восстание желтой и черной рас. Эти мысли были скорей порядка умственных выводов, а не предчувствий, но, помню, он сказал мне однажды:

«Я вижу иногда очень ясно картины и события вне круга нашей теперешней жизни; они относятся к каким-то давно прошедшим эпохам и для меня дух этих старых времен гораздо ближе того, чем живет современный европеец. В нашем современном мире я чувствую себя гостем».

Повидимому это как раз те самые переживания, которые Гумилёв передал в стихотворной форме:

Я верно болен — на сердце туман.
 Мне скучно всё: и люди, и рассказы.
 Мне снятся королевские алмазы
 И весь в крови широкий ятаган.
 Мой предок был татарин косоглазый
 Или свирепый гунн. Я веяньем заразы,
 Через века дошедшей, обуян.
 Я жду, томлюсь и отступают стены...
 Вот океан весь в клочьях белой пены,
 Закатным солнцем залитый гранит
 И город с голубыми куполами,
 С цветущими жасминными садами...
 Мы дрались там... Ах да, я был убит.

Это стихотворение совсем не случайно для Гумилёва — он много раз возвращался к этой теме. И это было не позёрство, это было очень искренно. Может быть — предчувствие?

Вера Неведомская

1917 - ый ГОД*

Полвека я работала с народом, чтобы увидеть его свободным, идущим к свету. Полвека ждала и надеялась, надежда переходила в уверенность. Любя его, я его изучала, не теряя из виду ни сильных, ни слабых сторон его натуры. Родилась в деревне, видела его крепостным, жила в его избах в дни «хождения в народ», спала на одних нарах в тюрьмах, работала рядом с ним, живя годами на поселении. В одном Киренском округе за три года моего там пребывания могла наблюдать крестьян, рабочих, солдат, матросов, учителей и разночинцев всевозможных профессий. Это всё были политические преступники от революции пятого года.

К середине 1916 г. я жила в ссылке в столице «сибирской Италии», в городе Минусинске. Италия не Италия, даже садовые яблони не вырастают, но всё же не Якутск. Близился 1917 год. Несмотря на цензуру, из газет видно было, что Дума бунтует: а непрерывная смена министров доказывала, что верховное правительство мечется в бессилии. Чувствовался небывалый трепет в верхах. Казалось всё-всё готово для взрыва; и я дивилась замедлению. Ночи, дни проходили в тревожном ожидании. Отыграли с детворой праздник Рождества, Новый Год вошел в обиход. Снова ушла я в вести из России. Чу, слух... Бежит слух из Иркутска... Что-то случилось... Что-то скрывается властями... Рассчитывали, что колесо повернет обратно. Уже 1 марта. В Минусинске только шепчутся... Вдруг ко мне прибегает молодой телеграфист, волнуется, передает: «Получена телеграмма... Переворот... Скрывают... Царя убрали... Революция!..»

Я зажала все свои чувства и жду.

Утром 2-го марта являются ко мне исправник и товарищ прокурора. «Вот телеграмма от министра юстиции, предписывается содействовать всячески вашему отъезду, если вы того

* Мы печатаем, с некоторыми сокращениями, главу из неопубликованных воспоминаний Е. К. Брешковской, рукопись которых хранилась в архиве покойного В. М. Зензинова. РЕД.

пожелаете, и мы пришли узнать ваши распоряжения. Лошади, прогонные — всё к вашим услугам». — «Денег на дорогу у меня хватит, а вот лошадей почтовых прошу заказать теперь же — я уеду сегодня же». — «Наступила распутица, река поддается», — заметил исправник. — «Еще успею проехать, до Ачинска всего 300 верст, а там всё время по железной дороге».

Быстро распорядилась с квартирой, вещами, детскими нуждами, оставляя всё в распоряжение сожителей моих; и, оставшись совсем налегке, ждала лошадей. Их не подавали, а пришли отцы города со свитой нотаблей и стали поздравлять и желать всего лучшего. Казалось, что против удаления старого верховного управления никто ничего не имел, а что потом должно последовать, об этом еще никто не вопрошал. Ушли. Пообедали. Лошадей всё нет. Являются послы, просят прийти в Городское Управление, где ждут меня. Полная зала лиц знакомых и незнакомых, говорят приветствия, я отвечаю. Не чувствует сердце мое ни тепла, ни жара; оно точно броней оделось, точно в великий бой собирается с неизвестностью. Вернулась к себе — лошадей нет; начинаю гневаться. Сумерки пали. Наконец в воротах показалась пара коней и почтовая повозка. Мгновенно распрощалась, набросила тулуп уже в кибитке, точно страшась не попасть в нее. Ящик встретил словами: — «Плоха дорога-то, снегу мало осталось, а реки вовсе опасны». — «Люди ездят, и мы проедем...» — Труском выехали за город и тащились всю ночь до почтовой станции. Заспанные люди никак и ничем не выражали нам своего настроения, и лишь утром на следующей станции следующая хозяйка очень весело подала самовар и охотно разговорилась. — «Наше начальство где? Да его как рукой смело! Ни урядника, ни пристава уже третий день не видать, улепетнули, что-то зачуяли...» — Она смеялась, видимо довольная. Еще дальше увидела я озабоченно шагающего по комнате высокого человека, одетого по военному. Он меня что-то спросил, я ответила и спросила: — «С кем я разговариваю?» — «Я тот жандармский ротмистр, что был приставлен следить за вами за время вашего пребывания в Минусинске». Было неприятно видеть здорового, молодого детину, сконфуженно бегающего по комнате, точно желавшего куда-то укрыться.

Только на третий день дотащились мы до ближайшего железнодорожного пункта, до города Ачинска. Я торопилась;

дорога санная совсем исчезла, и кибитка еле двигалась по вязкой грязи. Только что мы въехали в город, на огромную площадь, как навстречу бегут военные и кричат: «Стой! Стой!» Меня эта неожиданность смутила. «Господи! — подумала я, — неужели старое начинается?» Мы остановились. «Вы — Брешковская? Мы вас уже двое суток караулим! Выходите пожалуйста, полк вас ожидает...» — «Зачем?» — «Как зачем? Нам телеграфировали из Минусинска, что вы выезжаете, мы желаем вас слышать, солдаты ждут...» — Кончилось тем, что перед обширными казармами был вынесен стол и табурет. Сначала на табурет, потом на стол водрузили старуху, а вокруг собралось целое море серых шинелей. Всё обошлось по-хорошему: поздравляли друг друга, обещали верность и любовь взаимную, но беседа прошла без энтузиазма.

Сошла я со стола тоже невеселая, ишу глазами свою кибитку. Ее и след простыл, а посадили меня в другой экипаж и повезли в лучшую гостиницу. Город, мол, пожелал видеть меня у себя гостьей. Меня не трогал официальный привет; я знала ему цену, притом страшно торопилась в самую гущу России. Однако, настойчивость и торжественность обстановки, скопление публики и толпы народа давали понять, что наступили дни излияния накопившихся повышенных и сложных чувств. Поняла и смирилась. Трое суток являлась я объектом внимания и торжеств гражданских и военных чинов уезда. Ко мне являлись, меня развозили по всем учреждениям и всюду заставляли говорить. Караулили меня днем и ночью; солдаты группами проникали в мои комнаты на беседы.

Сидела я в своем номере в недоумении: что то будет со мной дальше?

И второй и третий день посещало меня местное начальство, относясь ко мне так, как обыкновенно оно относилось к особам высокого положения. Только на четвертый день всё было готово для дальнейшего следования. Посадили меня в коляску рядом с полковым командиром, окруженную конными и пешими. Вся дорога, идущая от гостиницы за город до вокзала, была уставлена с обеих сторон войском во всей форме, с оружием и знаменами, а впереди коляски шли толпы народа с хоругвями. Все кричат ура! Солдаты брали на караул, позади бежали мальчишки, величали, как умели. Я глазам своим и ушам не верила и ждала минуты, когда вырвусь из этого нелепого маскарада. Теперь, вспоминая эту небывальщину, я полагаю, что за трое суток, что меня начальство

держало в Ачинске, оно справлялось в столице о ходе дел и, убедившись, что революция свершилась, решило поступить соответственно и со мной: вместо ареста воздать почести.

На следующей же станции встречный чиновник пересадил меня в вагон-игрушечку, и я покатила одна-одинёшенька, раздумывая о том, что ждало меня впереди. Тревожна была душа моя; она жаждала увидеть народ в его целом, проникнуть в его настроение. Очевидно, о моем выезде дано было знать по всей линии и начались другого рода события. На каждой станции, на каждом полустанке вагон мой врзался в толпу крестьян, рабочих, мужчин и женщин, стариков и детей. Иногда в вагон входил депутат от собравшихся, но по большей части меня вызывали к выходу и надо было говорить всем собравшимся. Крестьяне не смущались, задавали определенные вопросы, о земле прежде всего и не выражали опасения остаться без царя; о нем как-то нигде не вспоминали. Интересовала война с ее последствиями. Рабочие добивались главным образом удостоверений о действительности событий, гадали о предстоящем режиме. Но ни от кого не слышалось ни угроз, ни мстительных слов, лишь заметно было беспокойство за непреложность происходившего переворота. Как это разом? Вдруг?

Сильное впечатление производили собрания на станциях близ угольных копей: — черные лица, сверкающие глаза, измученные женщины, обвешенные малымя детьми. Тяжелый труд и малый заработок ставили человека в состояние полуголодного зверя, он выходил из подземелья с чувством озлобленного сомнения и жутко было видеть эти сверкающие глаза мужчин и заплаканные лица женщин. Отчаяние, безверие не покидали их, точно всё происходившее не им сулило облегчение в жизни. Теперь понятно, что эта среда быстрее других могла воспринять лозунги Ленина и шла грабить и разбивать с особой охотой. Уже тогда, в 1917 году, я встречала таких обреченных людей с особым страхом за судьбу революции.

Ближе к России толпы народа росли настойчивее, в городах требовали остановки, встречали все классы населения, но чиновничество скоро исчезло и кроме железнодорожной власти никакой другой не оставалось. Порядок никак не нарушался. Можно было диву даваться. Для меня поразительнее всего казалась быстрота, с какой весь высший состав общества переменял фронт по отношению ко всему тому, что так

сильно им осуждалось и ненавиделось. Всё, что было властью, низко склоняло голову перед вчерашней каторжанкой. А я не совсем ловко себя чувствовала, одетая чумичкой и сознавая ложность обоюдных отношений. Крестьяне и рабочие всё время наполняли мой вагон, провожая от станции до станции. А ночью толпы ожидали приезда и требовали хотя бы только появиться на площадке. Однажды, когда служитель, пожалев меня, объявил, что «она утомилась, спит, оставьте ее в покое»... — один из стариков вскричал обиженным голосом: «И лица своего не хочет показать!» Но и с этими, искренне льнувшими ко мне людьми, — я не была вполне спокойна. Я знала, что ждут они от меня не проповеди, не пророчеств и утешений, а хотят слышать определенные заявления о предстоящем будущем и твердые указания. Я знала и знаю, что умы простые и сердца откровенные не принимают, не выносят *гадательных* истин. Для них приемлемы только два решения: «да» и «нет». Раз свобода, то долой то начальство, в коем для них жило всё зло, все неправды ими переносимые — значит на смену темному прошлому должна наступить светлая правда. А вдруг опять обман судьбы? Вдруг козни врагов снова возьмут верх, и снова вся жизнь и своя и детей в неволе и нищете...

Так ясно эти вопросы читались в глазах пролетариев, что жутко становилось. Я и раньше никогда не любила дешевых посул, всегда указывала на неизбежность терпенья и осмотрительности. Сейчас же положение было особенно ответственное.

Было очень тяжело и вся я стремилась туда, где уже принимались решения; хотелось дать там знать, чтобы торопились фактами уверить народ, что нужды его и чаяния известны и первым делом приняты в расчет, что обмана нет и быть не может. Но путь замедлялся остановками. В Новониколаевске наплыв народа был так велик и теснота у вагона столь сильна, что и меня и встречавшую меня, уже больную М. И. Милашевскую, едва не задушили. И дальше встречи принимали всё большие размеры, удивляя меня напряженностью ожидания и требованиями оставаться подольше на местах остановок. Было несомненно, что везде народ желал ближе разобраться в событиях; и хотя уже он верил в факт удаления начальства и его полного бессилия, но всё внимание, предчувствие его было обращено к предстоящему, к ближайшему будущему, а не к недавнему прошлому.

Наибольшее торжество ожидало меня на Урале, в Златоусте. Там меня близко знали и задолго поджидали. Уже на станции железной дороги стояла толпа, занявшая большую часть долины. Пешие, конные, в телегах, с женами и детьми. Встречали, точно родные, те, что слушали меня раньше в горах и лесах великого Урала и несмотря на дождь и грязь провожали до самого завода, куда довели в экипаже, чтобы представить всему населению огромнейшего и богатейшего по дарам природы и красоте своей Златоуста. Была устроена эстрада для речей, и длились приветствия и подношения, обмен надежд и благодарностей судьбе — до самого позднего поезда. Торжественное многоверстное шествие взад и вперед, и то душевное настроение, что нам сопутствовало — особенно глубокий след оставили во мне своим радужным величием. Затем была Самара, еще и еще встречи, но я всё пристальнее вглядывалась вперед.

Добравшись до Москвы, остановилась в ней, чтобы и самой лучше ориентироваться, повидавшись со старыми товарищами своими и положить начало издательству (уже легальному) для широкой провинции, в целях уяснения ей вопросов, поставленных на очередь самоновейшей историей. Проехав Сибирь и Россию, не могла я не видеть, какая крайняя нужда в книжках серьезных и вполне доступных пониманию жаждущего *знать* малограмотного народа. В Москве я нашла и сочувствие и помощь. А! В. Пешехонов сделал мне честь, пригласив участвовать в его органе, а на издание брошюр, знакомящих народ с новыми правами и обязанностями крестьян и рабочих, жертвовали деньги и кооперация и частные лица. Именитая гражданка В. Морозова потом стала выдавать ежемесячно по десять тысяч рублей для сего предприятия, и только преждевременная смерть ее прекратила эту поддержку. Делали сборы в собраниях молодежи, давали крупные суммы богатые люди, и потом с каждой неделей росла и ширилась эта работа настолько, что сотни тысяч каждого издания расходились не по дням, а по часам. Кооперативы брали и заказывали их вновь. Имелись уже свои типографии и в провинции. Книги сдавались на железные дороги и пароходы десятками пудов, и всё их не хватало.

В то время Москва произвела на меня весьма хорошее впечатление. Казалось, она восприняла великое событие как должное, давножданное, и по внешности своей была довольна и спокойна. Улицы поразили меня своим весело простодуш-

ным видом, и непрерывная толпа текла по обоим тротуарам непрестанно. Дети, женщины, старики, молодежь — шли вперемежку, точно на праздник, словно уверенные, что их встретит такое же дружное течение народа. Но что всего приятнее было видеть, это абсолютное отсутствие какой бы то ни было власти. Автомобили, экипажи, грузовики двигались осторожнейшим образом, ни окриков, ни указаний и в помине не было. Ни единого свистка, ни признака городского. Было замечательно хорошо. Ни угрюмых лиц, ни грубых слов. И военных было мало видно.

Зато собраний без конца. Городские заседания, кооперативные, учителей, студентов... Помню собрание в доме Морозовой, куда меня привезли. Приятно было видеть многолюдное собрание интеллигентных женщин, оживленных, деловых, одушевленных необычным настроением, желающих войти непосредственно в свободную общественную работу, широко распахнувшуюся перед ними. Собирали средства на открытое мною издательство.

Сейчас я не помню, где именно началось в Москве печатание народной литературы, но оно быстро осуществлялось, а благодаря участию в нем деловитого молодого человека, Федора Рабиновича, литература стала расти столь скорым маршем, что понадобилось огромное помещение для ее хранения и много помощников, едва успевавших паковать посылки во все концы России и Сибири. Кооперативы оказались щедрыми в деле просвещения своих бесчисленных членов.

Всего одну неделю, кажется, пробыла я в Москве, отвела душу в свиданиях с дорогими соратниками; насмотрелась на широкую, полную надежд публику и поспешила на зов мятежной столицы, которая уже два раза встречала меня, обманутая ложными извещениями о моем приезде.

Мое сердце мчалось туда, откуда я получила весть о своем освобождении и где я могла приветствовать человека, приобщившего меня к великому торжеству величайшего в мире события. Переезд из Москвы до Петербурга состоялся без задержек.

Цветы, музыка, поздравления быстро промелькнули по приезде; Александр Федорович посадил меня в свой автомобиль и повез в Таврический Дворец, где заседали все главари февральской революции. Поздоровались и здесь по-братски и отправились на квартиру министра юстиции. Здесь впервые я познакомилась с представителями разных ведомств и всех

сословий, столичными и провинциальными нотаблями; военными и штатскими чинами.

Оставаясь внешне и внутренне сама собой, я производила весьма скромное впечатление на всех и себя считала немного чужой среди общества, привыкшего к открытой светской жизни. Немало было приятных личностей, очевидно послуживших на поле общественной деятельности, и я была довольна их знакомством. Интересными являлись посетители-иностранцы, как француз Альбер Тома и некоторые американцы.

У Керенских меня устроили как дома, я могла располагать собою как хочу, и всё же дней через десять я уже собралась в объезд. Куда — всё равно, лишь бы в среду того народа, что манил меня к себе от раннего детства и через всю мою последующую жизнь.

Мне было уже свыше семидесяти лет, и моя устойчивая натура сохраняла свои симпатии и вкусы неизменными. Большие города с их великолепиями и условностями всегда были для меня в тягость. Я чувствовала, что место мое там, среди низов, столь нуждавшихся в слове правды и чести. Меня отпустили, дали мне вагон и я направилась на север.

Вологда. Здесь знали меня по прежним приездам, быстро узнали о моем присутствии и окрестные деревни; ко мне явились крестьяне, уполномоченные с доверенностью в руках. «Правда ли насчет земли?» — «Правда, — говорю, — только полное решение постановит Учредительное Собрание, а пока надо осмотрительно...» — «Это мы знаем и пришли спросить вот о чем: остаются поля и луга частновладельческие не занятыми из года в год. Можем ли мы их в этом году использовать, т. е. косить и пахать?» — «Ежели не затронете земли, обрабатываемой владельцем, то можете, раз не хватает вашей собственной», — говорю. — «Это мы тоже понимаем, — отвечали степенные, толковые мужики, — мы и то признаем, что если при нарезках эта земля кому другому отойдет, мы возражать не станем, мы только на этот год пользуемся — всё равно праздно стоит». — На этом порешили. Много еще приходило крестьян, требовавших разъяснений и было хорошо слушать и видеть их, рассуждавших как истинные хозяева, понимающих не только сельские свои упорядочения, но также и общие интересы, с уважением относившихся к требованиям государственных интересов.

В Ярославле меня встретила делегация от женского со-

юза крестьянок-работниц. Из их среды поднимались ораторы-женщины, выражавшие удовлетворение возвышенным гражданским равноправием, обещавшие содействовать развитию политического сознания в своей среде. Показали мне парк, где собирается народ по праздникам, назвали его моим именем. Требовали речей и от меня. Затем повезли меня на другой берег реки, где происходило какое-то торжество и собрался народ. Тут же на воздухе приготовились к молебну благодарственному. Служили двое батюшек, молодой и старый. Когда пели о здравии, молодой помянул меня. Потом меня накормили, а когда снова садилась на баржу, увидела, что на борту написано мое имя. Везде народ держал себя не только спокойно и серьезно, но прямо-таки благоговейно.

Побывала я и в Новгородской и в Тверской губерниях, настроение везде бодрое, но выжидательное.

В Ревеле, где я была вместе с А. Ф. Керенским, был не только большой, но и осмысленный подъем в то время. Потом я осталась одна, побывала в Кронштадте и других портах. Говорила укоризненно о насилиях, совершенных матросами и рассказала им, как политические каторжане, выходя свободными из тюрем, из-под власти тиранов-тюремщиков, не только никому не мстили, но прощались с более человечными надзирателями, и только барбосам не сказали «прощай». Затем я спросила: — «как по-вашему, было ли бы разумно с нашей стороны задерживаться в Сибири, чтобы расправиться с теми, кто нас там мучил, вместо того чтобы спешить домой делить с народом трудности новых условий?» — Матросы молчали и только на третий раз ответили немногие: — «неразумно». Просили остаться дольше, всюду требовали речей, провожали дружески. Как среди матросов, так и среди солдат, так называемых, «коноводов» было немного. Уже позднее со стороны стали то и дело появляться неизвестно откуда застрельщики, чрезвычайно бойко, нахально выкрикивавшие свои большевистские лозунги и строившие на них целые замки демагогических блаженств.

Побывала я и на юге — в Харькове, Екатеринославе и других городах. Но средние и южные губернии не давали впечатления той солидности и уверенности в своих восприятиях революции, какие я встречала на севере. Только в следующие приезды, когда добралась я до Симферополя, я снова встретила желательную для себя работу. Была у меня поездка, посвященная исключительно Бессарабии, где тогда стояло много

войска. Там много раз обращалась я к солдатам; указывала на преступность бросать фронт и тем открывать дорогу врагу. Но здесь с еще большей ясностью проявилось невежество нашего народа. В присутствии начальства солдаты обыкновенно слушали меня молча; с глазу же на глаз они говорили: «до нашей губернии не дойдет», — если она далеко до границы, а если близко, то утешали себя тем, что немец такой же солдат и ему тоже домой хочется: бросит границу, и вернется к себе.

Поражало меня в этих моих поездках и то, что вся наша буржуазия держала себя в роли публики, присутствующей при разыгрывании занимательной пьесы, долженствующей иметь скорый конец. И в Питере и при всех разъездах по России я встречала многих, меня посещавших помещиков обоюго пола и чинов разных бывших ведомств. Никто из них не был доволен, но никто и не верил в длительность нового положения вещей, в возможность радикальных перемен. Иногда задавались ехидные вопросы, слышалась ирония в словах и в голосе.

Такое же отношение к настоящему я видела иногда даже и в среде Временного Правительства, когда министры, точно своенравные дети, бросали свои посты один за другим, взваливая всю ответственность на премьера, от которого все партии требовали подчинения каждая себе, имея в виду лишь свои партийные интересы, не желая ничем поступиться ради общей совместной работы, требовавшей в данный момент самого горячего, энергичного участия. В эти минуты истории России я могла оценить бескорыстие и преданность Александра Федоровича Керенского, отдававшего себя всецело работе и заботе служения России. И каждый, кто был близок к нему тогда, засвидетельствует то же самое. Он спал много пять часов в сутки, жил так скромно, как никто другой из его сотрудников, никуда не отлучался от своей непосредственной работы блюстителя министерства в его целом и болел и страдал от тех распрей, что стороны практиковали за всё время его премьерства. Два раза подавал он в отставку, желая уступить место более способному, если таковой найдется, и оба раза отставка не была принята, так как никто не хотел взять на себя ту громадную, непосильную ответственность, что лежала на плечах составителя кабинетов в момент общей неурядицы, полнейшей несогласованности взглядов, намерений, интересов. Бросить же ведение дел и

оставить пустое место в часы надвигавшегося хаоса было бы трусостью, преступлением перед народом. Быть низверженным не значит *изменить*, но уйти от опасности по своей воле — будет изменой долгу, изменой народу, который доверил. Безукоризненно честный человек — Керенский и сам верил, что люди, причисляющие себя к передовым партиям, неспособны на столь подлый обман, каким орудовали большевики.

Я вдвое старше Керенского, много была тогда опытнее и решительнее, потому, признавая всё то, что Временное Правительство успело провести в жизнь (все политические свободы, все законы, ожидавшие своего приложения на практике, все планы на ближайшее будущее, тесно связанные с работой в предстоящем Учредительном Собрании) я в то же время считала всякое замедление весьма опасным и говорила это не только лично А. Ф., но и в собрании депутатов Предпарламента. Увы! на мои громкие слова, обращенные к кадетской партии: — «Россия загорается! И если вы не поспешите передать землю в фактическое пользование крестьян, *вы* понесете ответственность за тот пожар, что испепелит всю Россию» — гробовое молчание со стороны мужей разума и даже мудрости. А между тем для меня было несомненно, что в вопросе о земле лежала та гиря, что должна была преодолеть своим весом *все* другие тяжести и меры.

После моей поездки по России я сочла долгом доложить в Петрограде обо всем, что видела и слышала. Тут я услышала и о затеях и образе действий Ленина и Троцкого. И настаивала на их аресте, на укрощении возмутительной пропаганды большевиков. Но их связь с Германией не была еще установлена и все они были на воле. Огорченная, я устремилась на Волгу, хотела объехать ее до Каспийского моря, а затем побывать на Каме и Белой, но едва успела доехать до Рыбинска, как телеграммой была вызвана назад в Петроград. Я покорилась. Я сознавала, что несмотря на обилие выдающихся людей, окружавших А. Ф. Керенского, не было у него совсем близкого человека, который всегда сказал бы откровенно то, что считает нужным, необходимым. Зачем меня зовут, я не знала, но заставши его и других министров сильно озабоченными, я поняла, что случилось предсказанное мною. Я была старый человек, на моих глазах формировалась партия, я знала всех ее центральных членов наизусть, я знала их характеры, их способности и цели. А он, А. Ф. Керенский, не искушенный партийной жизнью, мог ли он худо думать о них? Он ждал от

них помощи, честной и усердной работы, он даже не представлял себе, что люди, прошедшие свою жизнь в «подполье», теряют действительную почву под ногами и за неимением таковой то поднимаются беспредельно высоко, то опускаются, руководясь лишь своими страстями и личными вкусами. Это, конечно, не значит, что все члены партии люди «никчемные», совсем нет, это значит только, что из их среды надо выбирать тех, кто сохраняет заветы правды и справедливости, руководящие всеми действиями, всеми помыслами человека.

Боже мой! На скольких людей, и больших и малых, насмотрелась я, сидя гостьей в Зимнем Дворце. Не было среди них людей горящих любовью к родине. Просилась я снова на свободу и снова не решилась уехать, не смогла отказать желанию А. Ф. видеть меня по соседству с собой. Там и жила на третьем этаже. А людям только того и нужно было. С утра до вечера начинались посещения: великие мира сего, средние и малые, — все стучались у дверей старой арестантки и все требовали помощи, ходатайства в той или иной форме. Это было тяжелое для меня время. Бедные мои секретари и секретарши не знали покоя, а я, раздражаясь на невозможность удовлетворить просьбы посетителей, часто вполне законные и настоятельные, ворчала и нетерпеливилась к огорчению моих помощниц и помощников.

Весь август и половину сентября я оставалась в Зимнем Дворце и уже отсюда посылала своих помощниц и помощников с транспортами книг и брошюр по Волге, Каме и вообще вглубь России. Много приходилось писать в газете «Воля Народа», оборонческого направления, требовавшей усиленного продолжения войны с Германией и спокойного состояния страны до созыва Учредительного Собрании. Но голоса разумных требований заглушались голосами купленных и добровольных циммервальдистов. Множество газет и листовок на фронте, в столице и по всей России призывали народ и к немедленному миру и к захвату земель и капиталов, не ожидая законодательства Учредительного Собрании.

Россия была полна недовольным, обездоленным элементом и ничего нет удивительного, что миллионы рук протягивались к большевикам, обещавшим народу и землю, и все богатства без войны и без начальства. Не надо забывать и того, что нет великого государства на свете, которое бы держало свой народ в такой темноте, в таком абсолютном невежестве, в каком монархи России держали сотни лет свой народ. Этот

народ, 180 миллионов людей, не знал ни границ своего государства, ни морей его окружающих, ни областей, входящих в его состав, ни племен его населяющих. Абсолютная политическая свобода, пришедшая совершенно неожиданно для самого народа, уже сама по себе не могла не вскружить ему голову, ему, вчерашнему рабу своего господина. При этом — наплыв злостной, преднамеренной агитации и, постоянных внушений, что у народа могут отнять всё добытое счастье, могут обмануть и снова закабалить в нищету. Никогда не действовавший самостоятельно, никогда не чувствовавший себя хозяином положения, народ не верил в себя, не верил ни в свою организационную способность, ни в свою государственную мудрость. Он не ощущал ее в себе и вместо того, чтобы начать жить ею, он, побуждаемый страстями и недоверием, пошел по линии наименьшего сопротивления, по легчайшей дороге, пошел путем насилия. Мы видели, как миллионная армия, точно ошалевшая, побежала по своим домам, всё разоряя у себя на пути, а несчастные, одураченные трудящиеся под предводительством предателей и полоумных людей, набросились на свои собственные заводы, фабрики, села и деревни. Это был психоз сил и страстей, поддерживаемый клеветой, ежедневным обманом и, наконец, водкой. Временно Россия стала больной, невменяемой. Старые грехи сверху — отозвались грехами и корыстью снизу.

Революция! Она поднимает с самых низов, с самых потаенных углов все отбросы, всё темное, всё порочное и своим неудержимым порывом временно одолевает нормальное течение.

Я не сумею последовательно и точно описать всех перепитий, все даже выдающиеся эпизоды нашей революции, но скажу только, что не было сколько-нибудь заметной личности, занимавшей какой-нибудь видный пост, которую не окружали бы стаи интриганов, людей корысти, личной наживы. Так было в военном мире, так было в мире гражданском и, наверное, то же самое было в среде духовенства. И немудрено, что честный, любивший свою родину генерал Корнилов сделался центром хитросплетений, куда вплетались со своими нитями и генералы и полковники, мечтавшие о военной диктатуре и о реставрации монархии, и политические авантюристы, искавшие видных положений и популярности среди сбитых с толку масс, и просто интриганы, всегда готовые к услугам властей, могущие оперировать большими силами и возможностями.

Июльское выступление большевиков и грязная, злобная прес-са, гулявшая по всей России, ясно говорили, что в стране не только не спокойно, но тревожно, опасно. А. Ф. Керенский пересиливал себя, напрягал всю свою энергию, но не мог не уставать и его положение ответственного и одинокого главы небывало-сложных событий удручало и мучило его. Увы! ему некому было сдать свои полномочия. Решительно никто не брал на себя такой ответственности. Когда он говорил об отставке или уже подавал свою отставку, все министры требовали, чтобы он не покидал поста. Однако, они делали это не с тем, чтобы укрепиться самим и взяться вплотную за работу — они слишком зависели каждый от своей партии, чтобы позволить себе роскошь самостоятельности и определенности. Один Керенский взял себе эту привилегию и руководился *только* собственной совестью, собственным разумом; но он никогда не позволил себе изменить присяге, данной народу, и всегда отказывался брать на себя издание законов, долженствовавших лечь в основу государственной жизни: — Учредительное Собрание, воля всего народа, были для него священными скрижалями и он скорее бы умер, чем отступил от признания народовластия. Ему часто говорили: — «ваш главный недостаток — это отсутствие властолюбия; мы веряем вам диктаторские полномочия, а вы всё говорите об Учредительном Собрании». Грешным делом, и я требовала от него решительных мер и всегда получала один и тот же ответ: «превысить своих полномочий я никогда не решусь». Сколько раз я говорила ему: «возьми Ленина!» А он не хотел. Всё хотел по закону. Разве это было возможно тогда? И разве можно так управлять людьми? Вот грибы растут — есть хорошие, а есть и поганки. Поганки надо выбрасывать. Разве нет дурных, злых людей? Посадить бы их на баржи с пробками, вывезти в море — и пробки открыть. Иначе ничего не сделаешь. Это как звери дикие, как змеи — их можно и должно уничтожить. Страшное это дело, но необходимое и неизбежное.

А. Ф. торопился с созывом Учредительного Собрания. Но возможно ли было осуществить его сколько-нибудь целесообразно, т. е. согласно *действительной* воле всего народа, не дав времени этому неграмотному, не имеющему понятия о значении великого государственного акта, народу, чтобы ознакомиться, как с целью Учредительного Собрания, так и с процессом выборов? Правительство не считало себя вправе созвать «на скорую руку» Учредительное Собрание, должен-

свующее иметь историческое, вековое значение для народа в 180 миллионов. Враги народа это знали и за две недели до его созыва — в Петрограде, Москве и других городах начались мятежи, заранее подготовленные Лениным и Троцким. Им необходимо было сорвать это законодательное учреждение, чтобы вместо него провести лозунги разбоя и грабежа.

Уже на третий месяц революции состояние умов и настроений стало выходить далеко за пределы нормального. В войске, во флоте, в городах — всё кипело в тревожном ожидании событий. Всё хотело проявить себя, занять видное место среди массового подъема; и натуры честолюбивые из всех сил лезли вверх, требуя быть услышанными и замеченными. Редкую противоположность являло хозяйственное крестьянство. Оно высылало своих ходоков за справками, обстоятельно расспрашивало, на каких условиях могло вести хозяйство, видимо не желая преступить границы, дозволенные правительством. Вопрос о переходе земли во владение тех кто ее обрабатывает был для них вопросом решенным. Главное содержание революции и заключалось для них в несомненности этого перехода не в мечтах только, а в действительности. Но они сознавали необходимость проведения закона на пользование новым правом и оставались спокойны всё время, пока агенты большевиков не внушили им недоверия, не возбудили в них опасения быть обманутыми. Я находила немалую отраду в беседах с умными крестьянами, умевшими сопоставить свои требования с нуждами государства, как хозяина всей земли. В том году они претендовали лишь на те земли, что оставались необработанными — как у помещика, так и у «казны». Домохозяева не одобряли поведения молодежи, беспорядочно бросавшей и фронт, и флот, и работу на фабриках, «мутящей» деревню, сбивая с толку безземельных, бездомных батраков. Они-то первые и составили кадры «грабящих награбленное».

Слух, зрение, все нервы были возбуждены. С каждым месяцем демагогов становилось всё больше, митинги превращались в обработку простецких голов в сторону безрассудства и насилия. Страшно и больно становилось за русский народ и чувствовался недобрый конец впереди. Развратителей было в тысячу раз больше, чем людей, старавшихся удержать и организовать силы народа на подготовку к выборам в Учредительное Собрание. Сознавалось, что темень миллионных масс не устоит против обдуманной, заранее подготовленной под-

рах души своей, и я продолжала ездить и говорить больше по долгу, чем в сознании успеха. Особенно в Питере события лости враждебного духа — трудно было вызвать подъем в нед- очевидно клонились к роковой развязке. Мне опостылел этот город, как скопище измен и честолюбий, продававших Россию за чечевичную похлебку, каждый для себя. Буржуазия ждала праздника на своей улице при падении честного Временного Правительства, не соглашавшегося изменить в чем-либо интересам *всего* государства; большевики радовались при виде разложения общественных сил, а «победители-рабочие», наш наивный пролетариат, с развевающимися знаменами в автомобилях, уже видел себя на верху власти.

Страдала не одна я, все лучшие люди страдали. Но чаша позора переполнилась в момент Брест-Литовского мира, всё потемнело кругом, разверзлась тучина, полная гноя и смрада. Смерть казалась избавлением от беспримерного позора... Кропоткин мне сказал: — «всю ночь просидел с револьвером под рукой... потом стыдно стало, малодушием показалось». А я себе говорила: «предатели хотят стереть всё, что есть честного в России, каждый преданный народу человек — для них угроза. Но *надо* жить, и я буду жить!»

Катерина Брешковская

Ф. И. РОДИЧЕВ

(1854-1933)¹

Федор Измаилович Родичев был общественный деятель и оратор Божьей милостью. Его голос, интонации, выражение лица, нервное движение рук, чертивших в воздухе рисунков, дополнявший его слова, а главное струившиеся от него флюиды идейного энтузиазма — зачаровывали слушателей, подчиняли ему даже тех кто далеко не во всем с ним был согласен. Как только после манифеста 17 октября 1905 г. начались митинги, появилась возможность открыто высказывать политические мысли и надежды, Родичев стал любимцем толпы. На него сбегались, как на Шаяпина. Его пламенные слова волновали и радовали. Он, с еще неслыханной в России выразительностью, провозглашал те идеалы законности, права, свободы, уважения к человеческой личности, за которые еще недавно люди терпели гонения, шли в тюрьму, в ссылку. Не один Родичев был тогда глашатаем этих основных устоев здоровой государственной жизни. Но мало кто, быть может даже никто, из тогдашних ораторов не вкладывал в их защиту такого удивительного сочетания острой мысли и волнующей страстности, как это было дано Родичеву.

Я не случайно говорю — дано. У Федора Измаиловича был природенный дар слова, было то неуловимое нечто, которое нельзя выработать никакой школой, никакими усилиями. Оно в крови. Слова приходили к нему сами, как к поэту стихи. Иногда, стоя на кафедре, он вдруг останавливался. Несколько мгновений молча смотрел на слушателей, точно что-то

¹ Дочь Ф. И. Родичева, Александра Федоровна, с великой тщательностью и преданностью собрала и систематизировала богатейший материал о своем замечательном отце и его эпохе. Я приношу ей глубокую благодарность за то, что она разрешила мне воспользоваться ее работой. В короткой памятке я могла только отрывисто отметить дела и мысли этого блестящего русского политического деятеля. Он ждет своего биографа.

вбирая от них. Ждал что откуда-то необходимое слово прилетит к нему. И оно послушно откликалось на его зов. На глазах слушателей, — кто знает, быть может не без их тайного участия, — рождалась и чеканилась формула, которая потом облетала всю Россию.

Само собой разумеется что импровизация формы опиралась на заранее выношенные мысли. Родичев был человек очень образованный и начитанный. Знание отражалось во всех его речах, митинговых и думских. Он не только обличал, часто очень бурно, недостатки правительства, но и развивал созидательные правовые идеи, которым всю жизнь служил. Политические и общественные его воззрения сложились рано и цельно. Он не проходил через смену веков. Был он землец, общественник, патриот. Всякий произвол, всякое насилие вызывали в нем праведное негодование. По натуре своей он был человек мягкий, застенчивый, уступчивый. Но когда надо было драться, наносить удары, застенчивость с него слетала. Удары он наносил меткие. И при этом, что далеко не всегда соблюдается, сохранял уважение к противнику, стремился понять чужую точку зрения. Родичев не был равнодушен к той травле, которая велась против него справа и слева. Но ни осуждения, ни похвалы не могли поколебать его глубоко гуманитарных либеральных воззрений. Складывались они не только по книгам, но исходили из живого общения со старыми идеалистами 40-х годов и с более близкими ему по возрасту шестидесятиниками. Опыт его копился и в практической работе — в сотрудничестве с земцами, с освобожденцами, с думцами. Это одна цепь русской политической жизни, тянувшаяся от середины XIX века до октябрьской революции.

Родичев принадлежал к старинному тверскому дворянскому роду. Большую часть жизни он прожил в родовом имении Вятка, которое с 1575 г. принадлежало его предкам. У этого борца за свободу, за новые формы общежития, которого многие считали разрушителем, потрясателем основ, было в крови глубокое чувство оседлости, семьи, гнезда. Его противники не понимали, или не хотели понять, что он мечтал путем мирных реформ оградить Россию от революционных судорог, от катастрофы, хотел добиться свободы без разрушительных потрясений. Это слово — свобода — всегда звучало для него повелительным призывом. На него он откликнулся когда 22-хлетним юношей поехал добровольцем на Балканы, чтобы принять участие в борьбе сербов против

турок. Это было в 1876 г. Родичев уже успел окончить два факультета — сначала естественный, потом юридический. Сразу после экзаменов он поехал в армию. В своих позднейших заметках он писал: «Летом 1876 г. я поехал за Дунай, отыскивать свободу. Мне всё мерещился Лафайет или Костюшко... Я считал, что дело свободы славянской есть дело свободы русской». Так с этого пленительного и ядовитого, неуловимого и властного слова — «свобода» — началась его общественная деятельность. Свобода стала содержанием, красотой, пафосом всей его жизни. После короткого, быстро промелькнувшего добровольческого эпизода он поселился в деревне, в тихой, казалось бы сонной обстановке, где так легко помещичий уют толкал к обломовщине. Но случилось так, что благодаря Родичеву, глухой Весъегонский уезд Тверской губернии постепенно превратился в опытную станцию созидательного русского либерализма. В 1878 г. Родичев был выбран в Весъегонске мировым судьей и в том же году уездным предводителем дворянства и губернским гласным. Все эти выборные должности были связаны с определенными обязанностями, с обслуживанием населения. Родичев не только числился, но работал, вносил свой вклад, свой почин. Живя в деревне он, как судья и гласный, близко соприкасался с крестьянами. Но модным тогда сентиментальным народничеством он не заразился. Он подходил к нуждам населения с критической наблюдательностью, с трезвой практичностью, которую мало кто мог подозревать в этом красноречивом энтузиасте. Позже, вспоминая о своей судейской деятельности, Родичев писал: «Попал я в судьи с живой верой в особую крестьянскую правду, с надеждой видеть ее откровение... Никаких глубин народного духа, отдельных от духа других слоев народа, никакой отдельной, народной правды я не видел». Резкий противник сословных перегородок, он был противник сословного волостного суда, особенно с тех пор как их, в 80-х годах, отдали под надзор земских начальников. Он считал, что крестьяне, как и все жители, должны судиться у мировых судей или в суде присяжных. Работа в деревне изменила и его отношение к крестьянской общине. В своих записках он писал: «Центром тяжести в подъеме русского хозяйства был вопрос личной свободы, вопрос о воспитании свободного человека, об освобождении крестьян от гнета мирского, от гнета невежества. Вопрос о правах человека, о личных правах был основным вопросом русской жизни».

Первые десятилетия своей земской деятельностью Родичев посвятил воспитанию свободного человека, т. е. народному образованию. Приходилось начинать с азов. Когда он приступил к организации школьного дела, со времени раскрепощения крестьян прошло только 17 лет. Неграмотность тучей обволакивала Россию. В городах было очень мало школ. В деревнях их просто не было. В своих записках Родичев несколько раз возвращается к тому, как ему трудно было убеждать людей, что его планы создать в уезде школьную сеть совсем не пустые мечты. Но начинать ему пришлось на голом поле. В уезде у земства не было ни одного школьного здания. Немногие школы грамотности кое-как ютились в крестьянских избах. «А всё-таки, — пишет Родичев, — я всегда думал, и тогда это звучало как фантазия, что школа в сознании населения должна быть столь же непререкаемым и необходимым учреждением, как церковь».

Уездные, а потом губернские, тяжелодумы и старoverы долго считали его рассеянным книжником, который ничего не понимает в практической жизни. Но ценой упорной, многолетней работы он превратил свои мечты в реальность. В этом ему помог другой мечтатель и идеалист, кн. Димитрий Иванович Шаховской, который свою замечательную общественную деятельность начал под руководством Родичева, в качестве помощника предводителя дворянства. Родичев пишет в своих записках: «Через земское собрание мы провели должность заведующего хозяйственной частью училищ, с жалованьем 1200 р. в год. Шаховской находил, что это слишком много, и брал только 600 р. Его работа недолго продолжалась, но оставила в деле народного образования черту, с которой начинается новая эра. Ему мы в значительной степени обязаны постановкой нового идеала в деле народного образования — всеобщего обучения». Теперь всеобщее обучение стало привычной, будничной задачей, а в те времена это была дерзкая выдумка. Но нашлись энергичные, преданные России и русскому народу люди, которые воплотили ее в жизнь. Их примеру последовали сначала еще два уезда Тверской губернии, а потом и многие земства. Вначале, однако, приходилось бороться. В самом земстве идея всеобщего обучения встречала возражения со стороны противников, которые считали лишним учить мужиков, так как грамота усилит вредную тягу в город. Да и правительство не очень одобрительно относилось к школам, боялось, что учителя станут проповед-

никами крамолы. Губернатор накладывал запреты на ассигновки, неугодных ему лиц не утверждал, учителей высылал. В своих записках Родичев приводит примеры такого вмешательства со стороны администрации. Они объясняют, как и почему в самых разнообразных кругах в России нарастало раздражение против власти. Описывая просветительную работу Шаховского, Родичев говорит, что практическая земская работа их обоих переделала, перевоспитала. Раньше Шаховской был толстовец, непротивленец, отрицавший значение государства и политического строя. «Но воззрения его на государство, на значение принуждения, изменились настолько, что его можно даже было уговорить баллотироваться в мировые судьи, хотя раньше Шаховской суды отрицал».

Деловая близость к жизни развивала в Родичеве широкое и справедливое отношение к чужой работе, даже если она не во всем была ему созвучна. В 80-х годах в передовой интеллигенции, к которой он принадлежал, было большое раздражение против церковно-приходских школ. Им покровительствовал Победоносцев. Он надеялся, что под руководством духовенства эти школы будут ограждать молодежь от тлетворного влияния новых политических идей. Но при тогдашнем состоянии церкви эти школы оказались ниже и земских школ, и школ Министерства Народного Просвещения. Не было подготовленных учителей, программа и без того скупая, была еще сужена. Сами священники к педагогическому руководству были не подготовлены, относились к школьной работе формально. Но кроме всех этих основательных указаний на недостатки приходских школ, интеллигенция относилась недоброжелательно к самой идее поручать народное образование духовенству. Ведь влиятельное большинство интеллигенции были люди неверующие. Для них церковь была рассадником мракобесия. Родичев тоже был человеком неверующим. Его дочь рассказывает, что, когда он стал женихом, он сказал невесте, что в Бога не верит. Она ответила: «А я в Бога верую и от веры своей отказаться не могу». Они обещали друг другу уважать чужие убеждения.

Обещание это они сдержали и несмотря на такое, казалось бы, важное расхождение, прожили свою долгую супружескую жизнь на редкость дружно и счастливо. Уважение к чужим убеждениям Родичев проявлял не только в семье, но всегда и всюду, включая и его оценку приходских школ. В своих записках он пишет: «В те времена (в 80-х годах) возник

вопрос о церковно-приходских школах, возбужденный прекрасными, исполненными религиозной поэзией, статьями Рачинского об его школе. Частью вопрос возник по почину мракобесов, желавших не столько обучения в церковно-приходских школах, сколько изъятия земских школ из рук земских людей... Мы относились к этому вопросу очень просто... Пусть открывают новые школы, пусть открывают новые средства — доброе дело. Но да не будут церковно-приходские школы средством борьбы с земством. Поколение 60-х годов из среды духовенства дало много горячих и бескорыстных поборников народного образования. Эти люди принимали участие в земской работе в качестве членов Учительского Совета, преподавателей Закона Божьего, иногда просто учителей. Мне на память приходят трогательные образы этих людей, на которых осталась печать духа освобождения».

Родичеву не раз приходилось слышать язвительные, часто просто грубые упреки справа, что он краснобай, проще говоря — бездельник, гоняющийся за дешевой популярностью. В этих обвинениях слышались не столько голоса идейных противников сколько зависть бездарности к таланту. Родичева очень задевало всё резкое, враждебное, недоброжелательное. В нем была даже чрезмерная, для политика невыгодная чувствительность, хотя случалось что развязный противник вызывал в нем и взрыв негодования, для оратора полезный. В одном из заседаний 4-ой Думы (19 мая 1914 г.) в ответ на вызывающий вопрос крайне-правого депутата Замысловского: «Что у вас на деле?» — Родичев сказал: «Я могу ответить на этот вопрос: У меня на деле — целая жизнь, посвященная русскому народу, и специально в области образования народного у меня есть заслуги перед русским народом, которые выкинуть не в состоянии никто: первое постановление о введении всеобщего обучения в русском уездном земстве сделано по моему почину. Мы в Вельегонске провозгласили его в 1891 г. и осуществили в 1906 г.».

К этому времени Родичев уже был не скромный работник в одном из уездных земств, а парламентарий, имя которого было известно всей грамотной России, да и многим неграмотным крестьянам. Газет они не читали, но по-своему следили за тем, что творится в Таврическом Дворце. Начало широкой политической деятельности Родичева совпало с началом царствования императора Николая II. Молодой царь назначил на 17 января 1895 года прием делегатов от предста-

вителей всех сословий. По всей России шла подготовка всеподданнейших адресов. 8-го дек. 1894 г. собралось в Твери обычное губернское земское собрание. Родичев предложил свой проект адреса. В нем не было ничего революционного:

«В знаменательные дни служения Вашего русскому народу, земство тверской губернии приветствует Вас приветом верноподданных. Разделяя Вашу скорбь, Государь, мы надеемся что в народной любви, в силе надежды и веры народа, обращенной к Вам, Вы почерпнете успокоение в горе, столь неожиданно постигшем Вас и страну Вашу, и в них найдете твердую опору в том трудном подвиге, который возложен на Вас Провидением... Мы ждем, Государь, возможности и права для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам их касающимся, дабы до высоты престола могли достигать выражения потребностей и мыслей не только представителей администрации, но и народа русского. Мы верим, что в общении с представителями всех сословий, равно преданных Престолу и Отечеству, власть Вашего Величества найдет новый источник сил...»

Родичев заключил свое обращение к гласным словами: «Господа, в настоящую минуту наши надежды, наша вера в будущее, наши стремления — всё обращено к Николаю II. Николаю наше ура!»

Земцы единодушными рукоплесканиями поддержали его проект. Но даже скромное пожелание получить право подавать царю челобитные вызвало со стороны власти резкий и роковой отпор. Ни оратор, ни слушатели не подозревали, что это верноподданническое обращение к Государю положит начало конституционному Освободительному Движению, на смену которому, меньше чем четверть века спустя, ворвется революция. А Родичев, который был выбран делегатом, не только не будет допущен во дворец, но на 10 лет лишится права участвовать в земской работе. Ни Государь, ни его советники не поняли настоятельности, неотложности того общения царя с народом, к которому призывали его тверские земцы. Принимая депутацию царь сказал очень короткую речь:

«Я рад видеть здесь представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса

людей, увлекшихся бессмысленными мечтаниями об участии земств в делах управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял мой незабвенный покойный родитель».

Эти по форме странные в устах царя и необдуманные слова — «бессмысленные мечтания» — принесли России неисчислимый вред. Они дали толчок, заставили недовольных, а их уже было не мало, сплываться. Родичев, который, если бы даже его и допустили на прием, конечно, не мог бы возражать царю, выразил свое отношение к этой речи в выпущенной в Швейцарии анонимной брошюре «Первая царская речь». В ней Родичев говорит: «Мечтать об этом, пожалуй, правда бессмысленно. Кто же мечтает о том, что уже давно существует? Ведь земства уже 30 лет участвуют через своих представителей во внутреннем управлении» (1895 г.). В самой России П. Б. Струве, тогда еще марксист, тайно отпечатал несравненно более резкое и вызывающее письмо царю, где говорил о «ненавистном приказном строе», о «готовности бороться с ним всякими средствами». «Вы первый начали борьбу и борьба не заставит себя ждать».

В наказание за «бессмысленные мечтания», Родичев был лишен избирательных прав и почти на 10 лет оторван от земской деятельности. Это был со стороны правительства шаг вдвойне неразумный — население тверской губернии теряло выдающегося работника, и человека, привыкшего к открытой деятельности, загоняли в подполье, лишая возможности применять в жизни свои знания и дарования.

Насильственно оторванный от любимого дела, Родичев записался в адвокатуру. Всё, что касалось правосудия, было ему близко. Он по натуре был правозащитник. Самые блестящие его речи были те, где он обличал правительство в неуважении к закону. Но произносить их стало возможным только десять лет спустя после тверского адреса. Надо было еще пройти через Освободительное Движение. Оно началось в земской среде, связи Родичева с которой, несмотря на правительственный запрет, стали еще крепче. Он принимал близкое участие в общеземском объединении 90-х годов. Это был смотр идей и подготовка людей для предстоящей парламентской работы. Там собирались силы для той политической борьбы, которая привела к народному представительству, к Государственной Думе. Ей предшествовало быстрое нарастание и сплочение оппозиционных сил. Среди них сразу обра-

зовались два течения. Социалисты ставили себе задачей республику, а некоторые и социальную революцию, и хотели то и другое осуществить революционным путем. Либералы хотели конституционной монархии и социальных реформ и надеялись добиться этого более мирным путем. Но в критике правительства и бюрократии их голоса часто сливались.

Враждебность к правительству всё обострялась. Университеты волновались, рабочие бастовали, в деревнях происходили аграрные беспорядки. Даже в правящем классе, к которому принадлежало большинство земцев усиливалось сознание, что так дальше идти не может, что страна нуждается в коренных реформах, которые должны опираться на народное представительство. В России конституционные мысли можно было высказывать только обиняком, полу-словами. Но в Июне 1902 г. в Германии, в Штутгарте, вышел первый номер «Освобождения» — органа русских либералов. В нем говорилось: «Наш орган не будет революционным, но будет всем своим содержанием требовать великого переворота в русской замены произвола самодержавной бюрократии правами личности и общества». Родичев обдумывал вместе с другими земцами программу «Освобождения» и принял близкое сначала в издании журнала, а потом и в организации Освобождения. Он был одним из двадцати участников первого съезда Союза, который состоялся летом 1903 г. на берегу Констанцкого озера и сделался постоянным

Еще до появления заграничного «Освобождения», в 1899 г., в Петербурге стал выходить под редакцией И. В. Гесена, журнал «Право». Это был легальный предшественник запретного «Освобождения». В «Праве» приходилось писать, учитывая цензурные загородки, но читатели, в те годы очень жадные до политических, в особенности конституционных рассуждений, умели читать между строк и находить ответы на волновавшие их вопросы. Уже тогда подымался вопрос о национальностях, об их правах в будущей России. В те годы с особой остротой вставал вопрос польский. Родичев в нескольких статьях, напечатанных в «Праве», ясно высказал свое к нему отношение. Либерал и законник, он считал что закон должен быть одинаков для всех, без различия сословий, вероисповедания, национальности. Поэтому так горячо ратовал он за равноправие евреев, за то, чтобы с поляков были сняты тяготившие их ограничения. Его связывала личная

дружба с выдающимися поляками, — с^о Спасовичем, А. Р. Ледницким, Л. О. Петражицким. Как государственный, он понимал, что польская проблема, в которой русское общественное мнение плохо разбиралось, требует разумного разрешения.

Отношения между русскими и поляками всегда были довольно сложные, а часто и с обеих сторон несправедливые. У меня нет данных, чтобы рассказать как сложились взгляды Родичева на судьбу Польши. Но еще до Государственной Думы он высказал их публично и в законченной форме. В марте 1905 г. произошла показательная встреча между русскими и польскими общественными деятелями: Союз Адвокатов устроил съезд и пригласил на него своих польских коллег. Вот что рассказывает об этой встрече В. А. Маклаков в своих воспоминаниях, появившихся в «Современных Записках» (т. 53, 1933 г.):

«Они (поляки) заявили, что примут участие в съезде только если будут находиться с русскими на равных правах, т. е. если Россия и Польша представляют собою две равноправные единицы.

Хорошо обдуманый и подготовленный поляками вопрос застал нас совершенно врасплох. Мы об этом раньше не думали. В привезенной поляками резолюции была конкретно указана необходимость польской автономии. Мы к принятию серьезно такого решения готовы не были. Освободительное Движение не оценивало напряженность требований национальных меньшинств. Оно так же мало ждало ультимативного требования автономии, как в 1917 г., в период самоопределения народностей, оно не предвидело сепаратизма и других явлений этой эпохи. Прогрессивные деятели эпохи были уверены, что национальности не будут заявлять претензий к возрожденной России. Как позже, в 1917 г. им казалось тогда, что все будут спокойно ждать Учредительного Собрания... Ультиматум поляков тогда многих задел, их заявление было встречено холодно и мы были близки к разрыву... Положение спас Родичев. Он как председатель сказал одну из тех, полных идеализма речей, которыми на эти темы он заражал слушателей. Подъем мыслей и красота слов одних устыдили, других увлекли. Польские условия были приняты. Адвокатский съезд одобрил польскую автономию».

После речи Родичева на адвокатском съезде, И. В. Гессен попросил его написать для «Права» статью о Польше. В ней Родичев перечислил ограничения, выпавшие на долю Польши с тех пор как она из Царства Польского превратилась в

Привислянские губернии. Полякам было запрещено покупать земли в Юго-Западном и Северно-Западном крае. «Католичество не запрещено, но унию не терпят... Учиться на польском языке запрещено. В гимназии даже польскому языку учат по-русски. Язык управления тоже русский. Нет земского и городского самоуправления... Для кого и для чего было нужно сугубое малоправство западной окраины? Пусть Россия для русских. Но на что русским надо, чтобы жители польского края были лишены своей культуры, своих прав в настоящем и будущем? Чем пострадает Россия если российские поляки будут учиться по-польски, судиться по-польски, заведывать сами, без русских приказных, своими местными делами, учреждать больницы и школы, строить дороги и водопроводы?»

Свои слова Родичев скрепил резолюцией принятой на последнем Земском Съезде: «Права всех граждан Российской Империи должны быть равны. Подлинной России не нужно малоправие присоединенных племен. Ей нужен живой правовой союз с ними, связь свободно признаваемая обеими сторонами, единственная действительно крепкая». Эта резолюция, в составлении которой Родичев почти наверное принимал участие, была вынесена тогда, когда о независимой Польше думали только немногие. Статья Родичева кончалась такими словами: «Только в праве и свободе найдет Россия мир и силу. Да и старая Польша обретет себя и свое право только в свободной России». В последнем, незадолго до смерти писанном письме к А. Р. Ледницкому Родичев вспоминает, что за эту статью в «Праве» он получил два горячих приветствия: «От Вас из Москвы и от Спасовича из Варшавы. С тех пор я был неизменным участником русско-польских совещаний у Вас. В этом вопросе я никогда не сбивался, потому что здесь для меня была незыблемая основа: правá лица и национальностей».

Я забежала вперед, отчасти потому, что в польском вопросе цельность либеральных воззрений Родичева выступает особенно явственно. Но он не плыл по течению. Он был противник резких выступлений, а тем более революционных эксцессов, которые со всех сторон нарастали. Его дочь рассказывает, что, когда в марте 1901 г. он узнал, что на Казанской площади будет демонстрация протеста против нового порядка отбывания студентами воинской повинности, он сердился, требовал, чтобы ему объяснили кто и зачем ее устраивает? Он уговаривал дочь, которая тогда была студенткой, не идти на демонстрацию и уже конечно сам не пошел. Но

правительство почему-то считало его причастным к демонстрации и продержало его три недели под домашним арестом.

После Казанской демонстрации Освободительное Движение стало еще быстрее нарастать, расчищая дорогу народному представительству. Печать, как угорь, ускользала из лап цензуры и умудрялась воспевать права человека и гражданина. Журналисты находили всё новые слова, чтобы воспевать свободу, которая вот-вот станет достоянием всех и вся. Родичев хотел этой свободы не меньше других. Но от его статей, а поскольку можно судить по сохранившимся записям, и от речей не веяло разрушительной революционной яростью. Он дольше других надеялся, что можно будет уговорить верхи. В то, полное политического кипения, лето 1903 г., когда образовался Союз Освобождения, Родичев писал в журнале Струве:

«Если бы мы верили в личные силы Государя, мы были бы готовы умолять его, умолять Императрицу, всех близких, не утративших человеческого образа: Обратитесь к народу. Созовите Земский Собор! Спасите страну от потрясений и кровавых жертв. Но тщетны мольбы, бесполезны они против страшных законов судьбы... Земский Собор будет созван, это видит всякий, у кого ум и совесть не на содержании у казны, но он будет созван не по указанию государственного ума и человеческого сердца, а под давлением напора событий, под давлением ненависти, ежечасно сеемой самодержавием, под давлением нужды и необходимости, поздно».

Это было писано еще до ускорившей события Японской войны, до стрельбы 9-го января, которая во многих сердцах превратила враждебность к самодержавию в недоброе чувство к самодержцу. Родичев этими враждебными личными чувствами не заразился. Это было не в его характере. Полгода спустя после рокового воскресенья, он вместе с делегацией от Земских Съездов, представлялся царю. Это было после Цусимы. Земцы, взволнованные этой катастрофой, всем, что происходило в России, просили разрешения лично представить царю адрес, где высказывалась и их патриотическая тревога и их политические пожелания. Очень ярко описан этот прием в замечательных воспоминаниях о кн. С. Н. Трубецком, написанных его сестрой. Это была трагическая встреча царя, сознававшего свой долг служения России, свою ответственность перед русским народом, с лучшими представителями этого народа, которыми руководило не менее цельное сознание своего долга перед отечеством. Казалось, еще немного и откроется путь к взаим-

ному пониманию, в котором Россия так нуждалась. Но Провидение решило иначе...

В числе четырнадцати делегатов, представивших царю исторический адрес, был и Родичев. Ему только-что, по ходатайству министра внутренних дел кн. Святополк-Мирского вернули избирательные права, которых он лишился за «бессмысленные мечтания» о народном представительстве. Когда государь, обходя делегатов, поздоровался с ним, Родичев поблагодарил царя за восстановление его в правах. После смерти Родичева, в письме к его дочери, вспомнил об этом Н. Н. Львов, многолетний друг покойного, его товарищ по Государственной Думе и по кадетской партии. «Этот рыцарский поступок — писал он — резко отличает Вашего отца от нигилистического типа людей 60-х годов. Он скорее напоминает рыцарские нравы 40-х годов». Но далеко не все так думали. За эти, казалось бы, естественные слова благодарности Родичева корили и слева и справа. Одни заподозривали его в неискренности, другие чуть ли не в заискивании.

Родичев был определенный и последовательный противник неограниченного самодержавия, но он никогда не был республиканцем. Он считал, что для России самый подходящий строй это конституционная монархия. По тогдашним временам это был не очень популярный лозунг. Но Родичев, которого политические соперники охотно обвиняли в демагогии, на самом деле не опускался до толпы, не прилаживался к ней, а старался внушить ей те основные идеи права, порядка, общественной морали, которыми он сам руководился. Он был одним из тех воспитателей либерального общественного мнения, которые создали кадетскую партию. Без Родичева я не могу себе представить нашу партию. Политическая работа требует преданности, в нее надо вкладывать труд, время, внимание, ум, у кого он есть, и много, много терпения. Всё это Родичев отдавал партии. И при этом сохранял независимость мысли, спорил даже с ближайшими соратниками, что не всегда приятно. Ведь при всей кадетской дисциплине, в нашей среде в некоторых вопросах были большие расхождения. Одним из спорных вопросов был вопрос о форме правления. Среди кадетов были и республиканцы. Но Родичев всегда оставался конституционным монархистом.

С первого же своего появления на думской трибуне Родичев занял своеобразное положение. Он всецело поддерживал кадетское требование ответственного министерства, но

аргументировал его не выпадами против монархии, а тем, что ответственное министерство необходимо для защиты личности монарха. Он утверждал, что «только министерство, ответственное перед Думой, по-настоящему ответственно и перед монархом», и возражал против той точки зрения, которая «на голову Государя возлагает ответственность за всякое незаконное действие» властей. В одном из первых заседаний Первой Думы бурные требования амнистии вызвали горячую отповедь со стороны орловского депутата М. А. Стаховича. Он справедливо указал, что одновременно с требованием амнистии, Дума обязана вынести осуждение террору. Речь была искренняя, сильная, блестящая. Но все его моральные и правовые доводы не могли протрезвить оппозицию, которая в своем наступлении на правительство была мало доступна доводам справедливости. Этого экзамена и Родичев не выдержал. М. А. Стаховича за его «благородное слово о любви» он поблагодарил, но его призыв осудить террор не поддержал, ссылаясь на упадок правосудия, на то, что приговоры правительственных судов тоже похожи на самочинные расправы, что исключительные и военные суды лишают подсудимых основных гарантий правильного суда.

Есть странное и тяжкое противоречие в том, что Родичев отказывался вынести политическое осуждение террору и в то же время, как и от всякого насилия, испытывал глубокое от него отталкивание. А. Ф. Родичева рассказывает, что к ее отцу пришла дочь их тверского земского начальника, М. Н. Полтава. Она просила Родичева заступиться перед Столыпным за ее мужа, который сидел в тюрьме. И муж и жена были эсэры, террористы. Она показала Родичеву свое прошение, просила его исправить. «Читая его, папа спросил, как она относится к товарищам своего мужа по партии. Все ли так же невинны, как ее муж? Она рассказала историю. Была у нас группа и в нее попался один нехороший человек. Мы его и убрали. Папа внимательно посмотрел на нее и сказал: Я не понимаю что это значит, убрали. Она замаялась. Это значит сделали так, чтобы его больше не было. Отец переменялся в лице, страшно побледнел. Потом сказал: то есть вы хотите сказать, что вы его убили? Воцарилось молчание. Полтава молчала. Папа встал, молча положил на стол прошение и вышел. Я тоже молчала, не зная, что подумать. Проводив ее, я вернулась к отцу. Он спросил: скажи, пожалуйста, помогала ты ей писать прошение Столыпину? — Не помогала, потому

что оно уже было написано, но читала. Папа разгорячился: как ты не понимаешь, что эти господа готовили покушение на Столыпина и она пишет ему прошение о помиловании? И как ты не понимаешь, что они убили человека, которого заподозрили, что он доносчик, хотя это не доказано? Она подает прошение Столыпину, просит у него помилования, а сами они хотят убить Столыпина и ты ей покровительствуешь? Папа меня отчитал так, как будто говорил громовую речь в Думе».

Думские речи Родичева так богато, так полно отражают его гуманитарное государственное сознание, всё, чем тогда жил не только он, но вся Россия, пережившая первое упоение возможностью не только говорить о политике, но и в той или иной степени в ней участвовать, что об его парламентских выступлениях и откликах на них можно было бы написать целую книгу. С самого начала Думы и за все одиннадцать лет ее существования он был одним из самых видных и популярных ее членов. Он был депутатом всех четырех Дум. Выбирался то по Петербургу, то по Тверской губернии. Выступал по разным вопросам и общим и сравнительно мелким. Вся читающая Россия ловила его слова, вникала в его мысли, одни сочувственно, другие с возмущением. Родичева нельзя было не знать, нельзя было не иметь к нему определенного отношения. Он толкал мысль, воспитывал общественные эмоции, которые составляют основу всякой политики. В кадетской партии было много хороших ораторов, но никто, по крайней мере в Петербурге, не пользовался таким успехом, как Родичев. Его появление на митинге обеспечивало полный зал. Неутомимый защитник недавно завоеванных прав человека и гражданина, он учил как их понимать и осуществлять — и делал это с художественным блеском, более убедительным чем многие доводы. Острые словечки, брошенные им на митинге или в Таврическом Дворце, чаще всего в ответ на резкие нападки противников, подхватывались и запоминались. Особенно шумно облетело всю Россию его выражение «Столыпинский галстук». Оно было произнесено в Третьей Думе, в заседании 16 ноября 1907 года. Об этом эпизоде я здесь рассказывать не буду, так как о нем на страницах «Нового Журнала» недавно писала А. Ф. Родичева². Выступление Родичева вызвало бурные протесты справа, и постановлением большин-

² См. кн. 38, а также письмо А. Ф. Родичевой в этой книге. *Ред.*

ства он был исключен на пятнадцать заседаний. Это парламентское столкновение было в политической жизни Родичева далеко не единственным темным днем. Сама Государственная Дума вышла не такой, какой она грезилась, когда Родичев и многие другие конституционалисты пробивали дорогу народному представительству. Права ее были более ограничены, чем мечтали освобожденцы. Власть с ней меньше считалась, чем им грезилось. Тяготили и недочеты и промахи оппозиции. Но Родичев был реальный политик. Он твердо знал, что конституция, даже «куцая», как тогда насмешливо говорили, принесла России огромную пользу, открыла перед народом широкие материальные и духовные возможности, что дорогие ему начала свободы и права личности постепенно входят в жизнь. Не мог он не сознавать, что в осуществлении этих спасительных государственных реформ есть и его вклад.

Но грянула война 1914 г. Вся жизнь перестроилась на военный лад. Кадетская партия, с которой Родичев был неразрывно связан, где он был одним из духовных руководителей, заключила наконец с правительством если не мир, то перемирие. Не могу вспомнить, присутствовал ли Родичев в том первом собранном сразу после объявления войны, заседании Ц. К., где была вынесена резолюция о готовности сотрудничать с правительством в его борьбе против вторгшегося в Россию врага. Но помню с какой горькой усмешкой, которая появлялась у него в те редкие минуты, когда он высказывал пессимистические суждения, Родичев сказал: «Россия будет разбита. Мы к войне с немцами не готовы. Но к вашей резолюции я, конечно, присоединяюсь». Мы, в том числе и я, на него набросились. Мы горели верой в победу, желанием вложить в нее все силы. К великому несчастью не только России, но всего мира, Родичев оказался прав.

Другой раз свою политическую зоркость он проявил в потрясающие февральские дни. Это было в субботу 25 февраля 1917 г. Уже два дня улицы Петрограда были залиты толпой. Она ничего не предпринимала, никаких требований не провозглашала, никаких плакатов не носила. Ее никто не разгонял. Мы с мужем завтракали в ресторане Таврического Дворца, вместе с Шингаревым, Степановым, Милюковым, Родичевым и ломали себе голову, что это — революция или только преходящие уличные беспорядки, с которыми еще можно справиться? Родичев молчал. Этот мастер слова не был болтлив. Он умел слушать и прислушиваться к чужим мыслям.

К нашему столу всё время подбегали вестники, приносили сбивчивые городские новости. Родичев внимательно слушал и наконец тихо сказал: — «Если это революция, царю не сносить головы...»

В быстро промчавшиеся месяцы существования Временного Правительства Родичев, как и большинство кадетских деятелей, пытался словесными заговорами обуздать разбушевавшуюся стихию. Но всякие призывы к успокоению, к порядку, к терпеливому ожиданию того, что решит Учредительное Собрание, заглушались действительно бессмысленными обещаниями и посулами, которые сыпались слева на ошалевшую от революционной анархии толпу. В такие времена подстрекатели не могут не иметь больше власти чем умеренные увещатели. Не прошло и года, как большевики оказались хозяевами положения. Спасаясь от них, Родичеву с женой и дочерью, пришлось блуждать сначала по России, потом по Европе.

Петроград семья Родичевых оставила в сентябре 1918 г. Затем пошло: Киев, Одесса, Ялта, Гаспра (Крым), Новороссийск, Екатеринодар, Афины, Сербия, Париж, Лозанна, Лондон. В течение одного 1921 г. Родичев три раза был в Париже и три раза в Лозанне. Это всё были не деловые поездки с определенными задачами, а томительное метанье в поисках, где же, наконец, найти более постоянный приют, а может быть и применение тем силам, которые в нем еще были. В конце концов последним пристанищем оказалась Лозанна, где изгнанников дружески приняла семья Герцена. Это скрасило их жизнь. Но чужбина всегда чужбина. Последние четырнадцать лет тяжело легли на душу этого талантливой и благородного русского политического деятеля.

Ариадна Търкова-Вильямс

ТРАГЕДИЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО

I

В своих статьях в «Новом Журнале» Н. Ульянов с большим волнением пишет о потухании русской литературы и культуры в эмиграции. Собственно большого расцвета литературы в эмиграции и не было. Наиболее вдумчивые наблюдатели говорили о *сохранении* старых ценностей, понимая, что развития без почвы не может быть. Другими словами, речь шла о сохранении *наследства*, завещанного нам умирающей старой русской культурой. Однако, Россия, советская ли или какая-либо иная, и эмиграция — сосуды сообщающиеся. Нет и не было между ними полного разрыва несмотря на железные занавесы с той стороны и непримиримость — с этой. Будущий историк заметит сразу некоторое единство процессов у «мозга нации», у ее интеллигенции. Если массы наслаждались революцией в качестве Иванов непомнящих и страдали от нее в качестве сырого материала, употребляемого историей для своих перестроек, то интеллигенция не переставала размышлять о том, что означает весь этот процесс для ее идейного багажа и что предстоит ей в будущем. Если массы «бодро шагали вперед», как говорил Максим Горький, то у интеллигенции замечалась своего рода растерянность, неуверенность, как надо поступить, чтобы окончательно не потерять дорогу в кровавом тумане событий. А потерять дорогу было чрезвычайно легко: в одиночку путей вообще нельзя было найти, а всякие объединения — в их новых сочетаниях — налаживались с необычайным трудом. Даже сами большевики в первое время не знали «как всё это будет». Расчетливо планировать они начали значительно позже. Первые годы они действовали от случая к случаю. Всё внимание их было обращено на выигрыш в гражданской войне. Этой цели приносилось в жертву всё: людские жизни, средства, зажим мирного населения, даже стройность и идейность пропаганды. Меньше всего обращалось внимание на фронты писательский и культурный. И хотя все небольшевистские газеты были закрыты уже в июле

1918 г., но всё же оставалась некоторая свобода. Однако, именно на этих фронтах появились люди, быстро научившиеся цензурному прижиму. Они довольно быстро прибирали к рукам старых деятелей литературы, музеев, библиотек, театров, возглавляли разные наскоро сколоченные учреждения и мнили себя полновластными диктаторами. То и дело слышалось: «будете служить под руководством советской власти». Впоследствии эта советская власть, уже действуя более планомерно, вышвыривала этих «прыщей», как их тогда называли, и ставила других. Смены происходили постоянно. Старшие писатели отлично понимали, что для них — всё кончено: писать, т. е. «мыслить» под руководством советской власти они «не могут и не будут». Надо ждать или «здоровой эволюции», или переворота. Но более молодые страдали, искали путей, и — главное — «приближались».

Так всё безалаберно шло до нэпа. Во время нэпа, как будто пахнуло свободой и для писателей. Но общий дух оставался, разумеется, неизменным. И вот в это-то полусвободное время писательница Мариэтта Шагинян не только ухитрилась напечатать свою замечательную книгу «Писатель болен», но и издать ее в государственном издательстве.

«На докторов принято тратиться как можно меньше, — писала она. — Каждый человек стоит у нас перед соблазном дешевого лечения. Таким дешевым лечением для русского писателя, несомненно занемогшего, мерещится «свобода печати». Я не верю в дешевое лечение, и вообще не верю ни в какое лечение, пока не названа и не изучена болезнь. Поэтому я хочу самым честным образом, как если бы речь шла о моей собственной жизни и смерти (а она идет о моей жизни и смерти) докопаться здесь до причин нашей болезни и подумать чем ее лечить, если только ее можно лечить.

Итак, что же со мной происходит? Я лежу колечком, как скорпион, носом к носу со своим собственным концом, видя и щупая окончание того идейного цикла, который меня питал и которому я служил. Я был последователем большой культурной полосы, которая дошла до своей кульминации и могла позволить себе предмет роскоши: *рафинированную интеллигенцию*. Мы наслаждались цветением большой эпохи, земля для которой была давно вспахана, унавожена, взлелеяна. Мы баловались духовным интернационализмом... Мы были также в оппозиции к «буржуа», и когда мечтали о революции, то лишь в надежде на разрушение мешанства, исконного нашего врага... В разгар переворота мы оказались «средних лет», как раз, когда человек призван творить, — в самую горячую рабочую пору. *Революция смела многих наших врагов, но вместе*

с ними смела и нас. Она привела в движение лежащие под спудом пласты, огромные запасы человеческого материала, вооружила их и сделала историческим активом. Эти новые социальные пласты, начавшие жить у нас на глазах, не могут понять в нашей «рафинированности» ровно ничего, кроме того, что она им ни на чорта не нужна. Тонкость потеряла смысл. Игра в кружево, упоение спекуляцией, проблемы декаданса, во все эпохи всегда схожие, — потеряли всякий соблазн. Новый читатель требует прежде всего силы. Тонкость не доходит до него, как шлепок по воде, он от нее даже не чешется. Проблемы конца исторического цикла, упадочничества не могут и не должны ничего говорить тем, кто *начинает* новую историческую эру. «Последние» столкнулись с «первыми». Последних — горсть, первых — миллионы, — вот в чем главная причина нашей болезни. Многие из нас, не поняв, что они *потеряли читателя*, вообразили, что они потеряли свободу. В этом пагубном своем заблуждении они переменили «ориентацию», т. е. опираются сейчас на исконных своих врагов (снова воскресших!) и видят в них настоящего читателя: они опираются *на мещанство*.

Но что же заменило в литературе эту «тонкость», это уменьше «рафинированной интеллигенции» отвечать запросам читателя уходящей эпохи? Бесстрашно отвечает Мариэтта Шагинян и на этот вопрос:

«Революция, прежде всего сдвинула вещи. Потом перемешала их. Потом наплодила множество новых. Отсюда невообразимая новизна материала не только «поштучного» но и «оптового»: изменились вещи, изменились и взаимоотношения их... Произошел парадокс: ближе к революции оказались как раз те писатели старой школы, кто был до революции консервативным элементом в искусстве: бытописатели, натуралисты. Те же, кто шел в авангарде, кто уже не бытописал, а *ставил проблемы*, остались беспомощными перед новым материалом. Когда большой культурный писатель поднимает брови, удивляясь на детское лопотание молодой литературы и про себя думает: «что они носятся с такой трухой — у нас гимназисты писали лучше», — он неправ. Гимназисты прошедшей эпохи писали бы лучше, но они писали бы *ни для кого не нужное*. Эти же идут на *приступ нового материала*. Поэтому любое сегодняшнее лопотание неизменно труднее самого главного и безупречного формования в прошлом, где мы работали на готовом.

Спрашивается есть ли у нас цель и если она есть, то какая? Мы можем сказать, что мы — писатели, наша цель — «великая русская литература», и мы революцию не делали, ее не пригласи-

шали, она пришла, не спросившись, опоясала нам чресла и повлекла за собой, куда идти не хотим. Но это будет фальсификация, а не ответ. Великая русская литература, какую мы знаем, всегда имела цели, вполне конкретные, боролась за реальные вещи, частью звала революцию, частью шла против нее, выдвигала нравственные системы, учила, действовала, проповедывала. Если мы хотим ей служить, мы должны быть как она. Это не значит, что мы должны нести на палке вчерашние лозунги и распинаться за общие фразы. Это значит, что мы должны найти *действенные* слова. Цензура не помешает. Не было ни одного действенного слова, которое не было бы услышано, хотя бы его посадили на цепь. *Этих действенных слов нет у нас. Нет их и в эмиграции*, где можно говорить хоть с пеной у рта без всякой цензуры. Почему же нет у нас этих действенных слов? Потому что у нас *нет цели*. Вторая причина нашей болезни — это отсутствие *всякой проекции будущего*. Что мы делали, чтобы справиться с этим злом? *Ничего*. Вокруг нас жизнь поставила новую породу людей, пробивающуюся на свет — давно уже, годами подпольной работы. Эти новые люди совершили социальный переворот и продолжают орудовать с огромным напряжением над нашим хозяйством и над пересозданием экономических отношений во всем мире. Жизнь проверила их работу и поддакнула им. Они — победители. Как бы мы ни относились к ним, мы не можем с ними не считаться. Как же мы ведем себя? Мы ведем себя *Робинзонами на необитаемом острове*.

И Мариэтта Шагинян заканчивает свою исповедь обращением к «победителям»:

«Дайте же нам, *понявшим вот всё это*, хотя бы *видимость* свободы, возможность выбора... И мы попробуем приспособиться, войти в жизнь.

Какой в конце концов вывод из всего того, что я здесь отметил? Вот какой: чтобы искусство служило будущему, надо оставить его на путях его, *дать ему возможность «видеть пророческие сны» и не стоять над ним день и ночь со свечой в руках*» (Курсив мой. Е. К.).

Читатель извинит нас за эту длинную выписку из книги Шагинян. Она напечатана в 1927 г., но она ставит вопросы почти так, как ставили их все интеллигенты и внутри России, и в эмиграции. Ответы на них получались разные. Под конец нескольких десятилетий в эмиграции стали отвечать просто и ругать тех, кто в «чем-то копается». Всё это копанье — в эпохах — вранье. Цель у нас есть с начала октября 1917 г. Эта цель — *свержение советской власти*. Будут свергнуты эти «победители», и тогда всё само собой образуется. К 50-м го-

дам уже многие и многие с такой простотой решения кардинальных вопросов согласиться не могли. И на этом многообразном несогласии в сущности и до сих пор покоятся все схождения и расхождения. В эмиграции почти не осталось людей, которые ставили бы или старались ставить вопросы будущего. Такой *идейной* цели, да еще во время перестройки всего мира, — здесь не замечается. Как обстоит в этом отношении дело внутри России, мы *точно* не знаем. У правящих коммунистов эти цели, меняющиеся в зависимости от обстоятельств, несомненно есть.

II

Мариэтта Шагинян совершенно правильно изложила положение, создавшееся после Октября. Для писателей, оставшихся с революцией, желавших понять ее и приспособиться к ней, наступил час испытания. Писателей в России вообще было мало — об этом сожалел еще А. П. Чехов: «Нам нужно, говорил он Максиму Горькому, больше писателей. Литература в нашем быту всё еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые 226 чел. населения один писатель, а у нас — один на миллионы». Поймут ли власть имущие? Просьба Мариэтты Шагинян была скромна. Никакие Учредительные Собрания, ни демократии, ни даже полная «свобода печати», — это не лечение.

— Дайте только писателю свободно сделать выбор и не стойте над его творчеством со свечкой и днем и ночью...

Сама Шагинян упорно хотела работать. Эпоху не романсировать, как это делает Эренбург и другие, а *понять*. И она ездила по заводам, областям, всюду, где началась работа. Слушала «лязг металла, видала дым черный, вырывавшийся из труб фабричных зданий», но... в психологию людскую так и не проникла. Именно поэтому не вышло у нее повестей — веселых или скорбных из жизни людской. Вышли — очерки, модный жанр Сов. России. А недавно случилась и совсем плохая история. Три года — со всей присущей ей добросовестностью собирала она материал в местах, где жил Ленин: надо же написать биографию, достойную вождя. Книга, однако, осталась пока не напечатанной: вероятно, не с одной свечкой, а с множеством свечей рассматривали ее содержание. Но пока — не пропустили... А вот в наши дни сама Мариэтта Шагинян подпала под подозрение. Ее, писателей М. Лифшица и М. Щеглова обвинили в том, что «дух *холодного скептицизма по от-*

ношению к советской литературе понижает их статьи». («Литерат. Газета» от 1 июля).

Все, вероятно, помнят, с каким огромным интересом были устремлены взоры на прославленного, многими любимого писателя, Максима Горького. Ведь схема Шагинян к нему *не относится*. Никогда Максим Горький не был писателем рафинированным. Никогда не любил тонкостей, особенно тонкостей либеральных гостиных. Сражался с мещанством, наделял качествами «силы» и великой справедливости босяков, пролетариев и всех людей, судьбой обиженных. И напрасно Б. К. Зайцев так характеризует это его творчество: «Буревестник», — пишет он — трудно представить себе что-нибудь более пошлое и бесвкусное... «Роковое произведение — воплощение дешевого романтизма революции». Но разве можно «романтику революции» рассматривать с точки зрения тонкости искусства? «Тонкостей» весьма мало и в «Марсельезе», — бунт, призывы к битвам, — «пусть сильнее грянет буря» и т. д. Эти произведения лучше всего рассматривать с точки зрения эмоций, тогда охвативших миллионы. В мирное время от таких произведений может стошнить... Но тогда... Вот шлет упреки Горькому за его «измену» настоящей, не большевистской революции, одна из увлеченных его «Буревестником»:

«Я не могу поверить, не могу допустить, чтобы Горький за глоток вина, за право ездить на автомобиле, изменил не кому либо а *самому себе*, тому, кому верила, *кого как никогда другого, любила* Россия. Давно ли это было, и было ли вообще, когда известный артист с эстрады бросал в переполненный зал остро отточенные как металл звонкие строфы «Буревестника»? Затаив дыхание толпа, старшие и молодые, слушали музыку будущего, чувствовали на побледневших лицах дуновение великой грозы. Точно черным крылом коснулась нас вещая птица. Это было *тогда*, а *теперь* налицо купля-продажа изъятых ценностей! И этому теперь сознание отказывается верить...»¹.

«Романтик революции» *тогда*, как никто, заставлял себя слушать, «затаив дыхание». «Дешевые и пошлые слова», говорят теперь, но их слушали миллионы. И как слушали! Во все не боясь отдать жизнь за них. И отдавали. Нельзя поэтому, хотя бы во имя реалистического анализа, — отрывать такие произведения от эпохи. Ведь в сущности *все* произведения Горького навеяны предреволюционной эпохой. Брызги «роман-

¹ А. «За свободу» № 71, 14 марта 1924 г.

тизма революции» попадали тогда и в произведения Бунина (даже Бунина!), Леонида Андреева, Скитальца и других писателей, поднятых Горьким в своих сборниках «Знания». Ну, а теперь и сам романтик революции под конец жизни оказался не у дел, переживал трагедию. Какую? Ведь по схеме Шагинян октябрьская революция была скроена историей *как раз по мерке романтизма Горького*. «Люди силы», миллионы, босяки и пролетарии, коренное переустройство мира, борьба с мешанством в грандиозном масштабе, вплоть до желания «молотом раздавить» это мешанство — как раз всё, всё по Горькому. А вот недавно исполнилось 18 лет со дня его смерти. Умер он 18 июня 1936 г. Умер тяжкой смертью, почти арестованный в своих покоях. И что же? Пересмотрите газеты. Память его чувствуется сухо, формально. Без пафоса. Может быть теперь этим людям, укрепившимся у власти на романтизме масс, тоже кажутся пресными, дешевыми и пошлыми призывы «Буревестника»? Как и Б. К. Зайцеву?

Отвечая на взволнованную исповедь Мариэтты Шагинян один из тогдашних «прыщей», ухватившихся за власть, Леопольд Авербах, писал:

«Тонкость потеряла смысл... Новый читатель прежде всего требует силы. Тонкость не доходит до него, как шлепок по воде», пишет Шагинян. Как и во всей статье Шагинян верные мысли незаметно переплетаются с неверными. Шагинян ставит пролетариат в положение *голового человека на голой земле*... Закат буржуазной культуры целиком украшен упадочничеством, но упадочничество не составляет единственного содержания эпохи распада прошлого. *Полного разрыва культурной преемственности не происходит*. Налицо развитие совокупности человеческого опыта, в виде ли науки, искусства и т. д. Но — без разрешения и преодоления проблем конца исторического цикла пролетариат не может двигаться вперед. Без этого не наступит время, *когда его сила создаст тонкость*, ибо мы вовсе не против тонкости вообще. Тонкость наша не будет хрупкостью, только и всего!... Нам хотелось с должной откровенностью указать, что переход Шагинян к новому может быть *для этого нового не плюсом, а минусом*. Отпечаток прошлого может быть гораздо глубже и значительнее, чем это представляется Шагинян. *Не всякого человека можно переделать*. И редко можно перестроить сложившегося человека против его воли» (Курсив мой Е. К.).

В те времена такие речи слышались всюду. И тогда это не была мертвая хватка советской полицейщины. Тогда все эти люди еще фанатически и идейно верили в то, что можно всё заново переделать и — это главное, — что это право

переделки им дано историей. Они за эту задачу сразу же и взялись. Начали «переделывать» даже старых академиков и ученых, писателей, простых крестьян, на которых отпечаток прежнего лежит, быть может, больше чем на ком-либо другом: земля родная была колыбелью их прошлого, а землю от крестьянина отрывать труднее, чем, напр., старые идеи от Эренбурга и ему подобных... Но Горький! Разве и на нем лежал этот отпечаток прошлого?

III

Так хотелось бы вспомнить это прошлое. Горькому было 49 лет, когда пришла революция. Человек вполне сложившийся, — вряд ли можно было брать на себя смелость переделать его. Теоретически, по своим песнопениям, и не только по «Буревестнику», октябрьскую революцию он должен был принять *полностью*. Однако, *полностью он ее не принял*. Это можно доказать многими фактами. В чем же дело? В том ли, что сильны были в нем пережитки эпохи прошлого или же сама революция дала такие скачки, такие пируэты, которые никак не гармонируют с романтизмом Горького? Задача, решение которой должно быть дано его биографами.

Первый раз я познакомилась с Горьким в 1893 г. При обстоятельствах изумительных для преддверия русских революций. Пережив «реакционные» 80-е годы, мы как-то сразу окунулись в начавшееся общественное движение. Началом его был ужасающий голод 1891-3 гг. Все мы — молодежь — бросились помогать «взрослым»: Льву Толстому, Владимиру Короленко, Н. Ф. Анненскому, эс-эру Марку Натансону и многим другим. Устраивали столовые в районах голода, собирали деньги и вещи, были сестрами милосердия при ликвидации в волжских городах холеры и т. д. Деятельность началась просто кипучая. Во время этого «кипения» попадали в овраги, вроде участия в бунтах босяков (саратовские бунты были описаны В. Вересаевым и В. Черновым), за что нас ругательски-ругал такой бесспорный революционер, как Марк Натансон. Отругав, велел «сидеть дома», пока не придет «директива». Посидеть дома не удалось. Явилась полиция, переарестовала многих глупых бунтовщиков и — выслала из Саратова. Я попала в Пензу, но пензенская полиция тоже бунтарку не захотела иметь в недрах столь дворянского города и снова выслала меня. На этот раз в Нижний-Новгород, «город купцов и мещан, а также и всероссийской ярмарки», как называл его, шутя, Горький. Тут я попала в такую атмосферу, о которой странно

вспомнить. Город «купцов и мещан» оказался переполненным настоящими и будущими революционерами! Почему самодержавие сочло возможным создать такой очаг, — и где? Вблизи огромного металлургического завода, Сормово, теперь — «Красное Сормово». Кого-кого только не было в этом скоплении ссыльных! Один раз мы сосчитали тех, кто посещал наш дискуссионный клуб, тотчас же созданный: 160 человек! Состав был пестрый. Тогда марксизм только еще пробивался. Там были старые народовольцы, народники, беспартийные радикалы и т. д. В Нижнем тогда проживали и такие видные общественные деятели, как В. Г. Короленко, Н. Ф. Анненский, д-р Елпатьевский, плеяда статистиков при земской управе, «беспокойный третий элемент». Помещение в городе трудно было найти. Поэтому ссыльные устраивали коллективные общежития. И полиция этому не препятствовала! Я попала в одно из таких общежитий на Вознесенской улице, недалеко от знаменитого (по красоте) нижегородского «вала» или «откоса» — при впадении Оки в Волгу, — где чудесно пели архиерейские соловьи, но где столь же чудесно происходили по ночам наши «дискуссионные собрания». Происходили они и в нашем общежитии. Решали — страстно! — судьбы России. Однажды на валу ко мне подошел высокий человек и с такой милой, застенчивой улыбкой, с говором на «о» и не представляясь, сказал:

— Послушайте... Я слышал у вас собрания... Можно мне прийти?

— Простите, а кто же вы такой?

— Не всё ли вам равно? Ну, Пешков я. Что из этого?

— Конечно, ничего, — засмеялась я. — Но хорошо всё-таки, что вы себя назвали: я о вас уже много слышала.

С тех пор будущий Горький стал часто бывать на наших собраниях, а потом и лично у меня. Помню хорошо, что на этих собраниях он никогда не выступал. Садился в угол и слушал внимательно, а потом — при встречах — давал свои комментарии, всегда остроумные и неожиданные. «Мещанишек» он ненавидел какой-то звериной ненавистью. Из-за этого у нас часто происходили стычки: ну, куда же их деть, — множество их! Но уже подлинное торжество выражало его лицо, когда в «мещанстве» уличался кто-либо из активных участников наших собраний.

В те годы в Нижнем Новгороде интеллигенция Горького просто обожала. За что? Прежде всего за огромную любознательность. Уже тогда ему нужно было «всё знать», всё наблю-

дать, записывать и о чем-то далеком, но прекрасном мечтать. О наших собраниях он отзывался так:

— Ну, и скучища же, доложу я вам, у вас... Пролетариат, lumpen-пролетариат, крестьянство... А... человек-то где? Человека у вас нет, — всё набор слов... Кто кого перешеголяет...

В Нижнем Новгороде он бедствовал. Все мы, ссыльные, служили в земской статистике у Н. Ф. Анненского. Получали — как счетчики — 20 коп. в час. Предлагаю Горькому поступить туда, — всё-таки заработок.

— Я? Считать? Да я на своих руках пальцев не сосчитаю. А затем я вам скажу, пока вы считаете коров и поросят, они и подохнут от бескормицы... Факт!

Вал, откос он любил какой-то страстной любовью; мог сидеть всю ночь. Там, на валу, познакомился он и с В. Г. Короленко, который оказал на его писательскую работу большое влияние. А на нас сердился:

— Да бросьте вы Маркса сосать! Слушайте соловьев. Много больше душе говорят... А вон и «лumpены» ваши на барках...

Да, мы все его любили. В мою комнату приносил он «Макара Чудру». Я поражалась его безграмотной орфографией и правила рукопись.

— Ох, уже эти ваши яти и еры... К чему они? Только фабулу засоряют. Читаете и смóтрите — ять или е. А о содержании ни пол-слова...

Хорошо мы жили тогда в этой странной ссылке. А теперь, издалека, смотришь на это русское прошлое и не можешь объяснить: зачем самодержавию понадобились эти скопления? Они были ведь не только в Нижнем Новгороде. Люди, еще невинные в политике, входя в эти кружки, формировались, становились революционерами и к чему-то «примыкали». Максим Горький часто говорил потом: «Я ненавижу политику, я люблю быт и живую жизнь»... Но сам он вечно пребывал в этом политическом окружении и в значительной мере брал из него свои сюжеты.

IV

Потом пришла его слава. Югронная, международная. Сам он жил и в надполье и в подполье. В надполье он сплавивал «прогрессивных писателей», доставал деньги на такие предприятия, как сборники «Знание», участвовал в общественном движении всё в том же своем звании «буревестника», гордого сокола, ненавидящего ужей. В подполье — помогал подполь-

ной литературе — значительно. Тогда мы этого даже не знали. Теперь открыты документы Департамента полиции и там находятся такие, напр., донесения Лопухина:

«Около месяца тому назад, пишет Лопухин, был отправлен для газеты «Вперед» чек на 700 руб., а приблизительно около 6-19 января (1905 г.) был отправлен второй чек на 3000 рублей. Эти данные достаточны для предъявления Пешкову формального обвинения в отсылке денег на революционные издания».

Однако, слава Горького мешала полиции привлекать его к ответу.

Теперь опубликованы материалы, которые показывают сближение Горького с большевиками, в частности с Лениным, которого он «крепко полюбил и оценил» задолго до Октябрьской революции («Литературно-критические статьи», Госиздат 1938 г. и «Несобранные литературно-критические статьи». Госиздат 1941 г.). И хотя Горький попрежнему больше всего любил литературу, Ленин оказал на него большое влияние в смысле усиления его отхода от «мещанства», в том числе и от «плавающей на поверхности событий интеллигенции». К началу 1917 г. он уже считал себя — *«учителем восходящего класса»*. Письма к нему и от него к пролетариям всё увеличиваются в числе. В письме к молодому писателю С. Элеонскому Горький дает такое поучение молодым:

Для кого вы пишете? Вам надо крепко подумать над этим вопросом. Вам нужно понять, что самый лучший, самый ценный и в то же время самый внимательный и строгий читатель нашего времени — это грамотный рабочий, грамотный мужик-демократ. Этот читатель ищет в книге прежде всего ответов на свои социальные и моральные недоумения; его основное стремление — *к свободе в самом широком смысле этого слова*; смутно сознавая многое, чувствуя, что его давит ложь нашей жизни, он хочет ясно понять всю эту ложь и сбросить ее с себя. Что вы даете этому читателю?

А в письме тоже к молодой писательнице А. Никифоровой он уже определенно пишет о двух предстоящих нам всем путях — «сгореть в ярком огне или потонуть в помойной яме».

Казалось бы, всё готово в его душе к принятию «новых людей Октября». Не нужно ни «переделываться», ни приспособляться. Он — реалист в литературе, они — реалисты в жизни.

Однако, то «невероятное», что началось с первых дней октябрьской революции, поразило его... Но Горький всё еще остается Горьким. Он протестует, он крепко ругается в своей

газете «Новая Жизнь». Пишет он там о «деспотизме полуграмотной массы» об «угнетении личности человека», о том, что «в «Правде» различные зверушки науськивают пролетариат на интеллигенцию». Это называется «массовой борьбой»! Протестуя против «звериного террора», Горький осмеливается даже защищать... кадетскую партию, «ибо она объединяет наиболее культурных людей страны, наиболее умелых работников во всех областях умственного труда». Ну, уж этого прославления «заклятого врага», кадетов, большевики не вытерпели и в октябре 1918 г. газету закрыли. Это произвело огромное впечатление: как? и Горький должен молчать?

В этот период мы часто виделись. Начался террор и мы, москвичи, вызывали Горького в Москву для ходатайства перед Лениным. И разумеется, в эти его приезды — всегда без отказа — обсуждали положение. Пессимизм Горького рос: *«пролетариат не готов к роли, которую навязала ему история»*. И потом — крестьянство... Об этой «массе», крепко «пропахнувшей навозом», он говорил постоянно. Б. К. Зайцев приводит свой разговор с ним:

— Дело, знаете ли, простое. Коммунистов горсточка. А крестьян — миллионы... Мил-лионы! Всё пред-решено. Это — непременно так будет. В мире не жить. Кого больше, те и вырежут. Пред-ре-ше-но... Коммунистов вырежут...

В это время он крестьянство оценивал как грозную силу, могущую не только смести коммунистов, но и разрушить Россию. Сила, лишённая политического сознания. Впоследствии он напечатал книжку с описанием зверств крестьян во время гражданской войны в Сибири.

Когда в 1921 г. вспыхнул потрясающий голод, Горький проявил к этому явлению потрясающее равнодушие. И совсем неверно писал Б. К. Зайцев и другие, что «Горький убеждал общественников» организовать «Комитет помощи голодающим». Напротив, нам пришлось «встряхнуть» его, какого-то холодного, затихшего, для того, чтобы двинуть близкий ему Кремль на изыскание выхода. Он это делал вяло, без присущего ему энтузиазма. В другом месте я всё это записала подробно. Нет, он не был инициатором этой организации, а пристал к ней по нашему настоянию. К тому же в это время его отношения с Кремлем становились всё холоднее: певцом октябрьской революции он уже не был. В этот момент у меня произошел с ним разговор, лишь часть которого я уже опубликовала — другую часть и до сих пор еще рано полностью

обсуждать... Уже на третий день после «торжественного» открытия Комитета позвонил мне Горький.

— Мне нужно вас видеть...

Приехав к нам, он всё время озирался: нет ли кого в комнате? Он был вообще неузнаваем: потухший, серый, без своей обычной приветливой улыбки.

— Вы больны? — спросила я его прежде всего.

— Я здоров. Но — душа заболела. Она очень больна, Екатерина Дмитриевна...

— Представляю себе...

Он вдруг вспыхнул:

— Почему представляете? Думаете, что Горький поставил карту не на ту лошадь?

— Что за язык, Алексей Максимович... Лично я, как вы знаете, не люблю в общественности выбирать лошадь, т. е. путь, как на скачках. Действую, как велит совесть и разум...

— Совесть... совесть... Извините, пожалуйста. События пожрали эту совесть у всех... Осталась лишь драка... Да, драка, драка...

Он повторил, закрыв глаза, это слово. А потом:

— Видите ли... Случайно мне удалось узнать из самого достоверного источника, что комитету грозит величайшая опасность...

— Но комитету всего несколько дней жизни! Разве он уже в чем либо проявил себя преступно?

— Дело совсем не в преступлении...

— Так в чем же?

— Дело в декрете. Этот декрет противоречит всему советскому строю...

— Зачем же на него согласились?

— Его дал Кремль... Но кроме Кремля есть еще Лубянка. Лубянка заявляет прямо и определенно: мы не позволим этому учреждению жить...

— Вы это слышали сами?

— Да, я слышал сам.

— Зачем вы это мне сообщаете? Вы думаете, что комитет должен сейчас же покончить самоубийством?

— Нет, конечно. Это невозможно, это было бы трусостью. Но вы и другие члены-инициаторы должны быть сугубо осторожны. Повторяю: опасность велика...

— Алексей Максимович, кто теперь правит Россией?

— Разве вы не видите... Вот это...

— Да, но Ленин...

— Ленин?..

На лице болезненная гримаса. Такого страдальческого лица я у Горького еще никогда не видала.

— Ленин... Прошу вас... не будем говорить об этом...

Большого участия Горький в деле комитета не принимал. Судьба комитета известна: через месяц все члены его были в тюрьме. Не были арестованы: А. М. Горький, В. Н. Фигнер и П. А. Садырин (видный кооператор). Вскоре был выпущен бывший царский министр Н. Н. Кутлер. Умный, какой-то всё понимающий человек. Стало понятным, почему не был арестован П. А. Садырин. Пока мы сидели в тюрьме, он и Н. Н. Кутлер поставили свои подписи под государственным документом: советский червонец.

— Трех инициаторов комитета, — меня, Н. М. Кишкина и С. Н. Прокоповича Чека приговорила к смертной казни. Телеграмма Гувера и Фритиофа Нансена Кремлю спасла нас. Мы были отправлены в ссылку на Север. Уже в тюрьме мы услышали, что Горький уехал за границу... Эта весть в тюрьме как-то особенно больно поранила душу. Но дело комитета было сделано: снята блокада, задвигались корабли и поезда американской организации Ара... Благородная, незабываемая помощь Америки спасла множество жизней.

А мы совершенно неожиданно были привезены из ссылки в Москву и через несколько дней высланы за границу. Мне показалось в беседах в Чека с Менжинским, что нам покровительствовала какая-то всё еще сильная рука... А еще через несколько дней мы очутились уже в Берлине. Это было в июне 1922 г. Тотчас же по приезде в Берлин я получила от Горького вот это письмо:

«Дорогая Екатерина Дмитриевна!

Приездом вашим не удивлен, ибо еще в апреле знал, что всех членов комитета решено «выселить» из России.

Не знаете ли, по каким именно мотивам Х. (названо имя нашего общего знакомого, — *Е. К.*) рекомендует мне не возвращаться на родину? Хотя это несколько смешно, но интересно.

Что думаете делать? Вероятно, у вас есть охота писать, — не поговорить-ли вам по этому поводу с Гржебиным? Вы, вероятно, знаете, что он затевает с Мартовым во главе издание — «Архив русской революции». Уверен, что вы и Сер. Ник. могли бы много дать этому изданию. Как здоровье Сер. Ник. и ваше? Я тут живу в окаянной деревеньке, под дождем, ветром; немножко поправился было, но третьего дня начал сильно кровохаркать и сердце болит.

Работаю. В августе собираюсь во-свояси. Настроен мизантропически.

У вас нет охоты и возможности заглянуть сюда? Отдохнули бы. Сердечно приветствую. А. Пешков».

Письмо было написано из Heringsdorf'a (Seebad) и датировано 30 июня 1922 г. В Heringsdorf мы поехать не захотели: я уже знала, в каком окружении живет там Горький. Не приглашала его и к нам: опять-таки знала, что *одного* не отпустят... Что касается этого X, который писал Горькому (через 3-е лицо), чтобы он не возвращался, то перед нашим отъездом из Москвы он посетил нас и сказал:

— Скажите другу нашему, Алексею Максимовичу, чтобы он не возвращался. Его песенка здесь спета, не знаю, навсегда ли. Дует другой ветер, и «сокола» того и гляди посадят в клетку. Этого он не переживет...

Не странно ли, что это предупреждение было сделано в начале Нэпа, когда уже пахло какой то, пусть призрачной, свободой?

Письмо из Heringsdorf'a было последнее «*прежнее*» письмо... Какие-то щупальцы уже захватывали Горького. В августе он в Россию не уехал, а потом — надолго очутился в Сорренто. Мы переписывались, но... Иногда мне казалось, что эти письма пишет мне не Горький. Наши дороги всё больше и больше расходились, — пока не разошлись совсем. В своих письмах из Сорренто он продолжал спрашивать о здоровье моего мужа, который тяжело заболел еще в России. В письме от 19 августа 1925 г. он пишет:

— По скорости заграницей и, конечно, в Праге, будет один из лучших сердечников, московский профессор Плетнев. Вы его наверняка знаете? Вот кто был бы полезен Сергею Николаевичу.

Я ответила, что Д. Д. Плетнева хорошо знаю и, действительно, считаю его прекрасным врачом, но что ни за что не решусь пригласить советского врача для лечения эмигранта, боясь для него неприятностей. Это мое предчувствие оправдалось на самом Горьком. Он опять сильно заболел в Сорренто и к нему был прислан из Москвы д-р Никитин. Но на обратном пути д-р Никитин был арестован. Мне рассказывали, что Горький сходил с ума от этого «безрассудства», виною которого был он сам. Трагическое сплетение: мог ли в те времена Горький даже в бреду вообразить, что «лучший сердечник проф. Плетнев» станет его отравителем?

Дикость — непостижимая. И жуткая, ни на что не похожая трагедия страны, допускающей подобные фантазмагии...

V

Итак, в 1922 г. Горький еще не только не был безоговорочным слугой режима, но — был «настроен мизантропически». Советские писатели любят сейчас приводить грубоватую, но часто повторяемую им сентенцию: «лучше бы человеку без штанов жить, чем со скептицизмом в душе». Всякую мизантропию и скептицизм он ненавидел в других. Подавлял эти настроения и в себе. Но в письме 1922 г. есть и разгадка его будущей линии. Для Горького невозвращение на родину, эмиграция, даже полу-изгнание, каким была его поездка в 1921 г. за границу (тоже кому-то мешал, несмотря на близость с Лениным и Дзержинским), были *«смешны»*. И не только смешны. *«Пролетарский писатель», певец о счастье трудящихся классов, органически не мог принять эмигрантства в такой исторический период, когда в России была власть «социалистическая, рабоче-крестьянская» и когда все социалистические организации мира, вся «передовая интеллигенция» — вроде Ромэна Роллана, даже Андре Жида, — славили ее, и защищали ее от козней мировой буржуазии.* Вот перед какой альтернативой стоял Горький в первые годы своей заграничной поездки. При царе эмигрантство Горького было почетно. Оно давало ему новый ореол. И когда в 1911 г. русская общественность хотела «подать свой голос, требуя возвращения Горького на родину», он ответил протестующим письмом в редакцию «Южного Телеграфа» (№ 3128).

С самодержавием Горький мог разговаривать на этом гордо-эмигрантском языке. С пролетарской республикой он, «родоначальник пролетарской литературы», он, буревестник, «сын народа, сделавшего величайшую из революций», *так разговаривать не мог.* В этих его взаимоотношениях даже не с советской властью, а с революцией — корень его мизантропии, в качестве «полувысланного», и его дальнейших настроений. Развести Горького с этой анархо-босяцкой революцией — это не только «смешно», но и невозможно, уже потому, что в рядах современной, после-революционной эмиграции ему места не было и быть не могло: современная русская эмиграция — в массе своей — больше всего на свете ненавидит разного рода «буревестников».

Однако, возвращение на родину могло быть куплено лишь страшно дорогой ценой: *безоговорочным признанием режима и его славословием.* Именно то, чего требовал Авербах от Шагинян... «Буревестник» на эту цену согласился, правда, не

сразу, и, вероятно, с чувством мучительным. Все эти настроения его хорошо учитывали «покупатели», окружив его в Сорренто соответствующими людьми, типа Крючкова, несомненного ставленника Ягоды. А когда полубольной писатель приехал на родину, он сразу же попал в руки Ягоды и его аппарата. Дальше последовала весьма отвратительная поездка певца свободы (с сыном Максом и кучей чекистов) в кандалные Соловки, прославление Ягоды и его беломорского канала, прославление его же, как воспитателя юношества в коммунах, и прочие тяжкие для гордости Горького вещи.

Да, цена возврата на родину была безмерно дорога... И недаром — по свидетельству Кибальчича, — Горький «плакал по ночам». В это — верю; совсем умереть духовно Горький не мог; запас духовности в нем был всё же большой.

VI

Чем больше креп сталинизм, чем ярче была его борьба с соперниками, со всеми инакомыслящими, тем более верным оказывалось предсказание Леопольда Авербаха в ответе Мариэтте Шагинян: или всецело принимаете режим или пощады вам не будет, кто бы вы ни были. «Переделывать» людей взрослых, вкусивших иной строй, даже тот, с которым шла борьба, — нельзя. В них сильны «пережитки прошлого». Чувствуя в себе эти пережитки, Горький вовсе не сразу покорился. Он чувствовал себя мизантропом, хотя и считал, что отрываться ему от родины просто «смешно». И однажды он объяснил полностью, какой выбирает он путь и каково будет на этом пути его поведение. Когда усилились в Сов. России гонения на служащую интеллигенцию и приближался уже период острого террора во имя торжества тоталитарной диктатуры даже не партии, а одного лица, я написала Горькому письмо, спрашивая его, — как всем нам объяснить его поведение, *его молчание*. Он ответил мне из Сорренто вот этим письмом, датированным 22 января 1929 г. В его ответе я именуюсь уже не «дорогая», — как установилось с давних дней Нижнего-Новгорода, — а сухо: «уважаемая»! Письмо с моей точки зрения — да и не только с моей — замечательное:

«Вы, уважаемая Екатерина Дмитриевна, упрекаете меня в грубости отношения моего к эмиграции и односторонности освещения мною русской действительности. Искренно говорю: никому, кроме вас, я на эти упреки отвечать не стал бы, да и вам отвечаю не потому, что хочу «оправдаться», а потому, что у меня к вам есть определенное отношение, началом коего служит моя первая встреча

с вами, летом 1893 года, в Нижнем, когда вы, больная², жили в Вознесенском переулке.

О грубости говорить не стану; это, очевидно, свойство моей натуры. Всё же я не вижу себя грубее, например, дворянина Бунина, в его отношении к людям, которые думают и чувствуют не так, как он, а также в его отношении вообще к русской народной массе. Мне кажется, что людям вашего типа следовало бы обращать внимание не на мою грубость, а на совершенно изумительную циническую грубость эмигрантской прессы. На ее поражающую лживость. И вообще на понимание ею моральной грамотности.

Односторонность? *Но*, ведь, вы, в письме вашем, тоже односторонни, — и как еще! Между нами тут есть, разумеется, существенное различие: *у вас есть привычка не молчать о явлениях, которые вас возмущают, я же не только считаю себя в праве и могу молчать о них, но даже отношу это умение к числу моих достоинств.* Это — аморально? Пусть будет так. Но не считайте это парадоксом или вообще какой-то словесной уловкой.

Суть в том, что я искреннейше и непоколебимо ненавижу правду, которая на 99 процентов есть мерзость и ложь. Вам, вероятно, известно, что, будучи в России, я публично, и печатно, и в товарищеских беседах выступал против «самокритики», против оглушения и ослепления людей скверной, ядовитой пылью будничной правды. Успеха я, разумеется, не имел. Но это меня не охлаждает, я знаю, что 150-ти миллионной массе русского народа эта правда вредна, и что людям необходима другая правда, которая не понижала бы, а повышала бы рабочую и творческую энергию. Такая правда, возбуждающая доверие человека к воле своей, к разуму, уже посеяна в массе; она дает превосходные результаты. Я имею в виду не только электрификацию, индустриализацию, развитие сельскохозяйственной культуры и всё прочее, что совершенно напрасно и совершенно зря порочит ваша пресса. Не того теленка, о котором вы пишете, теленок этот очень хорошо растет и множится, хотя для меня лично, это — не праздник.

Вы, конечно, не поверите, если я вам скажу, что крестьянин ест мясо, масло, яйца в количествах, о которых он раньше не мечтал. Не поверите и в то, что убийства селькоров и активность деревни, это — борьба против культуры, борьба отцов с детьми, борьба индивидуалистов против коллективистов, борьба, которая будет развиваться до победы последних над первыми. Оставим это.

Для меня важно, главным образом, вот что: быстрый и массовый

² Тогда я была больна туберкулезом.

рост личности, рост нового культурного человека, важен рабочий сахарного завода, который читает Шелли в подлиннике, важен человек широкого и здорового интереса к жизни, человек, понимающий, что он строит новое государство, человек, живущий не словом, а страстью к деянию, к действию. Человека этого я, разумеется, наблюдал не только за время моего пребывания в России истекшим летом, — я с ним нахожусь в общении более 4-х лет. Это — превосходный человек, но очень горяч и доверчив. Ему не нужна та мелкая, проклятая правда, среди которой он живет, — ему необходимо утверждение той правды, которую он сам создает. Он ее создаст и утвердит на своей земле. Вы скажете, что я — оптимист, идеалист, романтик и т. д. Это — ваше дело. Мое — посылить объяснить вам, почему я — «односторонен». Кстати: это началось у меня лет 35 тому назад...

В заключение скажу вам, Екатерина Дмитриевна, — верьте, не верьте: удивительно хорошо, бойко и деятельно живет молодежь в России³. Всего доброго А. Пешков.

Итак, — ему *молчать*, мне говорить... Какая разительная перемена даже в смене поведения! Когда-то, в предисловии к изданной в Берлине книжечке «О русском крестьянстве», Горький писал (в 1922 г.):

«Люди, которых я привык уважать, спрашивают: что я думаю о России? Мне очень тяжело всё, что я думаю о моей стране, точнее говоря, о русском народе, о крестьянстве, большинстве его. Для меня было бы легче не отвечать на вопрос; но я слишком много пережил и знаю для того, *чтобы иметь право на молчание*. Однако, прошу понять, что я никого не осуждаю, не оправдываю, — я просто рассказываю, в какие формы сложилась масса многих впе-

³ Когда я напечатала это письмо, после смерти Горького, ко мне, в Праге, явились посланцы от полпредства: предоставить *подлинник* этого письма для музея Горького. Я сказала им, что письмо это передано мною Пражскому Историческому Архиву и я дать его не могу им. Ушли и снова пришли: позволить им снять фотографическую копию с него. Я отправила письмо в Чешское Министерство Иностранных Дел для официального снимка. Снимок был сделан и передан полпредству. А затем и весь наш Архив был перевезен в Россию — как подарок Бенеша Академии Наук. Увезены и мои чемоданы, где — в числе многих других — хранились и письма Горького. Разумеется, в бесчисленных материалах о Горьком, напечатанных Госиздатом, этих писем нет.

чатлений. *Мнение не есть осуждение*, и если мои мнения окажутся ошибочными, это меня не огорчит».

В 1922 г. он, много переживший, не имел права на молчание. Что произошло к 1929 г., когда это молчание стало для него *обязательным*? Психологический документ *огромного* значения. К 1929 г. Горький, как свободный писатель, — умер. Он уже в клетке... Вопрос был лишь в том, вернется ли он на родину или предпочтет — *в молчании* — умереть на чужбине и физически. Но в 1928 г. он вернулся и... *не молчал!* В мае 1928 г. он выступил уже на торжественном собрании Московского Совета в Большом театре. Он говорил уже как обескрыленный сокол, в духе сталинизма. А когда незадолго до его смерти начались страшные процессы с дикими признаниями, я снова написала ему письмо, умоляя *не молчать*. Он ответил мне уже не письмом, а огромным фельетоном в «Известиях», напыщенной руганью и советом: «как можно скорее умереть». Наша старая мораль его уже невыносимо раздражала.

В 20-х гг. Мариэтта Шагинян считала, что писатель «болен», но есть еще для него спасение: дать ему *вникнуть* в суть революции, позволить сделать «свободный» выбор и не стоять над ним «со свечкой день и ночь». Много было возможностей у Максима Горького этот свободный выбор сделать: его ведь даже выпускали за границу. Почему он выбрал страшную гибель на родине, гибель многообразную: как писателя, как общественного деятеля и просто как человека? Многие прибавляли: как честного человека... Почему? Столько обвинений (начиная с Октября) сыпалось на Горького — вплоть до обвинения его в спекуляции конфискованными ценностями. «Из буревестника обратился он в филантропического эмпмана, в подозрительного антиквара, «уговаривающего» Дзержинского поменьше лить крови, в кутящего с чекистами русского писателя, в кулака и заступника ученых», — так писали, о Горьком после его «падения» — полного слияния с режимом.

Но... Зачем, собственно, Максиму Горькому быть «эмпманом», «спекулянтём», «антикваром»? Горький — знатный эмигрант мог бы быть очень богатым, если бы он был в силах *стать* эмигрантом. Его произведения переведены в разных странах и доход от этого старого наследства всегда был значительным. Нет, не богатство, не «продажность» (как у Алексея Толстого) влекли его на родину. Другие мотивы. Какие? Единственный голос раздался после его смерти, — пытавшийся разгадать загадку «падения»: голос его старого друга, хорошо его знавшего — Федора Ивановича Шалапина. Шалапин

узнал о смерти Горького на «Нормандии», на пути из Нью-Йорка в Гавр. Он тотчас же послал в «Последние Новости» Милокова фельетон, — что же был за человек Алексей Максимович Горький?

«Что бы мне ни говорили об Алексее Максимовиче, я глубоко, твердо, без малейшей интонации сомнения, знаю, что все его мысли, чувства, дела, заслуги, ошибки, — всё это имело один единственный корень, — Волгу, великую русскую реку и ее стоны... Если Горький шел вперед порывисто и уверенно, то это шел он к лучшему будущему для народа; а если он заблуждался, сбивался, быть может с того пути, который другие считают правильным, это опять-таки шел он к той же цели... Когда я слышу о корысти Горького, о его роскошной жизни на виллах Капри и Сорренто, о его богатствах, — мне *становится совестно*. Я могу сказать, ибо очень хорошо это знаю, что Горький был один из тех людей, которые всегда без денег, сколько бы они ни зарабатывали и ни приобретали. Не на себя тратил он деньги, не любил денег и ими не интересовался. Нет, не корысть руководила Алексеем Максимовичем. Я говорил о его вечной боли за народ. Скажу о другой его страсти — о любви к России. Вот как этот вопрос встал между нами. Было это много, много лет позже. Российская буря разметала нас в разные стороны... Должен теперь сказать, что во время моего отъезда из России Горький мне сочувствовал: сам сказал: — «тут, брат, тебе не место». Когда же мы, на этот раз в 1928 г. встретились в Риме, когда по мнению моего друга, в России многое изменилось и оказалась возможность для меня (опять-таки по его мнению) работать, он мне говорил сурово: «А теперь тебе, Федор, надо ехать в Россию»... Честно скажу, что до сих пор не знаю, кто из нас был прав, но я знаю твердо, что это был голос любви и ко мне и к России. В Горьком говорило глубокое сознание, что мы все принадлежим своей стране, своему народу, и что мы должны быть с ними не только морально, — как я иногда себя утешаю, — но и физически, всеми шрамами, всеми затвердениями и всеми горбами».

Шаляпин — не писатель и не политик. Он — певец. Горького судят писатели и политики. Разница — большая. Но то, что сказал он о Горьком *как человеке*, значительно и нужно. Ничто так ярко, так полно не характеризует российские зигзаги большевизма, как трагедия Горького. Конечный финал его отношений с властью в 1928 г. — в двух словах: «Я подчинился вам, *я молчу*»... Но и над молчащим писателем, отказавшимся обнажить раны и страдания народа, они стояли со свеч-

кой день и ночь... *Не молчи, а славь.* И славь так, как *мы* хотим. Славь и позорь себя — это прибыль режиму: мы сломили дуб... И слошим всех, кто будет нам противоречить и просить «свободы выбора»... Таков современный облик режима. Гибельный для всей духовной культуры.

VII

Есть признаки, указывающие, что недолго будут чтить и память Горького. Это — наследство неудобное, от него скоро отрекутся. В Сов. России пышно расцветает то самое мещанство, которое так ненавидел покойный писатель. Этому новому слою не нужны «буревестники». Ему нужны сытость, довольство и... *поэзия техники.* Именно этой поэзии требуют сейчас от писателей, и горько жалуются, что на этом поприще писатели бессильны. Их герои от станка и трактора безжизненны, невыносимо скучны и не имеют даже своего языка. Для литературы *там* наступает новый период безвременья. А здесь? *Здесь* кое-кто также спешит отделаться от наследства прошлого: хотят растоптать «интеллигентские преступные бредни», а попутно ликвидировать и таких писателей, как Иван Бунин...

Так идет русская жизнь, постоянно спотыкаясь и не имея твердых традиций. Можно ли при такой удушливой атмосфере ожидать скорого расцвета?

Ек. Кускова

ОТВЕТ МОИМ КРИТИКАМ

Прежде всего я должен объяснить, что моя книга, как показывает само ее заглавие, есть книга по социальной философии, а вовсе не исследование в сфере политической экономики и еще менее защита каких-либо партийных позиций. *Кризис современной культуры* не допускает подхода только со стороны одной какой-либо социальной науки; он требует исследования со стороны права, морали, психологии, индивидуальной и массовой, и даже со стороны религии. В этом смысле философ всегда находится в трудном положении: он обязан считаться с выводами положительных наук; но подход его к этим наукам иной чем у ученых специалистов. Философ хочет знать последние выводы и основные принципы, дабы включить их в систему знаний, в систему критических суждений о сущем и должном. Задача эта вовсе не требует многочисленных ссылок на экономические факты и цифры, или подробного изложения социальных теорий и политических программ. Философ берет только то, что помогает решить поставленные им проблемы. При этом он всегда оставляет за собою право обращаться за советом к тем позитивным ученым, которые кажутся ему наиболее авторитетными и надежными. Мало того, критический философ обязан заметить и показать тот момент, когда старые категории теряют значение и становятся непригодными. Такой момент наступил сейчас в области социально-экономической. Категории «капитализма» и «социализма» стали научно непригодными. Но расставаться с ними для партийных людей необычайно

¹ Настоящей статьей заканчивается наша дискуссия о книге Б. П. Вышеславцева «Кризис индустриальной культуры». Статьи М. Вишняка и Ю. Денике были напечатаны в кн. 34-ой «Нов. Журн.», статья Н. С. Тимашева и комментарии М. Карповича — в кн. 35-ой. Отзыв Е. Юрьевского о книге Б. П. Вышеславцева появился в «Социалистическом Вестнике» (июль-август, 1953 г.). По причинам технического характера ответ Б. П. Вышеславцева не мог быть помещен в кн. 36-ой «Нов. Журн.», для которой он предназначался. *Ред.*

трудно. Однако, усомнившись в старых лозунгах, они приобретают весьма многое: перестают быть догматиками и рутинерами. Таких я называю «неосоциалистами». Новое здесь рождается из сократовского «знания своего незнания». К таким нео-социалистам я отношусь с большой симпатией и считаю, что с ними возможен и интересен диалог по существу, который смотрит в будущее. Но чтобы вступить в научный диалог, надо отказаться от полемических заданий — от стремления дискредитировать инакомыслящих. Научный диалог требует той атмосферы, которую Кант назвал «достойным тоном в философии». Он требует не «опошления», а углубления мыслей противника и его проблем.

Ответ моим оппонентам облегчается тем, что их суждения во многом взаимно уничтожаются. Так один (Е. Юрьевский) начинает свою критику прямо со слова «увы», другие два заканчивают признанием того, что книга заслуживает «всяческого внимания» и «полного и всестороннего обсуждения...». Один говорит, что я изображаю кризис слишком мрачно, слишком страшно; другой находит, что я «слишком слабо освещаю трагический раскол». Могу еще добавить, что один марксист уличает меня в незнании и непонимании Маркса, а другой подтверждает в том же пункте мое знание и понимание Маркса очень обстоятельной статьей².

Большинство сделанных мне возражений устраняется простым чтением соответственных мест моей книги. Так прежде всего невозможным является утверждение Е. Юрьевского, будто я «заработную плату *явно ошибочно помещая* в состав прибавочной ценности», что «в прибавочную ценность мною *втиснута* заработная плата». Иными словами это означало бы, что заработная плата уплачивается рабочему исключительно из прибавочной ценности. Если так, то куда же у меня девалась бы *необходимая* ценность и необходимый продукт? Гораздо естественнее утверждать вместе с Марксом, что заработная плата состоит исключительно из *необходимой* ценности, а прибавочная ценность в нее вовсе не входит и целиком присваивается капиталистом. И действительно заработная плата *прежде всего* состоит из *необходимой* ценности необходимого продукта и должна оплачивать прожиточный минимум рабочего. Это-то верно, но не верно то, что она только этим всегда и ограничивается. Тогда происходило бы обнищание про-

² Об этом см. ниже.

летариата, что прямо противоречит действительности в свободных индустриальных странах, где уровень жизни трудовых масс значительно поднимается.

Откуда же это улучшение жизни, если у рабочего отнимается всё за исключением необходимой ценности? Оно может происходить только из прибавочной ценности, другого источника нет. Неправда, что она целиком отнимается у рабочего и присваивается «капиталистом», как неоплаченная работа. На самом деле *часть* прибавочной ценности входит в состав заработной платы и при квалифицированном труде, переходящем в творчество, эта часть должна всё более увеличиваться. В своей работе я рассматриваю, каким образом рабочий может успешно бороться за свою долю в распределении прибавочной ценности (см. 309-310. Ср. гл. 6). Таким образом я утверждаю прямо противоположное тому, что приписывает мне Е. Юрьевский: он говорит, что «в прибавочную ценность мною *втиснута* заработная плата», а на самом деле у меня в заработную плату *втиснута* прибавочная ценность³.

Мои критики приписывают мне *тождество* двух видов индустриализма — свободного и тоталитарно-принудительного, что кажется им абсурдом. «Фабрика с рабским трудом и фабрика со свободным трудом оказываются тождественны» (Е. Юрьевский). Две враждебных друг другу формы оказываются «родными братьями» (проф. Тимашев). Да, и именно такими же братьями, как Каин и Авель. Но неужели мои критики не задумались над тем, что фабрика есть везде фабрика, индустриализация есть везде индустриализация, и она постепенно охватывает весь мир, наконец, атомная бомба остается тождественной во всем мире и при всяком использовании? Неужели мои противники не слышали о принципе *тождества*

³ Чтобы приписать мне такую нелепость Е. Юрьевский цитирует меня следующим образом: «часть прибавочной ценности вручается рабочим в виде заработной платы». Это можно понять так, что вся заработная плата состоит из прибавочной ценности. На самом деле у меня стоит следующее: «часть прибавочного продукта (т. е. его ценность) достается рабочему и входит в его заработную плату», а этого нельзя понять так, будто эта заработная плата всецело состоит из прибавочной ценности.

(К сожалению, из-за недостатка места, мы были вынуждены опустить ряд других аргументов, приводимых автором в доказательство правильности его понимания теории прибавочной ценности. *Ред.*)

противоположностей? Он был точно сформулирован Аристотелем, основателем логики, как закон мышления: все противоположности *в чем либо* тождественны; но без различения и противопоставления нет мышления. Противоположности «как бы связаны концами», говорит Платон. Умение видеть тождественное в различном и различное в тождественном есть принцип научного мышления. Таков принцип всей греческой философии, всей диалектики Сократа, Платона, Аристотеля, а затем диалектики Канта и Гегеля. Тождество противоположностей ошеломляет только того, кто понимает это тождество, как полное совпадение, подобное тождеству двух налагающихся треугольников или двух одинаковых цифр. Но подлинные противоположности тождественны в одном и *противоположны* в другом. Тождество противоположностей не есть только логический закон, это закон жизни, закон бытия.

Не только во всяком логическом, но и во всяком реальном противоречии, во всякой борьбе, в трагическом конфликте, существует пункт этого тождества. И здесь противоположности «связаны концами». Враги тоже необходимо связаны друг с другом, как и друзья. Монтеки и Капулетти тоже имеют пункт тождества и совпадения. Это Джульетта и желание обладать ею. И чем больше и полнее они совпадают, тем больше борются не на жизнь, а на смерть. Именно братоубийственная борьба есть самая яркая. Таково же — яростное противоречие двух индустриализмов или, точнее, противоречие внутри одного и того же индустриализма, одной и той же потенциально всемирной индустриальной цивилизации. Два мира, две формы и две цели жизни желают овладеть одним и тем же аппаратом индустрии, как средством для своих противоположных целей. Можно и так сказать: две культуры желают овладеть одной и той же индустриальной цивилизацией⁴.

Е. Юрьевский находит возможным говорить о моей «вождистской концепции» и о моих «реакционных мыслях», в том числе — о мысли «понизить в огромных размерах заработную плату». Непонятно, каким образом «вождистом» может быть апологет либерализма и правовой демократии. Моя книга есть

⁴ Следует заметить, что проф. Тимашева тождество противоположностей ошеломляет гораздо меньше. Он даже сам невольно высказывает этот принцип: «система технических ценностей осталась единой» — говорит он — «но во всем остальном трагический раскол».

крайний *антивождизм*. Вождизм есть явление коллективно-бессознательного, и как раз гипнотическое, часто бессмысленное. Аморальное следование огромных масс за вождями объясняется прежде всего тем, что функции сознательного суждения, теоретического или морального, никогда не доминируют в толпе и в массе; за то она иногда владеет другими ценными функциями. И напрасно Е. Юрьевский почему-то обижается за рабочих и утверждает, что я считаю их «чем-то вроде низкого качества материи». Этого не может думать антиматериалист, христианин и персоналист. Однако, кроме таких «вождей», существуют еще лидеры партий, авторитеты, пророки, и избранники во всех областях культуры. На этом построен и всякий парламент. Таков «закон малого числа». Он выражает глубочайшую и вечную истину: «много званых и мало избранных». Всё это совершенно ясно изложено в моей работе (см. 44 и 325 стр.).

Теперь о «реакционной мысли» понизить заработную плату. Мысль у меня, конечно, прямо противоположная: именно потому, что заработная плата простого рабочего «весьма скромна», по сравнению со всякими жалованьями инженеров, директоров и технократов, я и говорю в последних главах своей книги о тех хозяйственно-правовых путях, какими рабочий может бороться за свою часть в прибавочной ценности; а так как при неквалифицированном труде, или полном отсутствии творчества, он может претендовать лишь на весьма скромную часть в прибавочном продукте, я больше всего думал о том, как пробудить в нем творческую инициативу, составляющую главное достоинство человека (гл. 21, 22, 23). Думаю, что это мысль не «реакционная».

Меня немного удивляет, что основная мысль моей работы, выраженная с достаточной простотой и ясностью, может возбуждать какие-либо сомнения. Мне кажется очевидным, что в основе индустриализма лежит та же самая наука, та же самая техника, те же самые изобретения; те же самые инженеры и директора управляют аппаратом в порядке иерархического подчинения и технической дисциплины; части этого аппарата спокойно переносятся из буржуазной страны в коммунистическую, и постоянно приглашается и даже похищается тот же самый персонал вместе с той же самой атомной бомбой. Однако, аппарат индустрии может оставаться тем же, но способы и цели обладания аппаратом могут быть противоположны. Техника есть система средств, одинаково могущих служить добру

и злу. Она есть как бы двуликое существо, и даже ее полезное действие никогда не бывает всецело полезным. Нет аппарата, нет машины, нет лекарства, которое не оказывало бы на человека обратного действия и кроме добра не содержало бы в себе «имманентного» зла (машина убивает рабочего — говорит Маркс). Такова прежде всего атомная энергия. Впрочем все создания человека обладают этим свойством. Большие города ценны и интересны, и однако существует «имманентное зло» больших городов. Партии необходимы, но существует «имманентное зло» партийности. Чему же удивляются мои оппоненты, когда я говорю об *имманентном зле индустриализма*? Это вовсе не значит, что я отрицаю индустрию, промышленность, науку, технику.

Перехожу теперь к другому моему оппоненту, Ю. Денике. Он возражает мне в общем в том же духе и в том же тоне, как Е. Юрьевский. Основное его утверждение сформулировано так: демократия — хозяйственная и политическая — и есть социалистический идеал. Это общее место, постоянно повторяемое, нуждается в критическом анализе, который я и дал в своей работе. Во-первых, социализм нельзя определять *через его идеал*. Это подробно доказано у меня в гл. 12-ой: идеал радикальной демократии, проведенный во всех областях, остается общим для противоположных партий и потому не может определять социализма или антисоциализма. Повторение старых лозунгов не имеет ценности, когда они научно и философски неоправданы. Вот примеры такого печального определения социализма через его идеал: Леон Блюм сказал однажды в парламенте: у нас с коммунистами общий идеал, но разные пути его достижения; то-же самое Сталин повторил делегации от английских лейбористов: у нас цель одна и та же, разница только в путях, наш суровее, но зато короче. Вы утверждаете, что социализм неразрывно связан с демократией, но самые видные представители социализма и демократии утверждали прямо противоположное. Трудность разрешения этого противоречия состоит в том, что мы знаем, что такое демократия, но не знаем сейчас, что такое социализм.

Далее мне ставится в упрек, что я «не имею достаточного представления о развитии идеи хозяйственной демократии и социализма за последние пятьдесят лет». Но изложение этого развития нисколько не составляло моей задачи. Хотя я за последние пятьдесят лет много раз читал лекции по истории социальных идей и в частности социализма, но в последней своей

книге я об этом не говорю и потому Ю. Денике никак не может судить о том, как я его себе представляю. Я говорю о будущем, а не о прошлом, о выходе из современного кризиса, о существе и о будущей судьбе социалистической идеи, определения которой Ю. Денике не дал. За этим следует еще более удивительное по своей смелости утверждение: о «существовании неосоциализма он (т. е. Вышеславцев) узнал из статей Николаевского и Аронсона».

Напрасно мой оппонент думает, что о кризисе социализма, требующем выработки чего-то нового, я узнал только из этих двух статей его товарищей. Но я уже десять лет читаю «Социалистический Вестник», очень ценю его осведомленность и слежу за его дискуссией о социализме и марксизме; кроме того я живу в Европе и читаю газеты и еще многое другое. Повидимому мой критик держится того убеждения, что если я о чем-либо не упоминаю, то значит я этого и не знаю. Впрочем, он допускает, что я «знаком с одним докладом Гарольда Ласки», у которого — у социалиста! — я и заимствовал будто бы большую часть того, что я говорю о хозяйственной демократии. В конце своей статьи он еще раз повторяет, будто всё, что я говорю о хозяйственной демократии, я заимствую у Ласки, у левого социалиста, и у Гурвича, который признает себя тоже социалистом. Но в этом-то и заключается вся красота диалектики, что я для подтверждения своих взглядов, могу цитировать своих противников. Не существует лучшего подтверждения в науке, нежели признание, исходящее из противного лагеря. О каком заимствовании здесь можно говорить? Скорее можно сказать, что левый социалист заимствует все те практические меры, какие вытекают из мирозерцания неолиберализма и какие этот последний предлагает для реализации хозяйственной автономии. Я выбираю Ласки в доказательство того, что большой практический социальный деятель — а таким именно он был во время войны — указывая реальные меры для защиты свободы и интересов рабочих, делает это вовсе не на путях традиционного социализма, а на путях последовательной демократической свободы, ничем принципиально с социализмом несвязанной. Кроме того не всякий, называющий себя социалистом, думает в настоящее время о научном значении этого термина. Большинство выражает этим просто желание принадлежать к одной из политических партий. Гурвич, напр., может быть членом социалистической партии, но научно он более всего связан с

Прудоном, которого считает гениальным и который отрицает всякий социализм.

Обращаюсь теперь к попыткам моего критика меня поучать в области марксизма и политической экономии. Как философ, я обязан принимать всякие указания от представителей позитивных наук с благодарностью, впрочем лишь тогда, когда эти указания авторитетны и безошибочны. Теория трудовой ценности, утверждает Ю. Денике, ничем принципиально с социализмом и коммунизмом не связана; Маркс признает ее только для периода капитализма и свободной конкуренции, при коммунизме о ней не может быть и речи. Вот в каком строгом и авторитетном тоне делает мне свое поучение мой критик: «Вышеславцев *даже* приписывает Марксу представление о принципе трудовой стоимости, как *чуть ли не* вечном законе, действующем как в капитализме, так и в коммунизме» (курсив мой). «Даже» и «чуть ли не» здесь ко мне никакого отношения иметь не могут, ибо я совершенно категорически высказываю основную мысль Маркса, приводя его собственные слова (см. стр. 316). Из этих слов видно, что Маркс представляет себе закон трудовой ценности именно как вечный закон, как естественный закон, действующий с той же необходимостью как закон тяготения. Идею полного и завершающего торжества трудовой теории ценности в коммунизме Маркс развивает в «Критике Готской Программы 1875 г.»: «каждый производитель — утверждает он — получает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое то количество труда» в продуктах, «и по этой квитанции он получает из общественных запасов средства потребления, соответствующие тому самому количеству трудовых часов». При этом Маркс считает еще раз нужным подчеркнуть неизменность и вечность «естественного закона» трудовой ценности: «здесь господствует — утверждает он — тот же принцип, который регулирует товарообмен, поскольку последний есть обмен равных ценностей». Утверждение этого неизменного принципа нисколько не противоречит тем словам Маркса, которые Денике приводит из «Критики политической экономии»: «осуществление этого закона зависит от определенных исторических предпосылок», разумея под этим свободную конкуренцию. Осуществление каждого закона зависит от исторических условий: в наше время закон тяготения дает телам возможность летать. В данном случае то, что Ю. Денике считает ошибкой и непониманием Маркса, другой авторитет, не менее строгий,

считает несомненной догмой, установленной Марксом и Энгельсом⁵. В этом пункте я считаю его более авторитетным и с особенным удовольствием на него ссылаюсь (см. стр. 64-67 и 314-317).

Последнее возражение Ю. Денике, которое я считаю нужным отметить, состоит в повторении всё того же лозунга: «за социализацию, но против национализации». Должен сказать еще раз то, что подробно обосновано в моей книге. Термин «обобществления» никакого научного значения не имеет и допускает огромное злоупотребление. Его мог повторять и постоянно повторял Сталин, а также французский синдикализм коммунистического толка. Научным этот термин может стать лишь тогда, когда будет указано точно, какую юридическую форму он хочет выражать. Всякая общественная собственность есть коллективная собственность, к ней относятся и государственная собственность. Общественная собственность может принимать самые различные формы в свободном капитализме, не признающем никаких социалистических форм, что имеет место на каждом шагу в Америке, а в сущности и во всех свободных странах. Только традиционное марксистское презрение к праву может объяснить злоупотребление этим термином, как и злоупотребление термином «демократии». Конечно, хозяйственная демократия есть своего рода «обобществление», но существует множество обобществлений, ничего не имеющих общего с хозяйственной демократией. На этот термин можно еще менее ссылаться, чем на термины «капитализма» и «социализма».

Проф. Тимашев ведет дискуссию в академическом тоне и в духе научного диалога. Он заинтересован решением поставленной проблемы, а не изобличением противника или защитой традиционных позиций и лозунгов. Но прежде чем перейти к диалогу с ним, я должен отметить одну общую особенность, встречающуюся во всех возражениях: мои противники преподносят мне в форме поучений или опровержений мои же собственные тезисы, подробно у меня обоснованные. Так Е. Юрьевский в своей статье пишет в форме возражения: «наоборот, развитие индустриализации сопро-

⁵ См. статью Е. Юрьевского «О последнем труде Сталина и его источниках», «Новый Журнал», кн. 31. Он дает в этой статье подробную критику трудовой ценности, совершенно совпадающую с моей критикой.

вождалось ростом свободы, культуры, огромнейшим ростом удовлетворения самых разнообразных потребностей народных масс». Здесь он повторяет всё то, что я подробно изображаю в своем введении, как огромное поднятие уровня жизни народных масс и их освобождение в либеральной демократии (стр. 11-12). К сожалению, и проф. Тимашев не совсем свободен от невнимания к прямому смыслу текста. Вот, например, в самом начале своей статьи он обращается ко мне со следующими словами: «когда в наши дни говорят о кризисе в культуре... то имеют в виду прежде всего ее распад на две. Ибо культура — это система ценностей — религиозных, моральных, научных, эстетических, социальных, бытовых, технических. Система технических ценностей осталась единой; но во всем остальном произошел трагический раскол, обернувшийся образованием в мире двух вооруженных лагерей, столкновения которых со страхом и трепетом ожидает человечество. Ибо после столкновения может не остаться вообще культуры. Не так понимает однако кризис Вышеславцев». *Нет, именно так!* Почти с тех же самых слов я начинаю свое введение и теми же его кончаю. Лучше нельзя передать то, как я анализирую и изображаю этот кризис. Больше того, в этих словах дано точное и сжатое выражение основных идей моей книги, включая столь поразившее г. Юрьевского тождество противоположностей. За такое резюме я особенно благодарен проф. Тимашеву. Не нужно только было придавать ему форму возражения, ибо на самом деле оно выражает согласие⁶.

Проф. Тимашев рекомендует мне демократическое планирование и частичную национализацию, т. е. как раз то, что я утверждаю и считаю необходимым. Я принимаю государственно-частное хозяйство, т. е. частичную национализацию и вмешательство государства в жизнь свободного рынка, т. е. частичное планирование (кстати сказать, нигде я не отождествляю социализм с управляемым хозяйством) — но лишь с *тоталитарно* управляемым хозяйством). Поэтому никак нельзя мне возражать, что будущий новый строй *не будет неоллибе-*

⁶ Об этом я писал несколько раз: см. «Die zwei Welten», *Neue Schweizer Rundschau*, April, 1948 и «Communion réelle et communisme», *L'Age Nouveau*, Oct. 1951.

См. также: проф. Б. Петров, «Философская нищета марксизма», гл. 55 «Трагедия индустриализма».

рамым, ибо он включит в себя и хозяйственную демократию, и привлечение рабочих к управлению, и частичное планирование и, вероятно, частичное обобществление. Нет, именно поэтому и в силу принятия хозяйственной демократии и всех этих мер, этот строй должен быть назван *неолиберальным* в отличие от старого классического либерализма с его *laissez faire*.

Наконец еще одно «возражение», которое повторяет мой собственный тезис и следовательно представляет собою ценное для меня подтверждение. Проф. Тимашев пишет: «зло, которое Вышеславцев усматривает в промышленной культуре в обоих ее вариантах, конечно, существует, но это зло стародавнее, на каждой стадии культуры принимающее новые формы». Совершенно верно, я даже утверждаю, что это зло вечное, но в истории оно действительно принимает разные формы. В наше время оно облекается в формы индустриализма и технократии. И я считаю, что то изображение этой новой формы зла, которое дано в моей книге, исторически верно (см. стр. 341-342 и гл. 16). Если проф. Тимашев думает, что нужно защищать от меня технику, индустрию, промышленную цивилизацию, то это большое недоразумение. Романтическое отрицание технической цивилизации в духе Руссо, Толстого, Рескина мне совершенно чуждо. В своем введении я исхожу из признания высокой ценности того, что дала человечеству индустриальная революция (см. стр. 11-14). Научная техника с ее изобретениями — для меня высокое выражение творческого духа человека, «огонь с неба»; никакое сознательное движение назад здесь невозможно. Меня можно упрекнуть лишь в том, что я слишком подчеркиваю трагедию скованного Прометея. Но для меня прославлять ценность науки, техники и изобретения — значит ломиться в открытую дверь, настолько это самоочевидно. Проблема заключается в осознании обратного действия этих ценностей, т. е. того, что я называю имманентным злом индустриализма. Проф. Тимашев прямо признает существование этого зла и следовательно понимает проблему. Больше того, он понимает, что ее можно свести к соотношению *труда и творчества* в индустриальной культуре. Для меня ценно, что проф. Тимашев разделяет это противопоставление (так же как и Ласки) и понимает, что оно составляет исходный пункт и завершение моей книги.

Могут сказать, что мое изображение темных сторон ин-

дустриализма слишком пессимистично. Но я отнюдь не стою на позиции безнадежного пессимизма. Я верю в возможность решить эту антиномию индустриальной культуры, но считаю, что вера в неизбежный прямолинейный прогресс и всякий благодушный оптимизм мешают такому решению. А решение можно символически изобразить так: там, где Прометей еще не скован, он должен беречь и расширять свою свободу и понимать, кем и где куются ему цепи. Там же, где он уже скован, он должен сказать себе: мне нечего терять, кроме цепей, а приобрести я могу весь мир. Именно эту угрозу я хотел в своей книге изобразить и хотел указать, какие пути освобождения являются истинными и какие ложными. Истинным путем я считаю равнство права, автономии, свободы во всех областях, в том числе и в хозяйстве. Я назвал этот путь «неолиберализмом», так как не нашел лучшего названия, и я вовсе не знаю, как он будет практически и во всех деталях в будущем осуществляться, да и не верю в возможность подобного знания. Но мне ясно, что решение традиционного социализма является *ложным* и не дает никакого выхода из кризиса. Причину такого отношения к социализму проф. Тимашев указал вполне верно и в этом пункте он повидимому со мною согласен: исторически социализм отождествил себя с *обобществлением, в принципе полным*, средств производства; в этой плоскости десятилетиями велась борьба и шло обсуждение».

Перехожу теперь к статье М. Вишняка. Дискуссия, как ее понимает М. В. Вишняк, занимает среднее место между полемикой и научно-философским диалогом. При этом научный диалог, которым он начинает и кончает свою статью, мне приятен и интересен, так как касается сущности затронутых проблем; напротив, партийная полемика скучна и утомительна, и целиком состоит из суждений личного вкуса и настроения. Невозможно отвечать на такие упреки, как например: «в ней (в книге) множество дефектов. Она плохо организована... В ней много повторений... Автор пишет о том, что знает и чего не знает... Ссылки его часто случайны... Открывает уже открытую Америку. Книга мало оригинальна и тенденциозна». Однако, далее следует неожиданная похвала: «За всем тем и несмотря на вышесказанное, книга проф. Вышеславцева представляет интерес и заслуживает всяческого внимания... Она в живой и острой форме воскрешает вопросы, которые не переставали тревожить ум и совесть нескольких

поколений в России и в других странах мира». Именно это я конечно прежде всего и имел в виду: тревожить ум и совесть, но только не старыми вопросами, а вопросами будущей организации общества, вопросами преодоления современного кризиса, вопросами судьбы нашей культуры. Здесь нельзя открыть Америку; и, хотя я и думаю, что кое в чем я внес свое и новое, вопрос оригинальности сам по себе меня не интересует: как философ, я разделяю афоризм С. Н. Трубецкого: «дело не в оригинальности, а в истине». Повторения, как я убедился, совершенно необходимы и повидимому у меня недостаточны, так как я встречаюсь с непониманием основных идей книги и невниманием к приведенным мной доказательствам. Что я пишу о том «что знаю и чего не знаю» — этот упрек я принимаю, как похвалу. Сократ только и рассуждал о том, чего не знал, и кончал признанием неполноты и незавершенности своего знания. В своей книге я пишу о том, чего в конце концов еще *никто не знает*, ибо пока еще никто из «социалистов» не определил, чем в данную минуту является прошедший через кризис и обновленный социализм. И я очень благодарен М. Вишняку, который блестяще подтверждает эту мою мысль цитатой из Этли: «молодому поколению, выросшему в неприглядной атмосфере 20 века с двумя мировыми войнами... предстоит найти ответы на вопросы: куда отсюда итти дальше? Как сделать демократию действенной в обществе, в котором управляющая автократия (в моей терминологии: технократия) представляет возрастающую опасность?» Нельзя лучше выразить основную идею моей книги. И всё начало статьи М. Вишняка, приводящее цитаты из «Фабрианских очерков», есть ценное для меня подтверждение основных идей моей книги. Все эти цитаты я могу принять и подписать, начиная с первой: *«сейчас нет авторитетных учителей социализма»...*

Стараясь из полемической части статьи М. Вишняка извлечь что-либо существенное и принципиальное, я нахожу у моего критика две мысли: первая утверждает, что «я гляжу на весь социалистический мир сквозь узкое марксистское окошко». Я никак не могу признать это окошко узким; напротив, это широчайшие ворота, через которые уже давно идут самые влиятельные социал-демократические партии в самых различных странах, а главное, многие из этих партий постепенно поглощаются марксистским социал-коммунизмом. В настоящее время он ведет за собою Китай, обладает значи-

тельным большинством по сравнению с демократическими социалистами во Франции и Италии, подчиняет себе страны Восточной Европы и заставляет усиленно бороться с собою самую мощную индустриальную демократию. Этот социализм есть самый активный и самый действенный, поэтому ему я и уделяю наибольшее внимание. Нужно забыть историю социализма, от Платона до Маркса, Ленина и Сталина, чтобы утверждать, что авторитарный социализм не есть социализм.

Другое возражение такого же рода состоит в утверждении, что хозяйственная демократия есть требование социалистическое и в сущности прямо совпадает с социализмом. Нужно тоже игнорировать историю социалистических систем, чтобы это утверждать. Самая влиятельная система социализма прямо отрицает демократию. Никто из моих критиков не сосредоточил внимания на той главе, где я говорю об авторитетных представителях как социализма, так и либеральной демократии, которые утверждали несовместимость этих двух принципов, а между тем социал-демократизм должен опровергнуть их доводы, прежде чем утверждать тождество социализма и радикально проведенной демократии. М. Вишняк думает, что достаточно сослаться на то, что неосоциализм хочет, а старый социализм всегда хотел хозяйственной демократии, чтобы доказать, что последняя всецело принадлежит социализму, составляет его исконное «добро». Но это совершенно не так. Социализм хочет *социалистической* хозяйственной демократии, а неолиберализм такую демократию не признает и хочет *антисоциалистической* демократии. Беда в том, что «хозяйственная демократия» может означать вещи противоположные и несовместимые, совершенно так же, как либеральная демократия и «народная демократия». М. Вишняк на протяжении своей полемики не ставит вопроса о том, что такое хозяйственная демократия. Напротив, именно этот вопрос составляет центральную тему моей книги. Последние главы стремятся определить, что такое хозяйственная демократия, которую может и хочет утверждать неолиберализм. Кратко говоря, это такая демократия, которая исключает центрально управляемое плановое хозяйство, исключает всякий хозяйственный и политический *тоталитаризм* и утверждает свободный рынок, свободу торговли, товарное и денежное обращение, принимая и утверждая притом *частичное* планирование, *частичную* социализацию и национализацию и *частичное* ограничение хозяйственной автономии со стороны

суверенного, правового, демократического государства. Если неосоциализм примет такую хозяйственную демократию, то он совпадет с неолиберализмом, но перестанет быть социализмом, ибо *частичное* планирование и *частичные* социализация и национализация не есть социализм. Иначе пришлось бы утверждать, что в Соед. Штатах, Англии и других западных государствах уже давно существует социализм.

Конец статьи М. В. Вишняка доставил мне большое удовлетворение, как разговор с хорошо образованным юристом и политическим мыслителем, доводы которого я ценю и принимаю. Так, очень важно указание, что «замкнутые» профессиональные союзы рабочих, организованные автономно и демократически, могут во имя соблюдения своих интересов нарушать права и интересы громадного большинства населения (потребителей и налогоплательщиков), как это иногда имеет место в Соед. Штатах. Это было бы конечно нарушением принципа хозяйственной демократии, которая требует согласования прав и интересов всего населения. В этом случае, как и во всех случаях правонарушения и столкновения прав, супер-арбитром остается правовое демократическое государство. С этим я вполне согласен, как согласен и с утверждением, что «хозяйственная демократия» — лишь момент в общем оздоровлении и *укреплении политической демократии*. В этом смысле верховенство правового урегулирования, исходящего от государства, верховенство правовой либеральной демократии в отношении ко всем автономным союзам и внутригосударственным образованиям, я вполне принимаю и сам на этом настаиваю и точно это формулирую (см. стр. 259 и 296-298). Указание на мою нелюбовь к государству справедливо, пожалуй, в отношении к далекому прошлому, к 26-му году. От него у меня осталась лишь нелюбовь к так называемой «сильной власти». Но об этом смотри подробно в моей главе о демократии. Мне казалось, что эта глава могла бы особенно заинтересовать философствующего юриста, особенно антиномия власти и права, права и принуждения (стр. 235). Наконец, я вполне принимаю упрек, касающийся забвения очень ценных статей о правовом социализме моего уважаемого покойного коллеги С. Гессена, тем более, что они во многом подтверждают основные мысли моей книги, как на это указывает и сам М. Вишняк. К сожалению, я не мог здесь достать «Современных Записок», а цитировать на память то, что читал примерно 30 лет тому назад, конечно, не решился.

В комментариях М. Карповича для меня всего более ценно то, что он понял и оценил основную социально-философскую мысль книги: борьбу не с государством, а с *этатизмом* — борьбу во имя либерального правового государства; и он выразил эту мысль так, как я не мог бы лучше сделать: «более, чем когда-либо, в наш «жестокий век» нужен подлинный либерализм, который бы снова «восславил свободу». Вот почему я назвал такой этический пафос «неолиберализмом», а не социализмом.

Противоречие, на которое указывает М. Карпович, несомненно существует, но оно лежит не во мне, а в самом социализме: существует два социализма, взаимно уничтожающих друг друга и притом не только теоретически, но и реально. Что тотальная социализация и национализация есть подлинный социализм, как он утверждался на протяжении веков от Платона до Сен-Симона, Маркса, Энгельса и Ленина и утверждается сейчас самой влиятельной социалистической партией — отрицать невозможно; напротив, вполне возможно отрицать, что *частичная* национализация и *частичное* планирование, иначе говоря, государственно-частное хозяйство есть настоящий социализм; отрицать это даже необходимо, ибо иначе «социализмом» окажутся например старые русская и германская монархии, и весь современный свободный мир, начиная с США.

Значит существует только один подлинный социализм? Как же я могу признавать, что существует другой социализм? Но неосоциализм я считаю *неподлинным* социализмом; он избавился от традиционных предрассудков социализма, но еще не нашел своего пути. Я убежден, что в лучшем случае он совпадет с неолиберализмом и хозяйственной демократией; в худшем случае он будет поглощен коммунизмом.

Драгоценным подтверждением того пути, который я называю неолиберализмом и хозяйственной демократией, является «Декларация целей и задач демократического социализма», принятая новым Социалистическим Интернационалом на первом конгрессе во Франкфурте в июле 1951 г., которую приводит М. Карпович (пункты 3, 4, 5). Посмотрим, в чем состоят эти пункты, и что получилось бы в СССР, если бы там вдруг удалось осуществить эти «цели и задачи?» Указанные пункты требуют создания свободных муниципальных и областных, а также потребительных и производительных кооперативных обществ (пункт 4), а главное, требуют восстано-

ления *«частной собственности* в таких важных областях, как земледелие, ремесла, розничная торговля, равно как мелкая и средняя промышленность» (пункт 5). Каждый советский гражданин с полным основанием считал бы это решительной отменой социализма. Отсюда ясно, что я нисколько не боюсь частичного планирования и частичной национализации, наоборот, в хозяйственной демократии считаю то и другое иногда необходимым; бояться можно и должно лишь тоталитарного хозяйства в тоталитарном государстве.

Б. Вышеславцев

КОММЕНТАРИИ

1. Америка и ее союзники

Трудно быть оптимистом в наше время и очень легко, можно даже сказать — соблазнительно, прийти к самым пессимистическим выводам насчет всего, что происходит в мире. И всё же есть что-то в корне ошибочное, а главное — бесплодное, в том настроении глубокого уныния и чуть ли не паники, которое овладевает многими при каждой крупной неудаче свободного мира. Многочисленные Иеремии, оплакивающие всякую проигранную битву, как если бы она означала проигрыш войны, и столь же многочисленные Кассандры, настойчиво повторяющие свои предсказания о неизбежности конечной гибели, — делу свободы не помогают. Конечно, противопоставлять этому «официальный оптимизм» и, ради самоутешения, преуменьшать размеры неудач или серьезность опасности — было бы немногим лучше. Но стремиться, даже и в самые критические моменты, сохранить правильную перспективу в оценке происшедшего и в самой неудаче искать, прежде всего, стимул к дальнейшей борьбе — это долг не только тех, кто этой борьбой руководит. За судьбу свободного мира никто из нас не может снять с себя ответственности.

Нет нужды настаивать на серьезности того удара, который был нанесен свободному миру в Индокитае: это было не только военное, но и крупное дипломатическое поражение. Серьезность этого удара была увеличена тем, что отчасти уже само поражение было обусловлено разногласиями среди западных союзников, а в результате его — разногласия эти стали еще сильнее. И если, на короткое время, казалось можно было надеяться, что поражение в Азии будет компенсировано сплочением западных сил в Европе, то и этой надежде почти немедленно был нанесен удар — отказом Франции присоединиться к Европейскому Оборонительному Сообществу. Так, на протяжении нескольких недель обнаружилось достаточно глубокие трещины в отношениях между западными союзниками. Если в Женеве изолированной оказалась Америка, разошедшаяся и с Англией и с Францией по вопросам *азиатской* политики, то в Брюсселе и позднее, после вотума Французского Национального Собрания, произо-

шла изоляция Франции, *европейская* политика которой встретила сопротивление уже со стороны всех ее западных партнеров. Неудивительно поэтому, что, пройдя сквозь призму панических и пораженческих настроений, переживаемый западной коалицией кризис кое-кому кажется чуть ли не началом окончательного ее распада.

И вот, первое, что надо подчеркнуть в противовес такой беспросветно-пессимистической интерпретации, это то, что по существу в разногласиях между западными союзниками нет ничего радикально нового и неожиданного. Противоречия взглядов, настроений и интересов, на которых они основаны, существовали и раньше. Строго говоря, нельзя даже сказать, что только теперь они обнаружались; в печати свободных стран на них указывали и их обсуждали неоднократно. То, что мы наблюдаем сейчас, есть только их крайнее обострение — обострение, психологически вполне понятное, как результат только что понесенного военного и политического поражения. Такие противоречия неизбежны во всякой коалиции независимых и суверенных государств, — в доказательство этого утверждения можно было бы привести много исторических примеров.

Не ново и не неожиданно и то обострение анти-американских настроений, которое за последнее время можно было наблюдать в отдельных европейских странах. Силою обстоятельств и, надо признать, без достаточной к тому исторической подготовки, Америка оказалась в роли фактического гегемона анти-коммунистической коалиции, ее наиболее могущественным членом. При всей своей почетности такое положение не лишено отрицательных сторон для государства-гегемона, — и это тоже неоднократно обнаруживалось в историческом опыте. Когда всё идет более или менее благополучно, младшие союзники склонны подозревать своего старшего партнера в тенденции навязать им свою волю, в диктаторских замашках, в посягательстве на их независимость. В моменты кризисов, и особенно под влиянием понесенных коалицией поражений, на ведущую державу (как теперь принято у нас выражаться) возлагается главная, если не исключительная, ответственность: поражение приписывается *ее* ошибкам, *ее* недалекости, отсутствию *у нее* ясной и определенной политики.

Слов нет, в международной политике Соединенных Штатов, как при демократическом, так и при республиканском

режиме, можно найти достаточно материала для добросовестной критики, но не меньше такого материала найдется и в политике других главных участников западной коалиции. Как мне уже приходилось указывать, многое во взаимном непонимании и взаимных обвинениях, в отношениях между Америкой и европейскими странами, коренится в разнице национальных темпераментов, в различном традиционном подходе к внешне-политическим проблемам, как и в различном способе выражения политических идей и эмоций, и может быть больше всего — в различном историческом, в том числе и очень недавнем, опыте. Во время последней войны Америке не пришлось пережить ни вражеской оккупации, ни кошмара почти непрерывных воздушных бомбардировок, как не пришлось ей испытать и в послевоенное время такого обострения внутренне-политических, социальных и экономических проблем, как то, которое выпало на долю неизмеримо более потрясенных войной европейских стран. Да и географическое ее положение не дает Америке чувствовать того почти физического ощущения давления со стороны коммунистического блока, которое повидимому оказывает сейчас такое сильное влияние на психологию широких кругов европейского общества. Эта европейская психология вполне понятна, и совсем скинуть со счетов ее нельзя, и всё-таки повторю здесь то, что я писал уже раньше: политика бóльшего страха не есть еще непременно политика бóльшей мудрости.

При всех недочетах американской политики, и в частности при всех *тактических* ошибках, сделанных американской дипломатией в ее подходе к европейским союзникам¹, не будет

¹ Недочеты и ошибки эти открыто признаются и многими американцами, начиная с ответственных руководителей американской политики. В свое время я цитировал на страницах «Нового Журнала» заявление генерала Маршалла, бывшего тогда государственным секретарем, об исторической неподготовленности Америки к выпавшей на ее долю роли руководящей мировой державы. Недавно приблизительно такое же признание было сделано и президентом Айзенхауэром. Суровая критика всей внешней политики Америки (начиная с конца 19-го века) была дана в сравнительно недавней книге Джорджа Кеннана, бывшего американского посла в Москве. Недостатка самокритики в Америке нет. Самодовольная и самовлюбленная Америка есть один из мифов, созданных в Европе.

всё же преувеличением сказать, что в целом Америка проявляет сейчас большее понимание европейской психологии и большую терпимость по отношению к ней, чем европейцы — по отношению к Америке. Помимо ее действительных промахов, на Америку сейчас валят то, в чем она неповинна. Усилиями особенно ревностных, и часто яростных, анти-американцев создается, например, такая картина, согласно которой и инициатива «холодной войны» принадлежала одной Америке, и проект создания Европейской Армии был результатом американской «интриги». Выходит так, что Америка, для достижения своих собственных целей и не считаясь с желаниями европейских союзников, чуть ли не дубиной вгоняла их в Европейское Оборонительное Сообщество. Я не говорю уже о том, что подобная конструкция совершенно игнорирует те повторные акты коммунистической агрессии, которые в конце концов, после довольно долгого периода колебаний и нерешительности, заставили Америку перейти к политике более активной обороны — к этому я еще вернусь ниже. Но даже если и оставаться в пределах западных международных отношений, то и тогда конструкция эта оказывается в полном противоречии с казалось бы достаточно известными фактами. Не какой-нибудь американский государственный деятель, а Черчилль первый забил тревогу, указывая на возросшую после войны коммунистическую опасность, и первый определенно заговорил о необходимости организовать общую против нее оборону. Речь эта, произнесенная Черчиллем на американской почве, в безмолвном присутствии президента Трумана, вызвала тогда в американцах смешанные чувства, и целью ее несомненно было побудить Америку к более решительному образу действий. И опять же не какой-нибудь американский государственный деятель, а тот же Черчилль был тогда главным — и очень красноречивым — проводником идеи европейского единства, чуть ли не в форме постоянной европейской федерации. Не так уж много времени прошло с тех пор, но об этом сейчас европейские критики Америки как будто забыли. Забыли они как будто и о том, что более конкретные предложения, — и об экономическом объединении Европы, и даже об общеевропейской армии, — были французского, а не американского происхождения, и были американцами лишь поддержаны.

Не больше фактической правды и в представлении об Америке, как о стране, проникнутой воинственным настрое-

нием и то и дело бряцающей оружием (если только можно «бряцать» атомными и водородными бомбами) — представлении, повидимому довольно широко распространенном в сегодняшней Европе. Эта картина Америки, стремящейся вовлечь европейские страны, против их воли и желания, в новую мировую войну, есть продукт того же мифотворчества. Не только для нас, в Америке живущих и повседневно ее наблюдающих, но и для всех европейцев, сколько-нибудь внимательно следящих за американской жизнью, ложность этого представления должна была бы быть совершенно ясна. Против нее говорит вся история последних десятилетий (в частности, история вступления Америки в первую и вторую мировые войны), вся психология американцев, весь глубоко-гражданский характер страны, все особенности ее конституционного устройства. Есть и более прямые опровержения этого мифа — не только в декларациях ответственных руководителей американской внешней политики, но и в конкретных ее выражениях. Но как-то получается так, что личные выступления отдельных политиков и будирующих генералов или предвыборные лозунги стремящейся вернуться к власти партии² получают в Европе бóльший резонанс, чем правительственные декларации и дипломатические действия.

Впрочем происходит это повидимому не в одной Европе. Недавно вашингтонский корреспондент «Нью Йорк Таймса», известный журналист Рестон, комментируя приезд в Америку южно-корейского президента Ри и постигшее его здесь разочарование, указывал, как на главную ошибку Ри, на то, что он принимал «громкие слова» и выступления экстремистов за подлинное выражение американской политики. Ри несомненно пользуется в Америке некоторой популярностью

² Я имею в виду, конечно, лозунг «освобождения» подчиненных коммунистической диктатуре народов, выдвинутый республиканцами во время избирательной кампании 1952 года. В своих «Комментариях», напечатанных в кн. 32-й «Нового Журнала» (март 1953 г.), я утверждал, что никакой резкой перемены во внешней политике Соединенных Штатов ожидать нельзя и предупреждал против иллюзии близости анти-коммунистического «крестового похода». В этом своем предвидении я оказался прав — настолько же прав, насколько я ошибся в другом своем предсказании: что при республиканской администрации роль сенатора Мак-Карти окажется менее значительной.

и он был встречен здесь с большой теплотой и симпатией. Но когда в своем выступлении перед общим собранием обеих палат Конгресса он фактически призвал Америку к немедленной превентивной войне против Китая, этот его призыв был встречен, по выражению Рестона, «оглушительным молчанием». В такой же вежливой, но в то же время решительной форме, инициатива Ри была отвергнута и Американским Правительством. Не встретила она сочувствия и в общественном мнении, если судить по реакции большинства влиятельных органов печати. Рестон напоминает, что первым внешне-политическим действием республиканской администрации было прекращение Корейской войны. По мнению многих американских комментаторов, обещание Айзенхауэра эту войну прекратить сыграло едва ли не главную роль в его решительной победе в избирательной борьбе — во всяком случае, большую, чем обещание более активной анти-коммунистической политики. Об этом возможны споры, но во всяком случае несомненно, что перспектива возобновления Корейской войны, да еще в увеличенном масштабе, никакого энтузиазма со стороны американцев вызвать не может. По словам Рестона, Ри игнорировал тот факт, что правительство Айзенхауэра есть «действительно консервативное правительство (в данном случае, консервативное в вопросах внешней политики *М. К.*), возглавляемое определенно невоинственным человеком». Рестон заканчивает свою статью фразой, обращенной уже к европейцам: «Ничто не может быть более неточным, чем европейское представление об Америке, как о своевольной и бесшабашной (*reckless*) нации, лезущей в драку. Президент Айзенхауэр — человек крайне осторожный, и он не склонен к авантюрам. Он непреклонен в своем стремлении избежать большой войны, кто бы ни кричал по его адресу о Мюнхене и капитуляции».

Вскоре после визита Ри, во время одной из периодических бесед президента Айзенхауэра с представителями печати, один из корреспондентов спросил его, что он думает об идее превентивной войны против коммунистического блока. Можно надеяться, что ответ президента сохранился в памяти читавших его в газетах, американских и европейских. Но он настолько характерен и значителен, что не мешает о нем напомнить. «Превентивная война, — сказал президент, — если вообще эти слова имеют какое-либо значение, может означать только своего рода полицейское действие, имеющее

целью предупредить ужасы разрушительного взрыва в дальнейшем». Если это так, то превентивная война в эпоху водородных бомб вообще невозможна; в первые же дни любой войны произойдет превращение в груды развалин больших городов, убийство и искалечение многих и многих тысяч людей. Это будет не превентивная война, а просто война. Президент заключил свой ответ рядом коротких фраз, одна решительнее другой: «Он не верит в самое существование такой вещи (как превентивная война *М. К.*)... Он не станет даже слушать кого бы то ни было, кто стал бы ему говорить об этом... Термин этот сам по себе бессмыслен... В настоящих условиях это настолько немыслимо, что он не видит никакой нужды в том, чтобы продолжать об этом разговор»³. Точка — как говорят в таких случаях американцы.

Я не знаю, с какой полнотой и как широко это заявление президента Айзенхауэра было оглашено в европейской печати и привлекло ли оно к себе столько внимания, сколько оно заслуживает. Признаюсь, что особых иллюзий на этот счет у меня не имеется. Два года тому назад, когда мне довелось провести восемь месяцев в Европе, я был поражен той неполнотой и часто односторонностью информации об Америке, которую я нашел даже в лучших органах европейской прессы, в том числе и английской. И обратно, только вернувшись в Америку из Европы, я ощутил, до какой степени и американская пресса в общем не дает достаточно полной и верной картины европейской жизни и европейских настроений. А за этим встает другой вопрос: в какой мере до среднего американца, с одной стороны, и до среднего европейца с другой, по-настоящему доходит даже и та информация, которая им доступна? Мы живем в такое время, когда международные отношения фактически доминируют над многими вопросами внутренней жизни любой страны, — когда первые в значительно большей мере определяют последние, чем обратно. И тем не менее, в течение многих недель, — тех самых, когда быстро назревал теперешний международный кризис, — чуть ли не бо́льшая часть населения Америки часами сидела перед аппаратами телевидения, жадно следя за всеми перипетиями борьбы сенатора Мак-Карти с военным ведом-

³ По установленному обычаю, слова президента, сказанные им в этих полу-формальных беседах, передаются в третьем лице, как резюме — не как прямая цитата.

ством, в центре которой стоял вопрос о судьбе абсолютно незначительного молодого человека, незаслуживавшего и пяти минут внимания. Сильно подозреваю, что в то же самое время и подавляющее большинство населения европейских стран было гораздо больше заинтересовано важными и неважными проблемами их внутренней жизни, чем какими бы то ни было событиями на международном фронте. Так вероятно бывало всегда, но не всегда мир был в таком положении, в каком он находится сейчас. Получается кричащее противоречие между фактическим единством мира, в смысле небывалой до сих пор взаимосвязанности всех без исключения отдельных его частей, и его психологической разъединенностью — даже в пределах американо-европейской его части.

Это наблюдение приводит меня к одной чрезвычайно важной стороне вопроса о разногласиях между западными союзниками, которой, как мне кажется, не всегда уделяют достаточно внимания. Это, конечно, не пресловутая экономическая база, якобы лежащая в основе всех противоречивых интересов, сталкивающих между собой капиталистические страны, как это утверждает коммунистическая доктрина. Экономические вопросы несомненно играют немаловажную роль в недоразумениях между западными союзниками, но в конечном счете не они являются главным препятствием на пути к соглашению, не ими определяется эмоциональная сила и острота разногласий, так явственно вышедших сейчас наружу. Гораздо большее и гораздо более действенное значение имеют эмоции другого, неэкономического порядка. Это эмоции, связанные с обострившимся национальным чувством, часто принимающим форму исключительного и болезненно-напряженного национализма. Национализм этот является фактором большой силы, может быть даже преобладающим фактором, в европейском анти-американизме наших дней. Не случайно националистические лозунги занимают сейчас такое большое, можно сказать — центральное, место в коммунистической пропаганде не только в Азии, но и в таких европейских странах как Франция, Германия и Италия. Коммунисты не стали бы выступать в качестве пламенных патриотов, защитников национальной независимости и суверенности, если бы они не знали, что эти лозунги найдут сейчас гораздо более быстрый и широкий отклик в массах, чем какие-либо другие. В разных странах этот послевоенный национализм принимает разные конкретные формы, но суть его везде остается та же. Во

Франции, например, к анти-американизму присоединяется — и вероятно даже превосходит его по эмоциональной своей силе — традиционная вражда к немцам, естественно обострившаяся после трагического опыта последней войны. Чувство это вполне понятно и психологически законно, но от этого оно не становится более разумным с точки зрения политической целесообразности. Страна, когда-то гордившаяся своим обще-европейским значением, как будто готова пожертвовать европейским единством из-за вражды к немцам. Показательно и то, что кличка «европейцев» дана сейчас во Франции сторонникам проекта обще-европейской армии, и то, что в Национальном Собрании проект этот был провален, в первую очередь, «нечестивым союзом»⁴ коммунистов и голлистов.

В Америке для такой острой вражды к немцам почвы нет. Здесь обострившийся в некоторых кругах национализм принимает форму «нео-изоляционизма». Подновленный лозунг «Америка — прежде всего» соединяется с лозунгом «Америка сама по себе». В этой среде резко враждебную реакцию вызывают не только мечты о «мировом правительстве», не только поддержка Объединенных Наций (и то и другое квалифицируется как измена принципам чистого «американизма»), но и вся официальная политика тесного союза с европейскими странами, объявленная подозрительной по части «интернационализма». В этом отношении Айзенхауэр для этих «нео-изоляционистов» немногим лучше Рузвельта. Во всякой попытке активной международной кооперации они готовы видеть непосредственную угрозу национальной независимости и государственному суверенитету Соединенных Штатов — и результат иностранной интриги. Возрождается застарелое недоверие к странам «Старого мира», стремящимся вовлечь Америку в свои распри, использовать ее помощь в своекорыстных целях — с тем, чтобы потом отплатить ей черной неблагодарностью. Так навстречу волне европейского анти-американизма идет волна американского анти-европеизма. Насколько можно судить отсюда, пока что первая значительно превышает последнюю. Но беда заключается в том, что на-

⁴ «The Unholy Alliance» — англо-американское выражение, образованное вероятно по аналогии с «The Holy Alliance» (Священный Союз), а может быть и для выражения отрицательного отношения к последнему.

ционалистические эмоции отдельных стран неизбежно питают и усиливают одна другую. Это одна из их отличительных и самых пагубных черт.

Неслучайно именно в среде американских националистов можно найти самых яростных сторонников и поклонников сенатора Мак-Карти. В одном из своих аспектов, Мак-Картизм тоже есть проявление американского «нео-изоляционизма». В погоне за домашними коммунистами он упускает из виду неизмеримо более важные международные стороны борьбы с коммунизмом, отвлекает внимание страны от последних, а своими методами фактически причиняет урон международному престижу и влиянию Америки. В сознании многих маккартистов коммунизм суживается до размеров импортированного из-за границы «изма» (наряду с социализмом и даже либерализмом — в том специфическом американском понимании этого последнего слова, в котором оно становится синонимом социально-экономического радикализма), а борьба с ним сводится к чисто полицейской акции. Попутно идет кампания против поощряющих эти иностранные «измы» «безродных космополитов» из числа «интеллектуалов». И всё это делается во имя защиты «американизма» (этот «изм», конечно, не чета другим), во имя американской демократии, понимаемой при этом, как раз навсегда данная и неподлежащая изменению, специфически национальная форма общественного бытия. Нечего и говорить, что ведется эта «борьба за демократию» не в демократическом духе и не демократическими методами. На гораздо более высоком, моральном и интеллектуальном, уровне стоят такие явления, как, например, защищаемая бывшим президентом Хувером военно-политическая стратегия: создание из Америки своего рода крепости («Fortress America»), оазиса неущербленной, сильной и процветающей демократии, которая служила бы маяком для блуждающего в потемках остального мира. К сожалению, концепция Хувера тоже отчасти вдохновлена «нео-изоляционистскими» настроениями и, в свою очередь, может содействовать их усилению. Это всё-таки нечто вроде идеи «демократии в одной стране».

Как серьезны ни были бы, однако, все указанные мною препятствия на пути к достижению полного и прочного соглашения между западными союзниками, нет никаких оснований считать их непреодолимыми. О неминуемом распаде коалиции свободного мира говорить отнюдь не приходится.

Наряду с факторами, ведущими к разногласию и разъединению, существуют и факторы протовоположного характера — и в конечном счете их надо признать более могущественными. Не все из этих положительных факторов дают сейчас себя знать с достаточной силой, далеко не все имеющиеся у свободного мира возможности использованы, не все объединительные тенденции мобилизованы. Мешающий объединению национализм, о котором я говорил выше, не является еще доминирующей силой ни в Америке, ни в Европе. Значение его не надо преуменьшать, но его легко и преувеличить. Как всякое экстремистское течение, этот национализм проявляет себя шумно и с большой напористостью и тем самым создает иллюзию большего удельного веса, чем тот которым он на самом деле обладает. Во всех странах западного мира есть противоборствующие ему элементы, есть многочисленные сторонники единства и соглашения, и во многих из этих стран они составляют внушительное большинство. Активизация этого большинства есть одна из очередных задач руководителей общественного мнения в странах западной коалиции. Задача эта ни в какой мере не утопична — прежде всего потому, что за призывом к объединению будет стоять многовековой исторический опыт, в основах своих общий для всех народов свободного мира. Вопреки всем рассуждениям о наступившем конце западной цивилизации, то, что получило это в сущности условное и географически неточное название⁵, продолжает быть живой и действенной традицией, вошедшей в плоть и кровь выросших на ней народов. Это бытовое и духовное единство, не всегда сознаваемое и часто затемняемое столкновением противоречивых интересов и эмоций, остается тем не менее реальной исторической силой — и прочной базой для совместных политических действий. Сколько бы европейцы ни спорили друг с другом, они не переста-

⁵ В пояснение этой оговорки хочу подчеркнуть, что если я в этой статье говорю только о культурно-историческом единстве западных стран, я отнюдь не признаю за ними ни исключительного авторского права, ни монополии на те духовные ценности, которые обычно объединяются в понятии западной культурной традиции. В этом смысле «Запад» нужно противопоставлять не «Востоку», а тоталитаризму с его анти-культурой. Но нельзя отрицать, конечно, некоторого общего всем западным странам бытового, и отчасти психологического, своеобразия.

нут — все одинаково — быть европейцами. И какие бы разногласия ни разделяли Америку с той или иной европейской страной, можно быть уверенным, что всякий европейский анти-американец или нейтралит почуствовал бы себя дома в Америке в неизмеримо большей степени, чем в Советском Союзе или в любой из «народных демократий».

Эти исторические предпосылки западного единства в какой-то мере несомненно облегчают задачу государственных деятелей свободных стран, ищущих путей к соглашению. Но еще большее значение имеют, конечно, те объективные обстоятельства, в которых им сейчас приходится действовать. Союз западных стран, как он сложился после второй мировой войны, не был ничьей произвольной выдумкой. Он сложился как естественный результат обнаружившейся почти сейчас же после войны новой и грозной опасности. Другого пути для самозащиты у западного мира не было — нет его и сейчас. Ничто по существу не изменилось. Общая угроза всему свободному миру не только не перестала существовать, но, в результате понесенных западными странами поражений, еще усилилась — и источник ее остался всё тот же. Пусть идея создания Европейского Оборонительного Сообщества оказалась сейчас неосуществимой, а военные действия в Корее и Индокитае не привели к желательным результатам. Основные задачи и в Европе и в Азии остались те же, и надо только искать новых путей к их разрешению. И мы видим, что ответственные представители союзных стран, разошедшихся между собой по вопросам *тактического* характера, в основной *стратегической* задаче разногласия сейчас не проявляют. Поскольку речь идет о совместной обороне против коммунистической агрессии, необходимость ее никто из них не отрицает. Во Франции Мандес-Франс публично отгородился от нейтрализма и признал необходимость не только сохранения Атлантического Союза, но и вооружения Западной Германии. В Англии Черчилль, не меньше американского правительства, озабочен вопросом о защите юговосточной Азии и вообще рекомендует «строжайшую бдительность», — конечно, не только психологическую. Да и руководимое Аттли крыло рабочей партии в общем стоит на той же точке зрения.

«Новая эра» всеобщего замирения, к сожалению, всё еще «впереди и не близко» — и не по вине западных стран. То, что мы сейчас наблюдаем, радикального изменения в международном положении не означает. Это просто новый этап в

развитии всё той же, вот уже около десятилетия идущей, борьбы⁶.

2. «О сосуществовании»

За последнее время, в связи с переживаемым западной дипломатией кризисом, вопрос о сосуществовании свободного мира и мира коммунистического стал предметом более оживленного обсуждения чем раньше — и не только в американской и европейской прессе, но и среди русской эмиграции: я имею в виду, в частности, печатные выступления Е. Д. Кусковой и С. М. Соловейчика.

Для Е. Д. Кусковой «новый этап» связывается повидимому с иными представлениями, чем те, которые я в эти слова вкладываю. По крайней мере, в недавней своей статье она, хоть и с вопросительным знаком, отождествляет его именно с переходом к политике сосуществования⁷. Первый вопрос, который возникает сам собою, есть вопрос о новизне сосуществования. Не есть ли этот термин прежде всего констатирование самоочевидного и неоспоримого факта? В продолжение почти че-

⁶ Я только что имел возможность ознакомиться с текстом статьи о европейских настроениях, написанной для американского журнала *Bulletin of the Atomic Scientists* его редактором, Е. И. Рабиновичем. В этой статье Е. И. Рабинович, недавно вернувшийся из поездки в Европу, объясняет различие между европейским и американским отношением к коммунистической опасности — не большим, а меньшим страхом европейцев перед последней. В этом он видит результат сильнейшего тяготения европейских народов к нормальному мирному существованию, вера в достижимость которого возрастает по мере относительной стабилизации европейской жизни. Отсюда — и враждебная настороженность ко всему, что кажется излишне импульсивным в американской политике, и своеобразное удовольствие, получаемое от большей чем раньше возможности утверждать свою независимость от Америки. Не думаю, чтобы интерпретация Е. И. Рабиновича находилась в непримиримом противоречии с моими выводами. Американцы не менее европейцев ценят все блага мирной жизни и не менее европейцев отталкиваются от мысли о войне, но, в силу указанных мною причин, в Европе эти чувства должны быть гораздо более напряженными. Чрезвычайно интересная статья Е. И. Рабиновича появится в октябрьском номере названного мною журнала.

⁷ «Новый этап?», «Новое Русское Слово», 29.VIII-1954.

тырех десятилетий советский коммунизм и западная демократия, как на это указывает и С. М. Соловейчик, были вынуждены сосуществовать друг с другом — по той простой причине, что пока что ни одна из сторон не могла положить конец существованию своего антагониста. Вероятно имея в виду именно этот общеизвестный факт, Е. Д. Кускова прибавляет, что на этот раз это должно быть «не пассивное, а активное» сосуществование. Понятие «активного сосуществования» она раскрывает при этом следующим образом: «торговля, культурные отношения, конференции, компромиссы». Но и здесь с неизбежностью встает тот же самый вопрос: что же и в этом нового? Правда, в первые годы после возникновения советского режима такого активного сосуществования не было. Да едва ли оно и могло быть в условиях того времени, когда внешняя политика советской власти вдохновлялась ожиданием непосредственной социальной революции на западе, а западные союзники, с гораздо меньшей убежденностью и гораздо меньшим динамизмом, организовывали свою половинчатую и уже тем самым обреченную на неудачу военную интервенцию. Но разве с начала двадцатых годов, в связи с радикальным изменением всего положения, не наступил новый этап, который и был этапом активного сосуществования, как это последнее определяется Е. Д. Кусковой? Было именно всё то, на что она указывает, как на желательное в данный момент: и торговля, и конференции, и компромиссы. Были и культурные отношения — в той мере, в какой они допускались советской властью, и до тех пор, пока они ею допускались. И в этом активном сосуществовании западный мир был несомненно более активным, нежели его восточный партнер. Можно сказать, что западный мир тянулся к сосуществованию с Советской Россией, цепляясь за каждую открывавшуюся в этом направлении возможность, а иногда и создавая для себя иллюзии возможностей, каких на самом деле не было. Не в этом ли была психологическая основа неоправданно оптимистической интерпретации отдельных фаз советской политики: Нэпа, «социализма в одной стране», «единого фронта» против фашизма, сталинской конституции, даже «чистки» 30-х годов (позднее — «советского национализма», «признания» церкви, роспуска Коминтерна)?

Всё это было не настолько давно, чтобы об этом опыте легко можно было забыть. Еще труднее забыть о том, что за ним последовало. Не сознательная воля обеих сторон, а ход событий привел западные демократии и Советскую Россию к

военному сотрудничеству во время второй мировой войны. Но если для западной стороны — включая Америку, а может быть даже в особенности для Америки — это военное сотрудничество явилось сильнейшим стимулом к вере в возможность кооперации с Советской Россией в послевоенный период, для советской власти война открывала перспективы революционной экспансии, которая уже сама по себе исключала всякую возможность мирного сосуществования с «капиталистическими странами». В то время как западные участники коалиции вели только вооруженную борьбу против общего врага, Сталин, наряду с этой борьбой, вел еще другую войну: политическую войну против своих же собственных союзников. Теперь, в исторической перспективе, стало совершенно ясно, что еще во время войны советская власть уже вырабатывала планы и готовила кадры для подчинения коммунистической диктатуре Восточной Европы, с одной стороны, и Дальнего Востока, с другой. И так же ясно, что западные союзники не только не отдавали себе в этом ясного отчета, но и вообще не согласовали своей военной стратегии с какими бы то ни было определенными политическими целями, имеющими в виду послевоенное устройство мира. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть хотя бы последний (шестой) том военных мемуаров Черчилля. В нем Черчилль, — кстати сказать, и сам спохватившийся только после того, как многие позиции были уже потеряны, — не без некоторого раздражения рассказывает о том, как американские государственные деятели (Рузвельт и Труман одинаково) и военачальники (включая Айзенхауэра) сопротивлялись внесению «политики» в военную стратегию — и в частности, его совету «обменяться рукопожатием» с советским союзником «возможно дальше к востоку».

На убеждении в возможности сосуществования была построена и послевоенная политика западных стран и в первую очередь — Америки: на нем был основан весь замысел Объединенных Наций. Активное сосуществование — опять-таки согласно данному Е. Д. Кусковой определению, — было в полном ходу: конференция следовала за конференцией, и компромиссов было более чем достаточно. Не вина западных партнеров, что это сосуществование прогрессивно становилось менее мирным и постепенно заменялось тем, что получило не очень удачное название «холодной войны» — «холодный мир», я думаю, был бы здесь более точным термином. Пере-

числять еще раз те акты советской политики, которые привели к этой перемене, представляется мне излишним. Укажу только, что и политика «сдерживания» (containment) коммунистической агрессии тоже была основана на идее «сосуществования»: речь шла не о том, чтобы уничтожить советский коммунизм военным ударом, а о том, чтобы удержать его в тех пределах, которых он уже достиг к тому моменту — в надежде на эволюционное его перерождение или его крушение в результате внутренней революции⁸. С этой точки зрения, ни Корейская война, ни война в Индокитае не противоречили концепции «сдерживания», поскольку они были вызваны новыми актами коммунистической агрессии — не только политической, но и военной. Повторяю еще раз, что при всей разнице в фразеологии и тактике я не вижу ничего существенно нового во внешней политике Америки при теперешнем республиканском правительстве.

При моем убеждении, что ни Америка, ни западный мир в целом не начнут войны против Советского Союза по своему почину, формулированная Е. Д. Кусковой альтернатива — «сосуществование или война» — лишена в моих глазах реального значения. Вопрос для меня ставится иначе: какого рода сосуществование? Нужно ли говорить, что та форма сосуществования, которую мы наблюдаем сейчас, — сосуществование во взаимном напряжении, — является глубоко ненормальной и трудно переносимой. Но в настоящих условиях нормальное мирное сосуществование — не дано. И не только в силу отдельных актов советской политики, но и в силу самой природы тоталитарного коммунистического режима. Если бы в девятнадцатом веке или в начале этого века кто-либо поднял вопрос о возможности сосуществования государств с различным политическим и социально-экономическим строем и с различной идеологией, то его слушатели просто не поняли бы, о чем он говорит. Войны тогда велись по конкретным поводам и ради достижения конкретных целей, и они не имели в виду уничтожения противника — или пересоздания его по своему образу и подобию. И в мирное время дипломатия занималась теми же конкретными проблемами, а не идеологией или вопросами политической и социально-экономической перестройки других государств. Государства с самыми различными по-

⁸ Это совершенно ясно выражено в писаниях фактического автора политики «сдерживания», Джорджа Кеннана.

рядками и идеологиями (поскольку у тогдашних государств вообще могла быть идеология) существовали в одном и том же мире и общались друг с другом, не создавая тем самым никаких проблем. Это позволяло дипломатии того времени оставаться идеологически и даже морально нейтральной. В свое время Ллойд-Джорджа упрекали в цинизме за его нашумевшую фразу о том, что торговать можно и с канибалами. На самом деле он оставался в пределах вполне почтенной дипломатической традиции. На его месте я пошел бы дальше и сказал бы, что с канибалами можно иметь и дипломатические сношения, — но лишь при одном условии: если принять все меры предосторожности, чтобы не быть ими съеденными.

В этом-то и заключается суть дела. Проблема сосуществования не могла возникнуть до тех пор, пока в мире не появилась новая и грозная сила — сила тоталитарного государства, получившая свое наиболее законченное и наиболее динамичное выражение в советской коммунистической диктатуре. Это она внесла в политику «идеологию», а в международные отношения — дух и приемы гражданской войны. Она же заставила свободные страны мира бояться за основы своего не только материального, но и духовного бытия, и вынудила их перейти к таким формам международной борьбы, которые им совершенно не были свойственны. Для того, чтобы это положение изменилось, для того, чтобы сосуществование перестало быть проблемой и снова сделалось только само собой разумеющимся фактом, — иными словами, для того, чтобы теперешнее напряжение исчезло из мира, нужно чтобы прекратилось давление на него этой силы. До тех же пор задачей западного мира может быть лишь возможно более успешное ему противодействие.

В этом выводе я как-будто схожусь с С. М. Соловейчиком. Я имею в виду общую его концепцию, как она выражена в его последней статье⁹. Категорически отрицая войну, как выход из создавшегося в мире положения и в этом смысле принимая сосуществование, он вместе с тем подчеркивает, что такое принятие не означает прекращения борьбы демократии против коммунизма. Для него оно «не есть ни капитуляция, ни отказ от строжайшей бдительности, ни разоружение физическое или моральное». Иными словами, и цели и даже основные методы борьбы — для западного мира остаются теми же

⁹ «Сосуществование или...?», «Новое Русское Слово», 5.IX.1954.

самыми. В одном месте своей статьи С. М. Соловейчик так и говорит, что сосуществование есть не что иное, как продолжение «холодной войны». Если оставаться в пределах данной его статьи, желательные для него перемены сводятся в сущности к изменению духа и содержания западной (и в особенности американской) пропаганды. Она должна быть изменена так, чтобы агрессивный по самой своей природе коммунистический режим потерял возможность выступать в роли проповедника мира. Инициатива борьбы за мир должна быть вырвана из его рук и перенята свободными демократическими странами, для которых всеобщий мир есть не «пропагандный маневр», а одинаково и условие и цель их существования. Когда С. М. Соловейчик говорит при этом о необходимости отказа от лозунга «войны до победного конца», я воспринимаю это как указание, имеющее в виду угрозу военными действиями, а не как примирение с разделом мира между свободой и деспотизмом. Последняя интерпретация противоречила бы и всему духу его статьи, и, в частности, его словам о недопустимости «морального разоружения». Если я правильно его понимаю, у меня нет с ним существенных разногласий.

Не знаю, удовлетворит ли такая постановка вопроса Е. Д. Кускову. Боюсь, что она покажется ей недостаточно «активной» — не идущей достаточно далеко в сторону замирения. Но признаюсь, что в ее статье я не нашел никаких объективных данных, которые позволяли бы надеяться на ослабление мирового напряжения в сколько-нибудь близком будущем. Кажется, и Е. Д. согласна, что это зависит прежде всего от советской власти. Я нисколько не сомневаюсь в том, что русский народ так же жаждет полного и прочного мира, как и все остальные народы. Готов я поверить и тому, что в настоящий момент советское правительство войны тоже не хочет — потому ли, что оно не уверено в победе и не может идти на риск поражения, потому ли, что ему приходится считаться со страхом войны в населении, или наконец потому, что пока что оно и без войны может добиваться значительных успехов в международной борьбе. Но поскольку агрессивная политика вытекает из самой его природы — безразлично, вдохновляется ли эта политика идеей мировой революции, своеобразным «советским национализмом» или просто внутренней логикой тоталитарного режима, — «миролюбию» его цена небольшая. Пока у советской России с ее наличной и

потенциальной вооруженной силой и с международным аппаратом, созданным на предмет гражданской войны в мировом масштабе, остается возможность захватывать новые позиции и в Европе, и в Азии, — никакой другой политики, кроме «строжайшей бдительности» и возможного укрепления своей обороны у свободного мира быть не может.

Нет никаких данных и для того, чтобы утверждать наличие у преемников Сталина какого-либо нового внешне-политического курса. В западном скептицизме по этому вопросу нет ничего предвзятого. Скорее приходится удивляться тому, с каким трагикомическим вниманием, продиктованным всё той же тягой к мирному сосуществованию, отмечались в западной прессе в течение последнего года такие «события», как появление советских чиновников с женами на вечере в американском посольстве в Москве, более вежливый тон Вышинского в заседаниях Объединенных Наций и Молотова на Женевской конференции или непривычные улыбки, появляющиеся на лицах советских генералов. Но на одних любезных жестах и улыбках никаких политических расчетов строить еще нельзя. А может ли кто-нибудь указать хоть одну серьезную политическую уступку, сделанную советской дипломатией со времени смерти Сталина — или вообще со времени окончания войны?

Всякое дипломатическое соглашение, имеющее своей целью улаживание конфликта, неизбежно основано на компромиссе. Компромисс означает взаимные уступки — иначе получается не компромисс, а капитуляция одной стороны перед другой. Для подлинного и плодотворного компромисса, помимо доброй воли его участников, требуется еще известное равновесие в силах между обеими сторонами. Со времени войны западные страны сделали целый ряд политических уступок Советской России, не получив в обмен никакого эквивалента. За всё это время, включая и настоящий момент, со стороны советской власти не было ни одного реального проявления доброй воли — даже в том условном смысле, в каком понятие «доброй воли» к ней вообще применимо, т. е. вынужденного обстоятельствами согласия на компромисс. И произошло это, конечно, потому что сложившееся в мире соотношение сил оказалось благоприятным для Советской России и неблагоприятным для западных союзников: при таком положении у советской власти с ее политическим «реализмом» не может быть и побуждения к компромиссу. В этом положении нет однако ничего фатального. Оно должно и может быть изме-

нено усилиями воли и разума со стороны свободного мира.

В противовес коммунистическому блоку, созданному и управляемому в диктаториальном порядке, должно быть расширено и укреплено не только морально-политическое, но и организационное единство свободных стран. Пока этот коммунистический блок остается вооруженным с ног до головы, перед свободным миром будет стоять задача обеспечения достаточной против него обороны. В идущей сейчас международной борьбе коммунистический блок широко, и часто успешно, пользуется оружием пропаганды. Свободному миру предстоит еще полностью овладеть этим непривычным для него оружием, необходимым в навязанной ему борьбе за умы и души народов мира. Иногда раздаются голоса, что идя по такому пути, свободные страны будут провоцировать Советскую Россию на вооруженное выступление. И весь прошлый опыт, и всё, что мы знаем о психологии советских властителей, говорят о прямо противоположном. Фактически провоцируют агрессию отсутствие прочного единства в свободном мире, относительная слабость его обороноспособности, недостаточная эффективность его пропаганды. Не сила, а слабость свободного мира может привести его к войне. И обратно, только на основе восстановленного равновесия сил может быть достигнут подлинный компромисс, — компромисс, который разрядит напряженную атмосферу в мире без того, чтобы свободным странам надо было пожертвовать либо своими жизненными интересами, либо своими духовными ценностями. Это и есть единственно возможный путь к мирному сосуществованию.

В своей статье Е. Д. Кускова говорит, на мой взгляд — с преувеличением, о «плачевном состоянии» свободного мира: «ничего решительного предпринять он не может, не рискуя потерять и то неустойчивое равновесие, которого он с трудом добывается сейчас». Я не скрываю от себя ни всех слабых сторон свободного мира в его теперешнем состоянии, ни трудности тех многообразных задач, и внутренних, и внешне-политических, которые сейчас перед ним стоят. И всё же положение его не кажется мне таким уж плачевным. Мы хорошо знаем о его «неустойчивом равновесии» потому, что оно всё время обсуждается в свободной печати свободных стран. Мы можем только заключать о «неустойчивом равновесии» внутри коммунистического блока по той неполной и не всегда поддающейся проверке информации, которая прорывается из-под тяжелой плиты дик-

татуры. Но признать, что тоталитарный режим способен создать более здоровый и прочный общественный строй, чем режим свободный, — всё-таки едва ли возможно. Не признаёт этого, конечно, и Е. Д. Кускова. На стороне диктатуры несомненно остается преимущество более бесцеремонного распоряжения ресурсами подвластного ему населения, как в области внешней политики за ней остается преимущество основанное на «диктате» единства действия всех ее сателлитов и союзников. Но эти преимущества, весьма ощутительные до поры до времени, в конечном счете рискуют оказаться более чем сомнительными. И материальные и духовные ресурсы свободного мира мобилизовать гораздо труднее и это берет больше времени. Но когда они будут полностью мобилизованы, — а в осуществимости этой задачи я твердо уверен, — для сомнений в конечном исходе борьбы не останется места.

М. Карпович

БИБЛИОГРАФИЯ

Our Secret Allies: The Peoples of Russia, by Eugene Lyons.
Duell, Sloan and Pearce, New York. Little, Brown and Company, Boston. 1954.

Автор этой книги хорошо известен русским читателям. Выдающийся американский журналист, московский корреспондент американского Телеграфного Агентства United Press в 1928-34 гг., он напечатал уже несколько книг и много журнальных статей, посвященных Советской России и «русской проблеме», как она встает перед Америкой. С середины 30-х годов он сделался одним из наиболее решительных американских борцов против коммунизма, и настоящая его книга посвящена целям той же борьбы.

Первые три ее главы — своего рода увертюра: в них сформулированы основные темы книги, развиваемые в дальнейшем. Главная задача автора — опровержение «мифа о советском единстве». В советской действительности он видит нечто прямо противоположное: отсутствие «монолитности» в самой правящей группе и глубокую пропасть между правительством и народом. Для него история советского режима есть прежде всего история непрекращающейся войны между управляющими и управляемыми. «Миф о советском единстве» покоится на ряде предвзятых и превратных идей насчет русского прошлого — одинаково, дореволюционного и более близкого, и автор подвергает эти ошибочные взгляды критическому анализу. Так утверждение, что советский режим был создан народами России, при их активном участии и добровольной поддержке, опровергается самыми обстоятельствами прихода большевиков к власти: это была не народная революция, а насильственный государственный переворот, вооруженный захват власти, произведенный организованным меньшинством. Неправда и то, что народы России пассивно приняли эту власть и с тех пор беспрекословно ей подчинялись. Напротив, на всем протяжении истории советского режима народное сопротивление, активное или пассивное, никогда не прекращалось. Автор утверждает, что и итальянцы и немцы приняли тоталитарный режим «скорее, полнее и с меньшим сопротивлением», чем русские. Вот почему в Советской России правительственный террор принял такие размеры, каких он не достиг ни в Италии, ни в Германии. С такой же решительностью отбрасывает Лайонс и знакомую нам

всем теорию, согласно которой русский народ принял коммунистическую диктатуру потому, что он привык к рабству и никогда не знал ничего другого. По поводу этого псевдоисторического объяснения Лайонс делает следующее, совершенно верное, замечание: «Никто не станет отрицать влияния истории и традиций на настоящее и будущее любого народа... Но это не значит, что долго существовавший абсолютизм может быть заменен только другой, и притом худшей, его формой... В развитии каждого народа бывают критические моменты, когда второстепенные темы в симфонии его истории внезапно становятся преобладающими, когда долго терпевшие преследования и поражения элементы национальной традиции наконец одерживают победу и укрепляются».

Вторая, бóльшая по своим размерам, часть книги (главы 4-16) посвящена обоснованию этих положений фактическими данными. За краткой характеристикой России до 1917 года (гл. 4) следует сжатый обзор истории советского периода, от установления большевистской диктатуры до послевоенных «чисток» включительно. Обзор этот не претендует на полноту. Автор останавливается только на тех сторонах развития, которые непосредственно связаны с его основными темами. Лайонс не пишет исторического исследования. Книга его носит откровенно политический характер, и в историческом опыте он ищет подтверждение для своих политических выводов. Метод этот — вполне законный и автор пользуется им с большим умением. В отчетливой и яркой форме, он напоминает своим читателям (в первую очередь, конечно, американским) об известных, но многими уже забытых фактах и подчеркивает их связь с проблемами, стоящими сейчас перед Америкой. Главная его цель рассеять те иллюзии, которые основаны либо на забвении, либо на превратном толковании этих фактов.

Такой же «прикладной» характер носит и небольшой экскурс по дореволюционной истории России. Целью его является разрушить ходячие представления о старой России, как о царстве правительственного произвола и народного угнетения, и больше того — показать, что по сравнению с советским режимом старый режим был много лучше.

Здесь однако я должен сделать мое первое критическое замечание. Лайонс признает, что в дореволюционной России было много темных сторон и что по сравнению с современными ей демократическими странами она во многих отношениях была страной отсталой. Но в стремлении доказать ее превосходство над советским режимом (повторяю, и для меня несомненное) он иногда преувеличивает ее достоинства. Укажу и на некоторые фактические

неточности: неверно, что за всё царствование Александра II из революционеров был казнен только один Каракозов; первый русский перевод первого тома «Капитала» сделанный в начале 70-х гг. нельзя было «с легкостью получить во всех книжных магазинах и библиотеках», так как вскоре после его опубликования он был конфискован спохватившимися властями; неверно также, что «русская Польша обладала широкой автономией вплоть до 60-х годов». Боюсь, что эти мои замечания могут показаться придирчивыми — и даже неуместными, когда речь идет о книге, ведущей борьбу с антирусскими предрассудками. Но с такой точкой зрения я согласиться не могу. Именно для того, чтобы эта борьба была возможно более действенной, надо особенно тщательно избегать преувеличений и неточностей, потому что они могут быть использованы противником. Спешу оговориться, что процент их в книге Лайонса настолько незначителен, что общему впечатлению он повредить едва ли может.

В заключительной части книги (главы 17-20) автор обсуждает проблемы, связанные с американской политикой по отношению к России. Отмечу прежде всего главу 18-ю, как особенно ценную и интересную. В ней автор красноречиво и очень убедительно опровергает известную теорию, видящую в коммунистической агрессии проявление «извечного русского империализма». Теорию эту он считает «безгранично вредной» (*infinitely mischievous*): «Она ошибочно принимает идеологическое наступление за старомодную национальную экспансию. Она превращает великую историческую борьбу между свободой и тоталитаризмом в географическую борьбу между Востоком и Западом. Она ложна, нереалистична, и потому на ней опасно было бы основывать политику». В другом месте автор характеризует мнение, что империализм является «специально русской болезнью», как «расистскую чепуху». Для него представляется несомненным, что «не Кремль является орудием в руках нации для осуществления национальных целей, а напротив — нация служит орудием в руках Кремля для осуществления международных целей партии». В этой же главе Лайонс обсуждает и межнациональные отношения в Советском Союзе. По сравнению с борьбой против коммунистической опасности для него это проблема второстепенного значения. На основании своего личного русского опыта и общения с послевоенными эмигрантами разных национальностей, он утверждает, что так же она воспринимается и населением Советского Союза. Он не отрицает права нерусских национальностей на «самоопределение вплоть до отделения», но считает, что эта проблема не может стать актуальной и не может получить

своего решения до ликвидации большевистской власти — так как только тогда явится возможность для подлинного народного волеизъявления. Что касается американской политики в этом вопросе, то, по его мнению, единственной правильной позицией является позиция непредрешения и невмешательства. Для Америки было бы одинаково неправильно, и даже опасно как выдвигать программу независимости нерусских национальностей в Советском Союзе, так и поддерживать лозунг «единой и неделимой России».

Если в этом вопросе позиция Лайонса совпадает с позицией Джорджа Кеннана, то напротив он резко расходится с последним в вопросе об общем характере русской политики Соединенных Штатов. Я имею в виду его суровую и, на мой взгляд, не всегда справедливую критику политики «сдерживания». отождествляя «сдерживание» с «сосуществованием» он и в том и в другом не видит ничего кроме «химеры», «ловушки» и «капитуляции» (surrender). О возможности другого понимания политики «сдерживания» и «сосуществования» я пишу в своих «Комментариях» и потому здесь об этом говорить не буду. Отмечу только, что утверждение Лайонса будто бы для Ачесона и Кеннана политика «сдерживания» была не «временным маневром, а конечной целью» — фактически неверно. Каковы бы ни были ошибки демократического правительства в русском вопросе, обвинять его в том, что оно готово было пойти на окончательный раздел сфер влияния между Америкой и С.С.С.Р., — оснований, по-моему, не имеется. Многие из критических замечаний Лайонса правильны, но когда дело доходит до положительных указаний, до ответа на вопрос, что же надо делать, — высказывания его становятся менее полными и менее определенными. Правда, он оговаривается, что главной его целью было формулировать «философию союза с внутренней оппозицией Кремлю», и что разработка отдельных сторон рекомендуемой им политики не входила в число задач настоящей книги. Но всё же кое-какие указания он делает и некоторые из них требуют дальнейшего выяснения. Вот эти положительные указания, как они сформулированы на стр. 306: Западу нужно перенять инициативу в борьбе из рук коммунистов, использовать «трещины» внутри советской сферы, создать «единый фронт» с угнетенными советской диктатурой народами и «в конце концов» (ultimately) освободить их от этой диктатуры. Первые из этих двух целей могут быть достигнуты путем соответственной пропаганды и дипломатической работы. С «единым фронтом», если не понимать единство только в морально-психологическом смысле, дело обстоит уже сложнее. Для конечного же освобождения — пропаганда и дипло-

матические меры явно недостаточны. Конкретных путей к этому освобождению автор не указывает. К войне он не призывает — наоборот, один из его главных аргументов в пользу отстаиваемой им политики заключается в утверждении, что это единственный способ предотвратить войну. Насчет непосредственной возможности внутренней революции в подчиненных советской диктатуре странах никаких иллюзий у него не имеется. Пока что речь идет только о потенциальной революции (см. его категорическое заявление на этот счет на стр. 365).

Выходит как будто, что рекомендуемая Лайонсом более активная политика сводится главным образом к активизации духа и методов антикоммунистической пропаганды, в самом широком смысле этого слова. Если это так, то с ним, конечно, можно только согласиться.

М. Карпович

Soviet Law and Soviet Society, by George C. Guins. Martinus Nijhoff, The Hague, 1954.

О советском праве существует обширная литература. Не говоря о трудах, появившихся в СССР и носящих следы подневольности ученых, а то и просто пропитанных пропагандой, как русские ученые за рубежом, так и многие иностранные ученые, одолевшие трудности русского языка, выпустили множество трудов как обзорного характера, так и типа монографий. При таких условиях может возникнуть вопрос — есть ли смысл в составлении и опубликовании новых трудов на ту же тему, в особенности учитывая то, что за последние годы изменений в советском праве или практике его применения было немного.

И тем не менее труд проф. Г. К. Гинса вполне оправдан, ибо автору удалось найти ряд новых или по крайней мере мало использованных подходов к вопросу. По существу, труд принадлежит к числу общих обзоров. После весьма содержательной вступительной части, где рассматриваются преемственная связь советского права с дореволюционным (она признается, поскольку дело идет о форме, но отрицается применительно к содержанию), советская система нравственности, советское понимание права и государства, внешняя история советского права, а также его источники, читатель найдет по необходимости сжатые, но содержательные очерки советского хозяйственного права (в его публичном аспекте), гражданского права, земельного (колхозного) права, трудового, государственного, семейного, уголовного, процессуального и международного права.

Все эти очерки проникнуты одной центральной идеей — прин-

ципиальной противоположности советского права и права современного демократического и потому воистину правового государства. Так напр. в отделе, посвященном государственному праву, автор рассматривает основные принципы и тенденции развития демократии; затем он преподносит читателю ряд хорошо подобранных выдержек из советской литературы, «доказывающих» лживость «формальной демократии» и устанавливающих, что советская демократия — это демократия высшего типа. Краткий очерк советского уголовного права наглядно выявляет исключительную, при том всё усиливающуюся, суровость этого права сравнительно с западным и его эластичность, широко открывающую двери произволу под видимостью законных форм. Все эти очерки и оценки логически восходят к положениям, выдвинутым во вступительной части книги, а именно к революционно-утилитарному характеру советской нравственности и к советскому пониманию права, как организованного насилия господствующего класса над остальными.

Второй особенностью систематического обзора советского права, предлагаемого Г. К. Гинсом, является сосредоточенное внимание к общественным явлениям, вызываемым или используемым этим правом. Так напр. внешний очерк советского трудового права сопровождается ценным очерком наград и наказаний, обеспечивающих его осуществление. В другом месте книги отчетливо показано влияние советского хозяйственного права на сферу личной хозяйственной инициативы; как по этому поводу, так и по многим другим автор убедительно доказывает, что государственная монополия хозяйства играет существенную роль в порабощении советского гражданина. Содержательные главы посвящены классовому расслоению советского общества, под влиянием советского права, и особенностям организации общественной жизни; эти особенности автор покрывает формулой «растворение общества в государстве».

Не со всеми утверждениями автора можно согласиться. Он грешит склонностью придавать характер абсолютной ценности некоторым формам государственной и общественной жизни, проступившим на нынешней стадии развития западного общества. Эти ценности конечно много выше советских, но всё же не могут претендовать на абсолютную значимость. И, пожалуй, напрасно вводит он в теоретические предпосылки многих своих оценочных суждений положения, непосредственно связанные с психологической теорией права Л. О. Петражицкого, не потому, чтобы положения эти были ложны, а потому, что они неизвестны нерусским (да и многим русским) читателям и потому могут подорвать убедительность его аргументации. В некоторых случаях автор борется с

ветренными мельницами, какими являются ранние, но давно отброшенные тезисы советских юристов, да и самого Ленина. Вряд ли напр. стоило посвящать главу вопросу о том, отмирает ли советское право. С половины тридцатых годов не только зарубежные наблюдатели, но и официальные вещатели советской истины заявляют — нет, не отмирает.

Но это сравнительные мелочи, не взирая на которые выход в свет книги проф. Гинса, плода многолетних трудов, должно приветствовать. Она является желанным противовесом тем легкомысленным писаниям, которые навязывают читателям мысль, что советское право, в сущности, делает приблизительно то же дело, как и западное, только в новой форме, или что оно даже содержит в себе вызов по адресу западного права или, более того, заслуживает хотя бы частичного подражания. Это особенно важно в наши дни тяжкой борьбы между пусть и несовершенным правовым и общественным строем наций, стоящих за принцип свободы, и строем основанным на небывалом в истории порабощении людей.

Н. С. Тимашев

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ. *Полное собрание сочинений.* Т. I. и II.
Ред. Б. Филиппова. Изд. им. Чехова. Нью Йорк. 1954.

Николай Клюев — поэт выдающийся и вряд ли кто-нибудь это стал бы оспаривать. Издание его стихов нельзя не приветствовать. В особенности потому, что в Сов. Союзе имя Клюева давно исключено из литературы, за несколько лет до его физической гибели в сибирской ссылке в 1937 году. Но по прочтении этих двух томов невольно возникает вопрос. Не правильной ли бы было издать не «полное собрание сочинений», а «избранного Клюева»? Думается, что правильной. Не всё вышедшее из-под пера поэта (даже великого) ценно. Пусть издания *всего написанного поэтом* всегда кого-то гипнотизируют; такие издания, конечно, необходимы для исследовательских, академических целей, но для тех, кому нужна «магия стихотворений» (а она и нужна любителям поэзии) лучше бы дать «избранное», то-есть то, что *несомненно прекрасно*. И Державин, и Тютчев, и Блок нужнее в «избранном», чем в «полном собрании стихотворений». К Клюеву это относится сугубо. Несмотря на его большой талант, он поэт неровный. Наряду с высокими творческими удачами у Клюева много монотонности, тематических и формальных повторений, технических срывов, неудач. Иногда такие неудачи выходили из-под его пера почти целыми книгами. И я боюсь, что эти увесистые томы не окажутся «томов премногих тяжелей». А «избранное» могло бы и оказаться.

В нашей литературе Н. Клюев не шел большой столбовой дорогой. На большак российской словесности, по которому шел великоросс Центральной России Есенин, иногда поднимаясь в своем лиризме до гребня пушкинской волны, Клюев не вышел. Он словно крался «лесной тропой» (частый образ у Клюева) своего северного олонецкого леса. И эта его тропа была глухая. Как в самом начале своего творчества Клюев запел в мире сектантской — точнее хлыстовской — темноты, так от нее никогда и не оторвался. Многочисленные писания критиков о том, что Клюев первый показал «подлинный мужичий мир», что Клюев «первый начинатель подлинно-народной культуры» — на мой взгляд относятся к тому, о чем очень остроумно писал К. Чуковский, называя это «мусором слов». Клюев не был *всенароден*. В мире его поэзии слишком много — с одной стороны — географически местного, а — с другой (духовно) — узко сектантского. Сектантская мистика, ее видения, радения, экстазы, вот та тропа, по которой Клюев прошел в нашей поэзии. И несмотря на действительно народные истоки его поэзии, вряд ли есть более *непонятный именно народу* поэт, чем Клюев. Непонятный не только формальной сложностью, но и основной темой и книжной лжемудрой «философией». В кругу сектантства — там Клюев, вероятно, свой и там его до конца поймут (вернее, поняли бы, ибо и этот мир почти уничтожен террором коммунистической диктатуры).

Еще менее состоятельны попытки связать поэзию Клюева с православием. В нашей поэзии есть подлинные народно-православные мотивы: «в армяке с открытым воротом», «эти бедные селенья». Это (по крайней мере было) действительно понятно всему народу, несмотря на то, что дано в нашей литературе «барами» Некрасовым и Тютчевым. Искусство, увы, социальным происхождением не интересуется и нарочитое подчеркивание «мужиковства» Клюева вряд ли имеет отношение к искусству. Но в поэзии Клюева нет не только этого некрасовско-тютчевского напева. Больше того. В ней вообще нет того подъема и полета над земным, что дает поэзии ее последнюю духовную надмирную прелесть. Музе Клюева присущи — наоборот — плотскость, бескрылость, физиологичность, приверженность к земле и земному. К его поэзии применимо то, что как-то сказал А. Белый о Розанове: «пппллло...» И думается, что это «пппллло» вошло в Клюева из мира хлыстовства.

Вряд ли стоит писать сусальный (а потому и неверный) портрет Клюева: православного мужичка — крепь России. Несмотря на весь поток иконно-молитвенного орнамента из творчества Клюева на нас глядит иное, и отнюдь не сусальное, лицо. Думается, похожий

портрет Клюева дал хорошо его знавший А. Мариенгоф: «Мне нравился Клюев. И то, что он пришел путями Господними в «Стояло Пегаса», и то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромовским пивом и вобельным хвостиком, и то, что он ради мистического ряженья и великой фальши, которую мы зовем искусством, одел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере». В творчестве Клюева эти черты лица — «мужика хитрого с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере» — видимы всякому «имеющему глаз». Именно они и приводили подчас Клюева к плоскому надругательству и над церковью и над нашими общекультурными ценностями. Тютчевского Христа у Клюева нет, не им исхожены «бедные селенья» клюевского олонецкого края, они исхожены лукавыми «божьими бегунами». Думается, неслучайно — и не без любованья — Клюев сам себя сравнивает с кем? С... Распутиным: «Меня Распутиным назвали»... «Это я плясал перед царским тронem — В крылатой поддевке и злых сапогах — Это я зловещей совою — Влетел в романовский дом»... «О, душа, невидимкой прикинься — Притаись в ожерельях свечах — И увидишь, как Распутин на антиминсе — Пляшет в жгучих похотливых сапогах»... В поэзии Клюева нет солнца, в ней закована тяжелая, темная, подпольная душа:

«О, душа моя — чудище поддонное,
Стоглавое, многохвостое, тысячепудовое».

И при всем том и в предреволюционной России и в годы революции Клюев был крупным явлением нашей литературы. С первой книгой он выступил в 1912 году. Все лучшие поэты — Блок, Брюсов, Вяч. Иванов, Гумилев — его сразу заметили. Щедрее всех о нем заговорил Гумилев: «Эта зима принесла любителям поэзии неожиданный и драгоценный подарок». Для целого направления (плохо окрещенного «крестьянскими поэтами») Клюев вскоре стал естественным мэтром. Из «крестьянствующих» ему обязаны и большие и малые — Городецкий, Орешин, Клычков, Карпов, Ширяевец и наконец «сам» Есенин. Среди них Клюев был, примерно, тем же, чем Хлебников для футуристов: начальником «поэтической лаборатории». Но в то время как Есенин достиг всероссийской славы и всенародной любви, Клюев этого достичь не мог. Чересчур уж «необщ» был его душевный мир. Клюев не мог вызвать широкого эха. Это не центробежная лирика для всех Сергея Есенина. Это скорее — лирика центростремительная, замирающая — быть может даже в изысканном — но узком кругу любителей поэзии. Только в редких, но прекрасных вещах («Избьяные песни»,

«Плач о Есенине») Клюев вырывался вширь, достигая большой увлекающей силы. Но к всероссийскому эху, к большой славе пути Клюеву были заказаны и «необщностью» души, и часто тяжело-весной формальной сложностью его поэзии, где техника порой заменяла природный голос. О его стихах очень верно сказал Всеволод Рождественский: «Что ни строчка, то метафора, но какого-то обнаженно-лингвистического порядка. Прием побеждает дух». Именно эта особенность клюевской поэзии останется всегдашним кладом для аспирантских диссертаций. Но любить его поэзию (в чем собственно и есть прямое назначение всякой поэзии: быть любимой) будут очень немногие. Большинство пройдет мимо Клюева неопаленное его псевдо-огненным жаром.

Несмотря на прелесть многих ранних лирических стихотворений Клюева, Гумилев сразу почувствовал, что не лирика подлинный путь этого поэта. Гумилев указал Клюеву другую дорогу: эпос. Но вернуться этой силе Клюева помешали «всероссийские обстоятельства». Несмотря на множество откровенной плакатно-газетной революционной халтуры, которую писал Клюев, годы революции были расцветом его таланта. Он давал и прекрасные стихи. Но кратковременность февраля оборвала эпические возможности поэта. После октября Клюев пробовал подняться до больших произведений — но жизнь уже била его, осаживала цензурой, окриками и недвусмысленными угрозами. Клюев хитрил с коммунистами, но им не сдавался, как сдались почти все. В этой неравной борьбе, вынуждаемого к компромиссам Клюева-человека, победил Клюев-художник: слишком силен был талант. Но когда это обнаружилось, диктатура физически уничтожила Клюева. Перед его могилой надо снять шапку. Таких художников-сопротивленцев у нас раз-два и обчелся: повесившийся Есенин, уехавший на Запад Замятин, погибший в НКВД Мандельштам, еще кое-кто из более молодых, ну, может быть всего с десятков. Последними трагическими взлетами эпической поэзии Клюева стали его поэмы «Деревяя» и «Погорельщина». В обеих много замечательного, чисто клюевского. Но всё же из больших вещей поэта «Плач о Есенине» — лучшее, что создано Клюевым.

Мне представляется, название этих двух томов не точным. Оно должно было бы быть: полное собрание не сочинений, а стихотворений. Клюев ведь писал только стихи. Еще точнее было бы просто: «собрание стихотворений», ибо это издание, о чем говорит и составитель, всё-таки неполное. В приложении к стихотворениям сведен большой критический, биографический и библиографический материал.

Роман Гуль

The Five Seasons. A novel by Karl Eska. 344 pp. New York. The Viking Press. 1954. \$3.95.

«...Наш друг Жюльен выглядит настолько огорченным, что я вместо него поставлю тот вопрос, который он хотел обсудить с нами, вопрос, ответить на который может только человек, обладающий вашим опытом — именно, верите ли вы в возможность организованного интеллектуального сопротивления в условиях режима, вам так хорошо знакомого? Я говорю о духовном, а не о политическом сопротивлении, ибо именно это, если я не ошибаюсь, Жюльен имеет в виду».

Так говорил Аббат Милле в парижском литературном салоне, описанном в романе Кёстлера «Век томления». Его собеседником, которому он задавал этот вопрос о духовном сопротивлении коммунизму внутри России, был Леонтьев, советский писатель-невозвращенец. Кёстлер пишет: «Леонтьев посмотрел на него с безразличием... Во время дискуссии он не сказал ничего, потому что ему нечего было сказать».

Наблюдение это не лишено интереса. Теперь уже вышли десятки книг, написанных невозвращенцами. Не только воспоминания, но и романы. Тем не менее, вопрос о духовном сопротивлении коммунизму в них оставлен без ответа. Потому что советские писатели, будь то сталинские лауреаты в Москве или эмигранты в Нью-Йорке, забывают о главном, что, казалось бы, только и должно занимать писателя — забывают человека, его сердце, его духовный мир. Надо признать, что лучшие книги о советской России, которые действительно помогают понять, как там живет человек, были пока что написаны иностранцами, по тем или иным обстоятельствам соприкасавшимися с повседневной жизнью нашего народа. Одной из таких немногих книг является повесть Карла Эска «Пять времен года».

Карл Эска — псевдоним молодого австрийского писателя, живущего сейчас в Америке. В тридцать девятом году Карл Эска с женой бежали от немцев из Австрии в Львов. Но там они попали из огня да в полымя: их депортировали сперва в лагерь на Урале, а затем, после двух лет работы на лесозаготовках, выслали в Туркестан. После войны они добрались до Западной Германии. Там Карл Эска и написал свою повесть, в которой описывается жизнь туркменских колхозов маленького районного центра неподалеку от г. Мерва.

Повесть «Пять времен года» написана с большим изобразительным мастерством. Особенно — картины голода в хлопководческих колхозах Туркмении развернуты в повести с потрясающей силой.

«Пять времен года» — первая повесть Карла Эска. Но в ней чувствуется рука, уже опытная в обрисовке характеров. В первой главе мы встречаем Джамал Мамедову, высокую, грузную женщину с лицом плоским и изрытым оспой. Несмотря на то, что она едва читает по-туркменски и с трудом говорит по-русски, эта полуграмотная крестьянка сумела отвоевать себе место в партийной иерархии; она — председательница районного союза ковровщиков. «Выжить!» — вот движущая сила, которая, как пружина, толкает Джамал Мамедову. Она хитрит, умеет держать язык на привязи, не знает стыда, если надо — прикидывается смиренной, покорной, юлит, как собаченка перед секретарем райкома партии, но, если представляется случай, гнет других людей в дугу. Джамал Мамедова пережила не только голод, но и все партийные чистки, все происки ее личных врагов. И она строит планы для своей дочери: «Анна должна выйти замуж за туркмена, который известен в партийных кругах, за ответственного работника с хорошими связями в Ашхабаде». Джамал Мамедова, ее дочь Анна, любовник юной Анны — Костя Ершов (не «ответственный работник с хорошими связями в Ашхабаде», а шофер, осужденный на двадцать пять лет за кражу пшеницы с элеватора) и десяток других персонажей надолго остаются в памяти читателя.

Внешняя изобразительность, однако, еще не главное в художественной литературе. Повесть «Пять времен года» в особенности замечательна тем, что она психологически глубока, полна тонких наблюдений. Вот председатель колхоза Али Кулиев объявляет на собрании колхозников-хлопкоробов, что пшеница, которую государство должно им за поставки хлопка, не получена. Предстоит голодная зима. Колхозники начинают кричать, бунтовать на собрании. Карл Эска пишет:

«Кулиев не сдерживал их — пусть волнуются! Он знал, что чем больше люди кричат сейчас, тем больше они будут жалеть об этом после и ругать себя за то, что не сидели молча.»

Или другая сцена: плотника Ивана Зубина, арестованного по доносу, ведут из тюрьмы в суд. Перед зданием суда собрался народ. Тут и жена Ивана Зубина — она пытается передать мужу немного хлеба и табаку. Карл Эска рассказывает:

«Милиционер взял у нее сверток, посмотрел нет ли там письма, бросил в сторону газету, в которую вещи были завернуты, а потом передал содержимое ей обратно. Нарочно отвернувшись в сторону, он не видел как Зубин взял хлеб и табак. Кто-то в толпе сказал: «Вот добрый человек...» Но похвала эта, кажется, рассердила милиционера, и он заорал на публику: «Эй вы, посторонни-

тесь!» — и толкнул арестованного в дверь, ведущую в задние комнаты суда».

Таких психологических деталей много в повести «Пять времен года». В ней изображены не схемы, а живые люди, со всем, что есть в них хорошего и дурного. В одном месте Карл Эска сравнивает человека с туркменским ковром, носящим название: «Черная Бухара». На глубоком темном фоне этого ковра выступают разные узоры — красные, голубые, белые, оранжевые, зеленые, черные... И точно так же, как оказалось невозможным подчинить ковровый промысел государственному контролю (потому что промысел этот не поддается механизации), так же невозможно полностью контролировать и человеческую жизнь. «Мир не мог переменить ее, она всё оставалась та же», — характеризует автор жену плотника Ивана Зубина, по самой своей природе добрую женщину-мать, которая даже после гибели мужа быстро обрела волю к жизни. Тут, быть может, и заложен ответ на вопрос аббата Милле о духовном сопротивлении коммунизму в России. На «задворках ада», как говорит Карл Эска о России, идет большая битва, и пока хоть один человек остается в живых, есть еще «атом надежды».

Мих. Коряков

Russian Icons, Introduction by Philipp Schweinfurth. "Iris Books," Oxford University Press, New York 1953.

Филипп Швейяфурт, член Института Археологии в Истанбуле, давно работает над вопросами русского и византийского искусства. В 1930 году он напечатал в Гааге пространный и хорошо встреченный специалистами труд: «Geschichte der Russischen Malerei in dem Mittelalter». Теперь в Нью-Йорке вышла на английском языке его последняя работа: «Русские иконы», одновременно изданная в Париже по-французски.

За последнее десятилетие русской иконе было посвящено несколько небольших монографий. Наиболее значительной из них была монография покойного А. Авинова, изданная в 1944 году в Питтсбурге (Пенсильвания) в виде каталога к выставке русских икон из собрания Георга Ханна. В 1947 году в Лондоне вышла небольшая книжечка «Russian icons» с шестнадцатью цветными репродукциями; интересный и хорошо документированный текст принадлежал перу английского искусствоведа Талбота Райса. В том же году вышла, одновременно на английском и на французском языках, небольшая монография Дорис Уайльд «Икона — искусство Востока», с мало содер­жательным текстом, но неплохими репродукциями в красках русских и сербских икон. Наконец в 1950-м году вышло во Флорен-

ции на французском языке изящное издание «Les icones byzantines et russes» с 72-мя репродукциями, из них десять в красках; очень сжатый, но интересный текст к нему был написан русским искусствоведом В. В. Вейдле.

Книга Швейнфурта выгодно отличается от вышеуказанных отличными in-quarto репродукциями в красках. Другая существенная особенность этой монографии — репродукция икон, находящихся в частных коллекциях за границей: у В. Верлина в Париже — Корсунская Богоматерь (Москва, 16 в.), Вознесение (Москва, 17 в.); у д-ра С. Амберга в Швейцарии — Архангел Михаил (Москва, 16 в.); у Ашберга в Швеции — Никола Угодник (16 в.); несколько репродукций икон из коллекции Георга Ханна в Питтсбурге и некоторые другие. Из икон, находящихся в России, лучше всех воспроизведена Ветхозаветная Троица Андрея Рублева. Репродукция ее необычайной четкости. Троицу Швейнфурт датирует 1425-м годом без достаточных для того оснований. Все русские искусствоведы и некоторые заграничные специалисты по русской живописи, как, например, Талбот Райс, относят эту икону к 1410-му году — эпохе расцвета рублевского творчества. Изучая стиль и технику Рублева, Швейнфурт справедливо восстает против сравнения его с другим гениальным монахом-живописцем, итальянцем Фра Анжелико.

Очень интересна репродукция Благовещения, строгановской школы начала 17-го века (сейчас эта икона находится в коллекции Винклера в Германии). Икона изобилует чудесными живописными находками, вроде взлета буро-золотых крыльев Архангела Гавриила, темной зелени куполов и крыш... Как и многие другие строгановские иконы, Благовещение обрамлено серебряной басмой, тонко-вычурная чеканка которой подчеркивает изящество всего ансамбля.

Воспроизведено у Швейнфурта (в красках и монохромно) несколько икон, сейчас находящихся в Питтсбурге у Ханна, а раньше принадлежавших русским коллекционерам и музеям. Среди них св. София — Премудрость Божия, новгородской школы 15-го века. Большинство репродукций сопровождается пояснительным текстом, отдельным от общего текста, предпосланного монографии и посвященного, главным образом, значению иконы для верующего человека и для художника. В нем автор подробно останавливается на философии образа и на истории иконоборчества. Особенно занимает его вопрос, почему русская и западно-европейская религиозная живопись пошли разными путями, несмотря на то, что основные прообразы были одни и те же. Он находит объяснение этому в различной концепции религиозно-духовных образов в России и на Западе. В то время, как западная религиозная мысль воспринимала художника лишь как «иллюстратора» религиозного учения, восточная (и русская) церковь

предъявляла к художнику другие требования. Для русской церкви, идущей по стопам византийского иконопочитания, икона была священна и иконописцы строго следовали определенным иконографическим канонам. Различным школам русской иконописи 12 и 13 веков посвящено всего лишь несколько строк. Охарактеризовав вкратце школы 14-17 вв., Швейнфурт посвящает несколько строк и периоду вымирания и упадка русской иконописи: «после Петра Великого искусство иконы выродилось... старый стиль сохранился лишь среди крестьян, среди кустарей Владимирской губернии и у староверов; у них Лесков и взял сюжет своего «Запечатленного ангела»...

Книга «Русские иконы», как и другие книги «Iris Books», займет выдающееся место среди художественных изданий.

Вера Коварская

Soviet Russian Literature, 1917-1950, by Gleb Struve. Norman, University of Oklahoma Press, 1951

В отношении к историкам литературы установился в советской России какой-то особый закон умственной неволи: чем ближе обсуждаемый период к нашим дням, тем строже и обязательнее становятся требования и табу, предписанные начальством. Существует известный «список» неблагонадежных писателей почти всех периодов, но со старшими из них обходятся снисходительнее. Достоевского, например, порой можно даже хвалить (за патриотизм, за сочувствие к «униженным»), тогда как Ф. Сологуба можно только ругать (за «декадентство»); о бывших же «своих», о Пильняках и Бабелях, запрещено даже упоминать. Имена их стерты со страниц истории, как у Мильтона имена павших ангелов из Книги Жизни. Их нет и никогда не было.

Если в теперешней России всё еще возможно писать (хоть и плохо) об истории классической русской литературы, то написать даже плохую историю *советской* литературы совершенно невысказано. С конца 20-х годов никто даже не пробовал; последняя попытка была сделана в 1929-м году «зиновьевцем» Горбачевым, потом исчезнувшим. С тех пор раболепствующий проф. Тимофеев неустанно переиздает свой отвратительный «вузовский» учебник, но серьезной истории всё нет и вряд ли может быть.

При таких условиях определенная историческая ответственность падает на плечи эмигрантских и иностранных исследователей в области современной русской литературы — бороться против этой ужасной, всеобъемлющей официальной лжи и официального забвения. Если нельзя бороться в России за свободную литературу, всё-таки можно здесь писать правду о ее гибели. Задача невеселая, но необходимая.

Такую ответственность принял на себя проф. Глеб Струве, который уже двадцать лет ведет свою правдивую хронику падения советской литературы. Рецензируемая книга представляет собой третье издание работы, давно известной всем, кто серьезно интересуется новейшей русской литературой. Она появилась впервые в Англии в 1935-м году, там же была переиздана в дополненном виде в 1944-м году; есть также французский перевод второго издания. Появившееся в 1951-м году американское издание не только дополняет предыдущие введением материала о литературе последних лет; весь текст переработан с начала до конца, так что качественные улучшения идут рука об руку с увеличением размера.

Улучшения эти двоякого рода: я назову их «внешними» и «внутренними». Внешние улучшения состоят в уточнении фактических сведений и включении традиционного в американских академических изданиях «аппарата» ссылок и библиографий. Всякий, кто знаком с умолчаниями и систематической фальсификацией советских литературных пособий поймет, какие огромные трудности проф. Струве должен был преодолеть даже в чисто информационной части своей работы. Эту проверку фактических данных он проделал очень тщательно и в результате его история теперь является лучшим справочником по советской литературе на любом языке. Я заметил кое-какие ошибки, но их очень мало.

«Внутренние» улучшения определить труднее. В перспективе времени изменилось отношение к ранним годам советского периода. Теперь стало ясно, и проф. Струве это прекрасно показывает, что несмотря на потери, причиненные революцией, и стеснения, созданные ленинским режимом, советская литература 20-х годов всё-таки остается законной и неотъемлемой частью русской и мировой литературы. Тогда были настоящие таланты, уже проявившие себя или подававшие надежды, а главное — была настоящая литературная жизнь. В ранних изданиях своей истории проф. Струве всё еще смотрел на всю советскую литературу, как на одно целое, и ко всему относился, если не враждебно, то по крайней мере с подозрением. Казалось, что в советской литературе он больше интересуется признаками «скрытой оппозиции», чем чисто литературными ценностями. Теперь полемические страсти утихли, и автор может писать более сочувственно о писателях 20-х годов, даже о тех, кто не был оппозиционно настроен.

В этой первой, более «литературной» половине книги лучшие главы те, которые содержат самостоятельные исследования Струве, напр. его статьи об Олеше и о Замятине, впервые появившиеся в «Новом Журнале». Можно не соглашаться с некоторыми крити-

ческими суждениями автора — по-моему он (как акмеист?) сильно недооценивает футуристов, особенно Маяковского. Иногда пересказ содержания заменяет критическую обработку материала. Но в общем на основании истории Струве можно очень хорошо ориентироваться в сложных литературных явлениях 20-х годов.

Решающий перелом в истории русской литературы XX-го века принесла с собой не революция, а «великая сталинская эпоха», когда полное умерщвление литературы стало определенной политикой власти — политикой, которая, к сожалению, вполне удалась. Одни писатели погибают или молчат; другие сдаются и покорно пишут требуемую от них халтуру. К концу 30-х годов там, где раньше цвела литература, остается лишь удручающая пустыня.

В результате этого опустошения в книге Струве, как и во всех новых книгах о советской литературе, неизбежно получается некоторая странность. Когда он пишет о 20-х годах, он всё-таки пишет о *литературе* в полном смысле слова. Но когда речь идет о следующих десятилетиях, за немногими исключениями говорится о *мнимой* литературе, на самом деле несуществующей. Таким образом, вторая часть книги представляет собой не историю литературы (которой нет), а историю удушения литературы сталинскими лит-палачами.

Парадоксально, что с художественной точки зрения эту историю проф. Струве написал лучше всего. Его главы о ждановщине дышат настоящим обличительным пафосом. Его история превращается в обвинительный акт, в перечисление длинного ряда преступлений сталинской тирании против свободного человеческого ума. Здесь автор говорит голосом народной Немезиды, которая когда-нибудь произнесет свой приговор.

Ю. Мак-Лэйн.

М. ОСОРГИН. Письма о незначительном. Изд-во Имени Чехова. Нью Йорк. 1953. Printed by Rausen Bros.

«Письма о незначительном» Осоргин писал в «отвоеванной», как тогда казалось, Франции, в местечке Шабри, где он жил и где умер, находясь в свободной зоне, но до оккупированной было «рукой подать» и он мог ее наблюдать вблизи. Считая войну для Франции законченной, Осоргин проводил параллель между 1940 г. и 1870-1871 гг., после столь же неожиданно быстрого поражения Наполеона III. Мопассан дал картины Франции той эпохи, изображая, в противовес сдавшемуся императору, героизм рядовых, не сдававшихся обывателей. Осоргин рисует картину общего примирения с совершившимся и стойкость человеческого быта при всех условиях. Установленная система управления кажется ему всеми

признанной; что касается «главы государства», то «его популярность и безграничное к нему доверие не подлежат никакому сомнению... правда, относится это не столько к системе, сколько к личности диктатора...». Если бы ветер перелистнул страницу, и он мог бы представить себе суд над маршалом Петеном, он несомненно был бы поражен.

Исход войны представляется Осоргину неизвестным, так как Англия продолжает воевать: «Дьявол качает исторические качели: вверх-вниз. Итальянский король стал императором; предсказывать рано, напрасная спешка «реальной политики» Италии может превратить императора снова в короля».

Война наносит непоправимый ущерб основным духовным ценностям: «как остановить этот новый откат общей истории в средневековье?» Начатая во имя справедливости, как «акт рыцарства», война неизбежно вызывает «разгул низких страстей». Для людей, мечтавших найти общий, понятный всем язык, «общим оказался только язык вражды и орудий». Личность насильственно приносится в жертву коллективу, который становится не единением свободных людей, а «стадом, гонимым самоставленными пастухами и это уничтожает жажду и смысл жертвенности».

Итоги войны: «крест на культуре». Потребуются десятки лет, чтобы вернуть человечество к прежнему уровню «и кто поручится, что к этому времени не подоспеет еще новая серия великих событий», с горькой иронией говорит автор. «Урон наносимый культуре войнами, всего очевиднее сказывается на художественной литературе. Можно почти без оговорок сказать, что в Европе она прекратилась». Разрушая подлинные ценности, война ничего не дает взамен: «переживания военного времени, при всей их бурности, ничтожны содержанием и душевно низки качеством». Думая о мести за обиды поражения и вспоминая «груды трупов» после разгрома Коммуны, Осоргин замечает с грустью: «Вот параллель, которой да не будет в нашей тяжелой и смутной современности». Будущее представлялось ему безотрадным: прежняя Европа не возвратится, и «что бы ни произошло, прошлое, каким мы его знали, вернуться не может».

Замкнутый в узком пространстве времени и места, Осоргин конечно не мог предвидеть многих событий, но, исходя из своего отрицания войны, ее побед и поражений, он многое оценил верно. «Половина мира воюет, другая половина готовится к войне. Весь мир жаждет окончания войны. Когда война закончится, весь мир будет готовиться к новой войне». Нельзя отказать ему в проницательности, читая эти строки, написанные 24 февраля 1941 года. Он не ждал разрешения основных вопросов путем войны и предвидел,

что после ее окончания «история только начинается». В этом он был дальновиднее многих.

Основной верой Осоргина была вера в человека и его право на свободу своей личности. Это право он отстаивал всю свою жизнь, и подавление личности представлялось ему величайшим грехом человечества и источником всех неправд, от которых страдает мир. Победа должна быть дана не насилию, а духовной силе, символом которой является Георгий Победоносец.

«Русская загадка» казалось ему простой в начале войны: Россия ни на той, ни на другой стороне, она только на своей стороне и, не вступая в войну, надеется использовать к своей выгоде ослабление обоих противников. После немецкого вторжения в Россию, Осоргин терзается мыслью о том, что немец может войти в Московский университет, может расхитить его ценности. Он отныне не хочет писать о войне, а только о природе, о цветах и деревьях, но оторваться мыслью от этой темы не может. Свои прежние рассуждения он строил на том, что война могла бы даже «предполагаемую победу России» превратить в поражение основ советского строя. «Достаточно подумать о том, каким не только откровением, но и потрясением явилось бы для нынешнего Советского Союза открытие двери в Европу, до сей поры наглухо запечатанной. Последствия этого трудно учесть даже приблизительно», пишет он 17 мая 1941 года, объясняя причины воздержания России от вмешательства в борьбу. Встреча между Россией и Западом состоялась, но последствия ее, о которых говорит Осоргин, еще не раскрыты историей.

Свою книгу, обращенную к заокеанским читателям, Осоргин писал как завещание, и в прощальном, предсмертном личном обращении к друзьям он исповедует свою любовь к человеку, к земле и природе. Эта любовь составляла смысл его существования и она же озаряла особым светом все его писания.

Ю. Сазонова

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

М. Г. г-н Редактор,

Вторично обращаюсь к Вам с просьбой поместить заметку — на этот раз по поводу рассказа дочери П. А. Столыпина, М. П. фон Бок, о заседании Третьей Государственной Думы, 17 ноября 1907 г.

На стр. 261 своей книги «Мой отец, П. А. Столыпин», она пишет следующее:

«Кроме всей, страшно меня смущавшей, внешней стороны моего кратковременного пребывания в Варшаве, чувствовала я себя сильно взволнованной рассказом моего спутника-генерала о последнем заседании Государственной Думы, во время которого обсуждалось военное положение и говоря о казнях Родичев нанес личное оскорбление отцу. Папá послал ему тут же своих секундантов. Через некоторое время, когда папá прошел в так называемый Министерский Павильон, куда удалялись члены правительства в Думе для отдыха, явился туда Родичев и принес моему отцу извинение».

Меня тоже не было в Петербурге в эти дни. Вернувшись туда в начале декабря, я застала родителей уже немного успокоенными, но рассказов о происшедшем в заседании 17 ноября инциденте было еще много. О вызове на дуэль, однако, у нас не говорили вовсе. Об этом я узнала только в эмиграции, когда записки М. П. фон Бок были напечатаны в газете «Возрождение». Так как рассказ М. П. фон Бок мог создать впечатление, что П. А. Столыпин послал моему отцу вызов на дуэль, а тот от дуэли отказался, то я старалась выяснить все обстоятельства этого дела. В частности я написала об этом В. А. Маклакову, соседу Ф. И. Родичева по креслу в зале заседаний в Третьей и Четвертой Государственной Думе. Я спрашивала его между прочим и о том, почему же никто о вызове в Государственной Думе не говорил, если он действительно имел место.

С разрешения В. А. Маклакова, привожу здесь выдержку из его письма ко мне от 14 июля 1942 г., как материал, освещающий весь этот нашумевший инцидент.

«Ваше письмо меня удивило. Я не читал записок дочери Столыпина. Но я помню разговор в эмиграции с Кауфманом. Совершенно не помню своего письма и не знаю, что писал Милоков. Но дело объясняется гораздо проще. Во-первых, не удивляйтесь, что об этом не сказано было с думской кафедры и что правые этого не использовали. Маленькие репортеры могли бы для собственной рекламы об этом в газетах писать (бумага всё терпит), но никакой председатель не позволил бы говорить об этом с трибуны. Это было бы верх неприличия, даже если бы все это знали. Так в Думе не говорили о дуэли Гучкова с Уваровым, Маркова с Пергаментом и Аджемова с Половцевым. Об этом можно писать много позже, в порядке истории, а не тогда, когда всё это происходит. Так делают только французы, которые дуэль совершенно дискредитировали.

А главное Вы неверно представляете себе современный ход дуэли. Прежде дело секундантов было только установить *порядок поединка*. Сейчас их первой задачей и долгом в дуэли является из-

бежать дуэли, примирить противников. Конечно, это не всегда возможно, но в этом их первый долг. Я был секундантом в дуэлях Аджемова с Половцевым и видал, как это происходит. Если Столыпин выбрал Кауфмана и не помню кого быть его секундантами, то их долг был объявить Фед. Изм., что Столыпин считает себя оскорбленным и требует удовлетворения. *Это еще не вызов, а требование удовлетворения*. Конечно, если это от имени обиженного предлагают «два друга», как их называют, всякий должен понять, что *при отказе означает «дать удовлетворение»*. За этим следует вызов, но не раньше...

Так было и в данном случае. Ф. И. был сам огорчен, что обидел Столыпина, и это тотчас сказал и принес ему извинение. Вызов в этих условиях передан не был и он, как будто, не был и сделан. Да в данных условиях и после о нем не говорили. Иные жалели, что Ф. И. извинился, а я так еще больше его за это уважал. Но, конечно, от вызова он не отказался, т. к. его и не было. Но он был бы, если бы Ф. И. вместо извинения и вообще объяснения, сказал бы что-нибудь вроде: «еже писах, писах», т. е. никакого удовлетворения обиженному дать не хочет. Тогда секунданты вправе передать *уже вызов*».

А. Родичева

П О П Р А В К А

В предыдущей книге «Нов. Журнала» в примечании к письму З. Н. Гиппиус от 2 мая 1925 г. было сказано, что статья Гиппиус «Искусство и Любовь», отвергнутая «Современными Записками», увидела свет лишь «через 10 лет после смерти автора» в сборнике «Опыты» № 2, вышедшем в Нью Йорке в 1953 году. Это неверно. Статья «Искусство и Любовь» помещена не во 2-ой, а в 1-ой книге «Опытов» и, что гораздо существеннее, эта статья увидела свет не «через 10 лет после смерти автора», а *тотчас* же как только ее отклонили «Совр. Записки». З. Н. Гиппиус напечатала ее в трех пространных фельетонах 18 и 25 июня и 2 июля 1925 г. в «Последних Новостях» П. Н. Милюкова. Фельетоны были озаглавлены «О Любви» и имели подзаголовки: «Любовь и Мысль» — первый, и «Любовь и Красота» — последние два. В «Опытах» эта статья перепечатана в сокращенном виде.

М. Вишняк

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1954-м году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 30 крузейро

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, Inc., 223 West 105th Street,
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня
